ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ



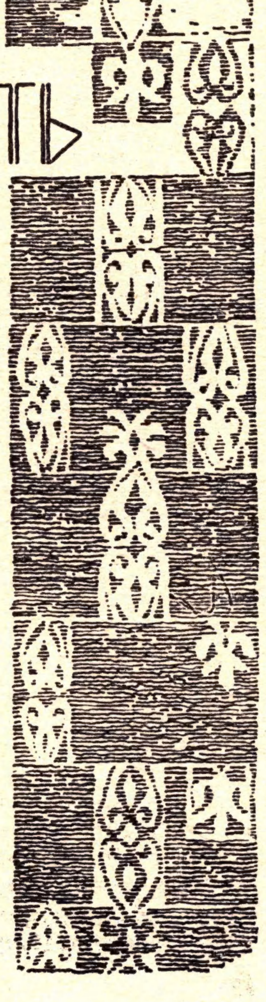
ДНЕВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ

ДНЕВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"

МОСКВА • 1966

902
Ф33

Издание второе, дополненное и переработанное

Рисунки Г. ЕПИШИНА



ВВЕДЕНИЕ

Каждое утро всходило солнце и начинались дневные труды, заботы, радости, горести. Но вдруг надвигалась беда. Вспыхивало пламя пожара, или неведомо откуда налетали орды диких и страшных врагов. В огне и битве гибли люди.

А то и по другим причинам уходили жители с насиженных мест. И жизнь на поселении замирала. По бро-

шенным жилищам гулял ветер, разрушал их, сравнивал с землей, заносил песком, устилал мягким ковром опадающих листьев.

Время шло. И вот уже ничто не напоминает о том, что здесь когда-то жили люди.

Шелестят вокруг травы, шумят леса, высятся песчаные холмы. Поселение навсегда исчезло с поверхности земли, погрузилось в вечную ночь.

Но упорна человеческая память.

По едва заметным следам древних культур идут археологи — разведчики истории. Они проникают в глубь земли, чтобы вновь осветили солнечные лучи остатки древних поселений, их дневную поверхность, как говорят археологи. Нелегкий, но нужный труд. Потому что как будущее исходит из настоящего, так и настоящее исходит из прошлого. Без знания пройденного пути человек не найдет дороги и к горизонтам будущего.

Студентом третьего курса поехал я впервые в экспедицию, и с тех пор двадцать восемь лет моей жизни посвящены археологии. Так будет и впредь.

Поэтому и написал я книгу об археологах и археологии.

Мне хотелось рассказать в ней о том, как были раскрыты некоторые тайны истории, как на пути в незнаемое формируются в молодых исследователях качества подлинных ученых.

Я пишу только о тех экспедициях, в которых мне самому посчастливилось принять участие, и то далеко не обо всех. Ежегодно сотни археологов работают в самых различных районах нашей страны — от Белого до Черного моря и от Дуная до Тихого океана. Чтобы рассказать об их открытиях, потребовались бы многие тома книг.

Напрасно было бы искать в этом рассказе описания каких-либо особых сенсационных происшествий.

В правильно организованной экспедиции их не должно быть и почти не бывает. Романтика археологической работы совсем в другом — в научном предвидении, в напряжении поиска, в ни с чем не сравнимой радости первооткрывателей. Знания и страстная любовь к делу должны сочетаться у археолога с точностью математика, пытливостью следователя, воображением художника.

Археология изучает историческое прошлое по вещественным источникам. Но только тот может стать настоящим ученым, кто видит за древними вещами и остатками сооружений их творцов, кто умеет в тяжелом и увлекательном труде воссоздать историческое прошлое народов, судьбы давно ушедших людей.

Лопаты и кирки разрывают земляную мантию, укрывающую тайны истории, скальпели, шпатели и кисточки тщательно расчищают древние вещи, в инфракрасных лучах на истлевшем папирусе выступают буквы, начертанные неведомой рукой несколько тысяч лет назад.

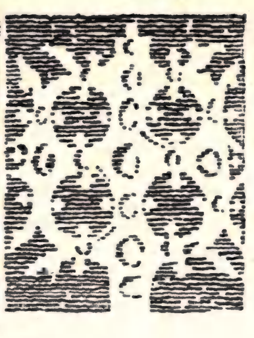
То пронизывающий холодный ветер свистит по раскопкам, то клубится пыль в раскаленном воздухе, то хлещет дождь. Но работа продолжается. И на дневную поверхность жизни выходят не только зримые приметы прошлого, но и скрытые силы и человеческие качества самих участников экспедиции. Из тех, кто работает на раскопках — рабочие, студенты, школьники, — многие «заболевают» археологией на всю жизнь, становятся опытными и смелыми учеными.

...Солнце высушивает росу на пологах брезентовых палаток, возвещая начало нового трудового дня. Продолжается вечная эстафета от поколения к поколению, от учителя к ученику в раскрытии самых сокровенных тайн человеческой истории — неоценимого концентрированного опыта сотен поколений.

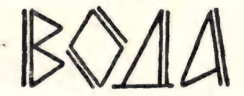
Я рассказываю всего о нескольких эпизодах этой

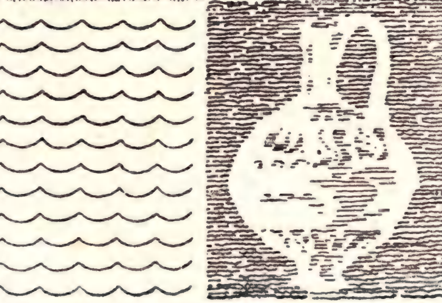
эстафеты нашей науки. Все, что здесь описывается, было в действительности. Только в некоторых случаях изменены фамилии, сдвинуты во времени и пространстве события.

Если читатель, познакомившись с этой книгой, узнает кое-что новое о труде археологов и об археологии и полюбит ее, то цель, которую я видел перед собой, когда начинал писать, будет достигнута.

Живая вода





ГРАНИЦА

На кафедру Большой зоологической аудитории неловко поднялся высокий румяный человек с черной шапкой волос над мощным куполом лба. Ярко-красные губы его были сложены как у девушки — сердечком.

С минуту он постоял, переминаясь с ноги на ногу. Потом смущенно улыбнулся и, повернувшись спиной к студентам, подошел к доске и принялся писать на ней мелом. Через некоторое время он снова стремительно

вскочил на кафедру с таким выражением лица, какое бывает у ныряльщика, прыгающего с десятиметровой вышки, и трубным голосом сказал:

— Прежде чем начать турс летций по археолодии, я должен предупредить, что страдаю орданичестим недостаттом речи: я не выдовариваю двух бутв,— он покраснел и закричал на всю аудиторию,— «К» и «Г»,— произнеся их совершенно отчетливо.

Он отступил в сторону от доски, и стали видны огромные буквы «К» и «Г», написанные круглым детским почерком.

Аудитория оживилась, а с верхних ярусов, где сидели мы с Шурой, послышался даже чей-то дружелюбный сдержанный смех.

— Ну, вот видишь? — прошептал я Шуре.— А ты еще думал, что археология — скука смертная. Нет, брат, здесь не соскучишься!

И я с моим другом и однокурсником Шурой Монгайтом приготовились мило развлекаться до конца лекции.

Между тем профессор, яростно сверля взглядом сверкающих черных глаз наличник входной двери, расположенной напротив кафедры, сдавленным от волнения голосом продолжал:

— Само слово «археолодия» звучит неопределенно. «Архайос» по-дречести — «древний», «лодос» — «наута», точнее, «слово». Археолодия — история, вооруженная лопатой. Относительное значение археолодии среди друдих историчестих наут мне не хотелось бы преувеличивать. Все равно татое преувеличение было бы объяснено односторонним пристрастием специалиста. Но если толичество вновь оттрытых письменных источнитов растет очень медленно, то археолодия таждые двадцать — тридцать лет удваивает свои источнити, и притом основные. Вся деятельность обычнодо историта протетает в узтом пространстве письменного стола. Поле деятельности археолода шире: степи и доры, пустыни, болота, моря, рети.

Ого! Мы с Шурой переглянулись. Это уже становилось не таким смешным, как казалось вначале. А профессор продолжал говорить тем же яростным, сдавленным голосом, и свежий могучий ветер странствий,

поисков и открытий ворвался в аудиторию. Он шевелил наши волосы, наполнял легкие, приносил тревожные, загадочные, еще непонятные ароматы. Мы уже не замечали странного выговора нашего лектора. В аудитории стояла та напряженная тишина, в которой властвует только мысль.

Во всех концах земли в стремлении проникнуть в самые сокровенные тайны человеческого прошлого идут разведчики истории — археологи.

Вот молодой французский ученый Кастере, вверяя свою судьбу только интуиции и неясным для нас соображениям, ныряет в уходящую под землю реку, навстречу неминуемой гибели. Но Кастере не погибает. Едва не захлебнувшись, выныривает он на дне огромной пещеры, и луч света его фонарика выхватывает из тьмы глиняную статую медведя, изображения зубров, оленей и мамонтов, выбитых в скале людьми каменного века.

А вот на заснеженных склонах Горного Алтая русские археологи коченеющими от холода руками разбирают огромные каменные курганы. Под насыпью, в зоне вечной мерзлоты, находят они ковры с изображением тигровых голов и диковинных процессий, лошадей с масками оленей, татуированных людей в одежде, отороченной мехом соболя и горностая, покрытой золотыми узорными бляшками.

А вот на дне Средиземного моря в тяжелых скафандрах работают археологи, разбирая древнегреческие амфоры на борту покрытой водорослями финикийской галеры, затонувшей за несколько веков до нашей эры...

Когда прозвенел звонок, возвестивший конец лекции, стены и потолок снова сомкнулись над нами и профессор, помычав, пошаркав на прощание, ушел, загребая ногами.

Мы с Шурой еще долго сидели на своих местах, молчали и старались не смотреть друг другу в глаза. Что это? Может быть, приподнялся занавес и мы краешком глаза увидели великий звездный мир науки? Может быть, это именно то, за чем мы пришли в университет и уже думали, что никогда не увидим? Может быть, это именно то, ради чего и стоит жить на свете?

Мы не разговаривали с Шурой на эти темы, но с жадностью слушали лекции по археологии и с невидан-

ным еще для нас, третьекурсников, прилежанием набросились на научную литературу.

Порывистый, неукротимый, ясный в любой фразе американец Осборн, обстоятельный дотошный немец Обермайер, сухой, умный, желчный украинец Ефименко и многие другие нашли в нас благодарных читателей своих трудов по палеолиту и неолиту.

Лекции нашего профессора были удивительно насыщены: факты, события, даты, имена, теории, гипотезы, выводы. Чтение сопровождалось демонстрацией диапозитивов. Чтобы усвоить лекцию, записать ее, требовалось огромное напряжение. Мы уже не смеялись над причудами профессора и даже с неприязнью смотрели на тех, кто еще улыбался, слушая его.

А чудачеств у нашего профессора было немало. Он, например, почему-то избегал произносить слово «женщина», а если выхода не было, то говорил: «мужчины и остальные». Впрочем, однажды во время лекции он все же произнес слово «женщина». Лучше бы он этого не делал! Это было во время лекции о верхнем палеолите. Яростным голосом командира, подымающего роту в штыковую атаку, профессор прокричал:

— Истусство мира началось сорот тысяч лет назад, в эпоху ориньята. Первым видом истусства была стульптура. Первым объеттом истусства была женщина.

Тут он сдавленным голосом произнес:

— Подасите свет!

Свет погасили, и на экране вспыхнули необычайно выразительные женские статуэтки. А из темноты раздался отчаянный вопль профессора:

— Долая женщина! Со стеатопидией!

И профессор указкой ткнул в огромные каменные ягодицы скульптуры...

Постепенно археология стала отнимать у нас с Шурой все больше и больше времени. Запоминать тысячи фактов было нелегко, особенно трудно иной раз было понять их значение. Пока шли лекции о палеолите и неолите, все еще было ничего. Тяжелые каменные волны человеческой истории накатывались в определенной последовательности. В нижнем палеолите человек изготовлял только примитивные, обитые с двух сторон каменные орудия, в среднем — научился с помощью ска-

лывания делать из камня тонкие и острые пластины. В верхнем — обработка камня достигла совершенства и очень широко стали применяться костяные орудия. В неолите человек научился полировать каменные орудия. С различными этапами развития каменной индустрии легко связывались в памяти и другие важнейшие явления человеческой истории: овладение огнем, начало и развитие гончарства, появление искусства, приручение животных, становление современного типа человека.

Но вот кончился каменный век, начался век бронзы, и распалась связь времен. Единство развития, его строгая логичность и последовательность сменились, как нам тогда казалось, величайшей путаницей и неразберихой. Кочевники с их примитивной культурой сметали разумные, высокоразвитые поселения земледельцев. На одном конце земли создавались могучие цивилизации, а на другом еще продолжал господствовать каменный век. Мы не умели осмыслить закономерность этих явлений, связать друг с другом разнообразие уровней и характеров различных культур.

Из всех предметов, по которым читались лекции на курсе, археология, безусловно, была самым трудным и трудоемким. Мало было записывать и запоминать лекции: мы часами проводили время в музеях, изучая экспонаты и сверяя свои записи с музейными этикетками, мы копались в трудной литературе, в подавляющем большинстве на иностранных языках. Мы очень уставали, и только вера в то, что «как будто не все пересчитаны звезды, как будто бы мир не открыт до конца» и, может быть, и нам здесь найдется работа, поддерживала нас. Да еще неясные слухи, что профессор поедет летом в экспедицию и возьмет с собой лучших студентов.

Подошло время экзаменов. Ни к одному из них мы не готовились так добросовестно, как к археологии, да и не было другого такого трудного экзамена. Дело тут было не только в самом предмете, но и в особенностях экзаменатора. Профессора невозможно было провести никакими студенческими уловками. Например, его нельзя было удивить знанием каких-то якобы существующих мельчайших деталей и подробностей вопроса. Профессор знал все. Абсолютно все. Он безошибочно помнил даже фамилию, имя и отчество каждого студента на

курсе. О его феноменальных знаниях и памяти ходили легенды. В Институте археологии Академии наук, где мы частенько стали бывать, сотрудники, посмеиваясь и в то же время с уважением, рассказывали нам такое о памяти профессора, что мы одновременно и гордились им и ужасались нашей грядущей судьбе. Сотрудники говорили, что профессор знает отлично биографии всех римских консулов, всех французских министров за все время существования Франции, всех американских президентов и даже почему-то всех членов Государственной думы всех четырех созывов. Это последнее обстоятельство, хотя и не имевшее прямого отношения к археологии, особенно внушало нам ужас.

Да, тут не вывернешься. Приходилось готовиться всерьез, без дураков. Причем всем, а не только тем, кто уже успел полюбить и профессора, и археологию. Мы страшно завидовали примерной курсовой отличнице Клаве. Она успевала записывать во время лекций каждое слово и даже составила корреляционную таблицу выговора профессора, в которой значилось, что вместо буквы «К» он обычно говорит букву «Т», а вместо буквы «Г» — букву «Д».

Наступил день экзаменов. Мы галантно уступили первую очередь Клаве, а сами, получив билеты, стали судорожно готовиться к ответу под бдительным взором профессора. Клава после коротких раздумий начала отвечать. Первый вопрос у нее был о язычестве в Древней Руси. Клава заговорила о знаменитом черниговском кургане «Черная могила», где было найдено погребение князя X века. Среди богатого инвентаря, обнаруженного в кургане, выделялись два турьих рога с серебряной рельефной оковкой. Клава монотонно и четко пересказывала наизусть содержание лекции профессора о «Черной могиле». И вдруг мы с изумлением услышали, что Клава говорит:

— Наиболее известны из вещей, найденных в могиле, курьи рога.

Профессор ошеломленно переспросил:

— Что? Что?

— Курьи рога,— не моргнув глазом, повторила Клава, уверенная в точности своих записей и непогрешимости своих корреляционных таблиц.

Профессор возмущенно фыркнул на весь зал, покраснел и сказал дрожащим от негодования голосом:

— Очень длупо! У тур родов не бывает! Вы не понимаете. Неудовлетворительно!

Клава, действительно так ничего и не поняв, обиженная, удалилась. А мы с Шурой, больше всего озабоченные тем, чтобы не рассмеяться, забыли о наших страхах и благополучно сдали экзамены.

Через несколько дней начался набор студентов в экспедицию. Профессор выступил с короткой и страстной речью, смысл которой сводился к тому, что всем нам придется работать землекопами, а это дело тяжелое и ответственное. Но мы с Шурой были уже стреляные воробьи и понимали — раз пугает и отговаривает, значит, дело стоящее. Впрочем, может быть, именно на такой эффект и рассчитывал профессор. Однако оказалось, что согласие профессора еще далеко не все. Чтобы поехать в экспедицию, нужно было пройти строгую медкомиссию. Тут мы с Шурой изрядно



встревожились. Среди записавшихся были признанные богатыри курса, такие, как военный моряк Иван Птицын, в двадцать шесть лет спустившийся с капитанского мостика на студенческую скамью, человек с необыкновенной биографией и сказочной силой. А у Шуры еще в юности, когда он работал краснодеревцем, появилась сильная сутулость, а у меня после перелома позвоночника правая рука была гораздо слабее, чем полагается.

Мы попробовали уговорить профессора, чтобы он нам разрешил не проходить комиссии, но профессор отказал, сопроводив свой отказ загадочной фразой:

— Жизнью можно и должно жертвовать для наути, а здоровьем — нельзя.

Делать было нечего, и мы поплелись на медосмотр. К счастью, наши страхи оказались напрасными.

И вот мы трясемся в плацкартном вагоне пассажирского поезда по направлению к Новгороду, где будет работать экспедиция. На мне висят бинокль, полевая сумка, планшет, фотоаппарат. Мне поручено охранять огромную бутыль с формалином, ящики с ножами, рулетками, миллиметровкой и другим экспедиционным имуществом. Я важно отвечаю на вопросы любопытствующих пассажиров. Вопросов много, на некоторые из них я и сам не знаю, что ответить. Но, не желая ударить в грязь лицом, говорю весьма авторитетным тоном и только с досадой отворачиваюсь от насмешливого взгляда Ивана Птицына.

Я все больше входил в роль бывалого экспедиционника, как вдруг случилось непоправимое: вагон сильно тряхнуло на стыке и бутыль с формалином, стоявшая рядом со мной на сиденье, соскользнула и грохнулась об пол (я совсем забыл о ней). Быстро пробормотав: «Извините, меня зовут», я выскочил из вагона, таща за собой ничего не понимавшего Шуру. Мы пробежали по всему поезду и остановились только в тамбуре переднего вагона. Но даже тут были слышны в открытые окна вопли и проклятия пассажиров покинутого нами вагона. Как нам потом рассказывал Птицын, ядовитые пары формалина заставили пассажиров разбежаться кого куда. Они проклинали его, единственного оставшегося на месте члена экспедиции. Иван мужественно вышвырнул в окно разбитую бутыль. Часа через два запах

формалина выветрился. Пассажиры снова заняли свои места, но нам с Шурой как-то не хотелось возвращаться в этот вагон. До самого Новгорода мы простояли в тамбуре, предоставляя удовлетворять любопытство пассажиров другим участникам экспедиции...

Великий Новгород! Десятки раз бывал я в этом неповторимом городе. Помню утопающий в зелени одноэтажный и двухэтажный город довоенных лет с кривыми, мощенными булыжником улочками и стройными каменными соборами. Помню разоренный, испоганенный врагами город времен войны. Окровавленные обнажившимся кирпичом стены домов, скелеты ободранных куполов, закопченные, загаженные фрески Феофана Грека и хвастливая надпись «Гибралтар Эспана!», сделанная каким-то выродком из франкистской «Голубой дивизии» на стене Юрьева монастыря. И самое странное и страшное: над грудой развалин взорванной фашистами церкви Спас-Нередицы — одного из шедевров русского искусства и архитектуры XII века — наполовину уцелевший столп. А на столпе темная, потрескавшаяся фреска: женщина со сложенными на груди тонкими руками, с огромными скорбными глазами, устремленными за реку, где чернеют руины великого города. Веками это византийское лицо скрывало свою печаль в тени высоких сводов храма, а теперь, открытое всем ветрам и непогодам, оно обрело новую глубину и смысл.

Я помню худых, искалеченных войной людей, которые в разрушенном, голодном городе упрямо расчищали развалины, камень за камнем восстанавливали родной город.

Я знаю и люблю современный Новгород с его широкими асфальтированными проспектами и многоэтажными зданиями, с его средневековыми соборами, напоминающими о великом прошлом этого города. Каждый раз, когда вдалеке над равниной возникают золотые купола Святой Софии, когда я вижу бурный Волхов и туманную дымку над Ильмень-озером, я не могу сдержать волнения. Но, пожалуй, ничто не сравнится с тем впечатлением, которое произвел на меня Новгород, когда я впервые увидел его студентом.

Мы подъехали к городу под вечер. Имущество погру-

зили в машину, а сами с нашим профессором пошли пешком. Профессор, ставший очень серьезным, почти торжественным, говорил нам о великой истории города. Соборы, как отдыхающие птицы на зеленом лугу, сложили белые крылья закомар и тихо дремали. Небо было тревожным. Низкие тяжелые облака, темно-синие снизу, пепельные сверху, сталкиваясь друг с другом, вздымались, взвихриваясь в светлом, блеклом небе. Сквозь редкие их просветы неяркие лучи северного солнца освещали белые буруны на гребнях серо-зеленых волн Волхова. Большой мост через реку, срубленный из темных вековых бревен, вызывал ощущение гордости и тревоги. Нам казалось, что это тот самый мост, на котором дрались древние новгородцы, когда бывали меж ними «голка[1], мятеж и нелюбовь». А теперь мы шли по этому мосту.

Профессор шагал, по обыкновению загребая ногами. Шнурки на его ботинках развязались, он наступал на них, отчего иногда слегка спотыкался. Некоторые прохожие с улыбкой смотрели на профессора. Мне стало мучительно обидно за него, хотелось сказать про шнурки, но я подумал: «Какая, в сущности, все это чепуха по сравнению с тем, что мы видим и слышим!» — и не прервал его объяснений.

Темно-красным пламенем пылали стены новгородского Кремля, чернели башни, среди которых выделялся неуклюжей мощью четырехгранный Кукуй. Высокой травой поросли рвы, вырытые Петром после Нарвской битвы. А вот и Святая София, о которой новгородцы говорят: «Где Святая София — там и Новгород!» На одном из ее крестов застыл чугунный голубь. По преданию, когда великий князь московский Иван III победил новгородцев и уничтожил вольность Великого Новгорода, замер и стал чугунным голубь, сидевший на кресте Святой Софии. И поныне он там.

Вечевая площадь, где в многоголосом гуле, в схватках решались судьбы войны и мира Новгородской республики, где Александр Невский, отправляясь на битву с тевтонами к Вороньему камню, обратился к богу с молитвой: «Господи, разреши мой спор с этим высокомерным народом!» Страницы истории родной земли, знако-

[1] Го́лка — вражда, перебранка.

мые раньше только по книгам, обретали плоть и кровь, и каждый встречный казался нам древним новгородцем. Сердце замирало при мысли, что нам суждено проникнуть в еще не раскрытые тайны великого города...

Раскопы были разбиты на Торговой стороне, на Ярославовом дворище, где когда-то находился княжеский двор, а после изгнания князя — торговая площадь. Между Николодворищенским собором и церковью Параскевы Пятницы легли четыре черных прямоугольника. Они были ориентированы строго по странам света, разделены колышками и белым трассировочным шнуром на квадраты площадью в четыре метра каждый. Культурный слой нужно было разбирать по пластам толщиной в двадцать сантиметров. Для каждой находки полагалось указывать глубину, на которой она была обнаружена, номер пласта, номер квадрата и расстояние от его границ. Таким образом, любая найденная вещь помещалась как бы внутри жесткого каркаса квадратов и пластов в четко фиксированном месте.

Нас разбили на пары. Каждая пара получила лопату, медорезный нож с кривоколенной рукояткой и кисточку. Один студент раскапывал землю, а другой разбивал ее на мелкие комочки медорезным ножом, расчищал кисточкой. Потом менялись. Мы с Шурой просили начальника раскопа — строгую женщину с крупными чертами лица, по имени Сирена Авдеевна,— поставить нас в одну пару. Однако она отказала нам, сказав, что вместе мы можем гулять после работы.

И вот работа началась. Она была совсем не легкой и совсем не такой, как представлялось в Москве. Мы вовсе не листали страницы истории великой книги земли. Все эти московские представления казались теперь романтическими бреднями. Мы ничего не листали. Мы вгрызались в эту землю, да добро бы еще в землю! Под тонким слоем потрескавшейся окаменевшей почвы шла кирпичная щебенка, плотно слежавшаяся за века. Это были, как лаконично и нехотя объяснила нам Сирена Авдеевна, остатки строительства и ремонта разных зданий и соборов. Лопаты не брали щебенку и ломались. Все чаще приходилось разбивать ее киркой. Не лучше было и тому, кто работал с медорезкой. Вывороченную щебенку и плотную окаменевшую землю нужно было

быстро разбивать почти до пылевидного состояния. Изредка попадались мелкие обломки горшков. Их полагалось ссыпать в особые мешочки, пересчитывать и сдавать Сирене Авдеевне. А лето в тот год выдалось какое-то особенно душное и жаркое. Пот, катившийся с нас, перемешался с кирпичной пылью, разъедал глаза. Все тело стало чесаться. А через два часа после работы заныли все мышцы. У меня дрожала и плохо слушалась правая рука. При этом стоило на минуту разогнуть спину и отереть пот с лица, как слышался спокойный, скрипучий голос Сирены Авдеевны:

— Работайте! Работайте тщательно, отдыхать будете во время перерыва!

Только из самолюбия и злости я не бросал лопату. Когда кончился первый рабочий день, мы еле добрели до дома, где снимали койки, и не раздеваясь завалились спать. С отвращением забросил я под кровать и бинокль, и полевую сумку, и планшет. Много времени прошло до того, как они мне действительно понадобились.

Постепенно мы втянулись в землекопную работу, стали меньше уставать, хотя все-таки уставали здорово. В первую же неделю это привело к скандалу.

Однажды после работы мы, как были — потные, грязные, в одних трусах,— отправились обедать в единственный городской ресторан, откуда и были изгнаны после шумных препирательств. Только Иван Птицын, всегда чистый и свежий (после восьмичасового единоборства с грунтом и щебенкой он залезал в Волхов и долго плавал там как морж, разминая в воде могучее тело), был допущен в «святая святых».

Потом работать стало легче. Легче, но почти так же неинтересно, как и в первый день. Все время одно и то же. С утра восемь часов подряд копай, то лопатой, то киркой, то медорезкой, и считай обломки горшков. Тяжелая, скучная, однообразная работа! Да еще злила нас Сирена Авдеевна, которая ни секунды не давала нам передохнуть и не доверяла нам ни в чем, каждый раз вытряхивая керамику из мешочков, чтобы пересчитать самой. Вот и дождалась, что как-то ей в мешочек подсунули мышонка, а мышей она смертельно боялась.

Иногда попадались на квадратах и различные вещи, но мы их не видели. Сирена Авдеевна тут же отбирала

их, упаковывала, прятала и наносила место находки на план. Мы расспрашивали об этих вещах у тех, кто их нашел. Но они и сами часто не знали, что выкопали из земли. Когда мы пытались расспрашивать Сирену Авдеевну, она отвечала обычно:

— Работайте, работайте тщательно! Ваше дело работать, а разбирать находки будете потом, если станете археологами.

Профессор появлялся то на одном, то на другом раскопе, говорил о том, что прослойка угля, которую мы раскапывали,— остатки пожара, отмеченного летописью в таком-то году. Это было уже интересно, хотя и непонятно, откуда он это узнал. Расспрашивать его во время работы казалось неудобным. А глядя на помолодевшего, счастливого профессора, совестно было и жаловаться на то, что Сирена Авдеевна ни в чем нам не доверяет и ничего не объясняет. Да имели ли мы право на это? Ведь нас взяли в качестве рабочих-землекопов, значит, мы и должны копать, а в остальное не вмешиваться.

Да, все оказалось совсем не таким, как представлялось в Москве. А тут еще и раскоп у нас попался какой-то особенно невезучий. На других хотя бы находили какие-то вещи, а у нас ничего, кроме однообразных фрагментов керамики, которая всем уже изрядно надоела. Правда, после того как наш раскоп углубился больше чем на метр, стали попадаться кости животных, главным образом коровьи челюсти. Непонятно было, откуда и зачем они здесь. Когда мы с Шурой отважились спросить об этом Сирену Авдеевну, она ответила:

— Очищайте тщательно челюсти, а объяснять это будет руководство экспедиции.

После этого и челюсти нам опротивели. Да мы подозревали, что и сама Сирена Авдеевна не знает, откуда и зачем эти челюсти. Наверное, Сирена Авдеевна была честным и добросовестным работником, но все у нее получалось так скучно и так она подчеркивала, что мы только землекопы, что мы все больше и больше разочаровывались в археологии. Все стало раздражать меня. Даже когда помощник Сирены Авдеевны тихая и добрая женщина Гликерия Петровна говорила мне: «Товарищ Федоров, прошу вас, не сидите на земле. Вы получите ишиас, я по собственному опыту знаю, какая это мучи-

тельная болезнь!» — я отвечал на это заботливое замечание дерзостью.

Единственной отдушиной были воскресенья. В этот день с утра профессор облачался в белый, безукоризненно чистый, отутюженный костюм, хотя и сидевший на нем мешком, ярко-желтые ботинки и ходил с нами по Новгороду и его окрестностям. Это было удивительно интересно. Мы осматривали длинные низкие палаты Марфы Посадницы, разглядывали то яростные, то величавые лица столпников на стенах церкви Спаса-на-Ильине, смотрели на нежные и грустные, полные огня и страсти, но всегда по-византийски утонченные фрески Спас-Нередицы. В рассказах нашего профессора все это оживало, превращалось в вехи истории великого города, его путей и перепутий. А профессор, обладая не только удивительной памятью и эрудицией, но и способностью бесконечно увлекаться виденным, вспоминал и историю многих других знаменитых городов, воссоздавал прошлое так, что мы как бы воочию видели жизнь ушедших поколений. Когда четверть века спустя бродил я под жарким итальянским солнцем по улицам Помпеи, то, как в знакомый дом, вошел во дворец купцов Веттиев, — так ярко и красочно описал его профессор когда-то на берегу Волхова.

Профессор ко всему — к людям, к истории, к событиям — относился с огромным увлечением, ни к чему не был равнодушен и не терпел равнодушия в других. Както раз он спросил меня:

— Вы любите поэзию Блота?

Занятый другими мыслями, я ответил рассеянно:

— Да, я люблю Блока.

Профессор рассвирепел, яростно фыркнул и пробурчал:

— Тот, тто любит Блота, тот об этом не доворит!

К концу каждого воскресенья мы были совершенно измучены огромным количеством впечатлений, но и совершенно счастливы. Тем скучнее и бессмысленнее казалась нам наша работа с утра в понедельник, тем резче был контраст между «большой археологией» профессора и «малой археологией» Сирены Авдеевны. Да, конечно, теоретически мы понимали, что путь к «большой археологии» лежит через «малую археологию», но уж

очень они не соответствовали друг другу и практически связь между ними казалась неуловимой. А Сирена Авдеевна, чувствуя наш пассивный протест, удваивала строгость. Только и слышны были на раскопке ее замечания. Но я решил все вытерпеть, чтобы остаться археологом, вернее, чтобы им стать. Я старался заглушить в самом себе чувство протеста. Работал изо всех сил, несмотря на больную руку, и все же получал очень много замечаний. Впрочем, иногда эти замечания были правильными, хотя я все делал добросовестно. Так, например, мой напарник, мягкий, добрый, но дотошный Эля Таубин, говорил мне:

— Промерь-ка расстояние от этого камня до угла квадрата.

Я промерял и сообщал ему:

— Тридцать семь с половиной сантиметров.

Эля с сомнением жевал губами, сам брался за рулетку, и у него получалось 53 сантиметра. Потом контрольный промер делала Сирена Авдеевна, и у нее выходило 82 сантиметра. Сирена Авдеевна приходила в неистовство, но я и до сих пор не могу понять, почему так получалось. А еще меня удивляло, что Шура, о котором я точно знал, что он не особенно любит физический труд, числился в лучших рабочих и Сирена Авдеевна вечно ставила нам его в пример. Когда после работы я спрашивал Шуру, как ему удается так здорово работать, он односложно отвечал: «Стараюсь», а на мои расспросы и сомнения пожимал плечами и говорил: «Не морочь голову!»

Однажды мой напарник заболел, и меня поставили работать с Шурой. Не желая ударить лицом в грязь перед лучшим работником раскопа, я вовсю орудовал лопатой, не давая себе и секунды отдыха. Шура еле поспевал просматривать за мной землю. И вдруг я с удивлением услышал, как Шура, брезгливо выпятив нижнюю губу, ворчит:

— Вот! Поставили идиота на мою голову! Надорвешься тут с таким дураком!

— Шура! В чем дело? — спросил я.— Разве я плохо работаю?

— Ты идиот! — мрачно ответил Шура, отирая пот со лба.

— А как же надо работать?

Шура с сомнением посмотрел на меня, а потом спросил:

— Никому не расскажешь?

Я заверил, что никому ни слова не скажу, хотя решительно ничего не понимал. Тогда Шура сказал:

— Видишь, лежит на земле щепочка?

Да, такая щепочка лежала. Шура нагнулся над ней, кончиком ножа сковырнул немного налипшей земли и потом дунул на это место. Земля слетела, и обнажился маленький участок чистой древесины.

— Вот так и делай! — назидательно сказал Шура.

Я повторил его движения: ковырнул, дунул. Обнажился еще участочек древесины.

— Понял? — спросил Шура.

Я попытался что-то сказать, но Шура прервал меня:

— Довольно болтать, работать надо! — и склонился над другой щепочкой.

Некоторое время я машинально ковырял свою щепочку и дул на нее, а потом все-таки понял, чего хотел от меня Шура, и жизнь показалась мне до обиды легкой. Часа три ковырял я грязь на щепочке и дул на нее. В результате щепочка сияла первозданной чистотой, на ней отчетливо видна была каждая нитка древесины. Остаток дня я посвятил той же операции на одной из коровьих челюстей. Я так начистил зубы этой челюсти, что ее можно было использовать в качестве рекламы зубной пасты. В конце дня Шура позвал Сирену Адеевну и показал ей свою и мою работу. Сирена Авдеевна довольным тоном сказала мне:

— Ну, вот что значит хорошее влияние! Наконец вы научились работать тщательно!

Я не сдержал обещания, данного Шуре, и рассказал о его гениальном изобретении нескольким товарищам, а они оповестили всех остальных. Великое монгайтовское движение охватило раскоп. Все целые дни старательно ковыряли ножами и дули, лишь иногда для виду помахивая лопатами. Все мы стали «ударниками», все научились работать «тщательно», но работы на раскопе почти остановились. Только Иван Птицын продолжал копать на совесть, и на нем сосредоточила Сирена Авдеевна огонь своих критических замечаний и приди-

рок. Но Иван и не такое видывал на своем веку. Он молча продолжал орудовать лопатой. Только если Сирена Авдеевна уж очень его допекала, он, безмятежно глядя на нее своими большими серыми глазами, спрашивал:

— Знаете ли вы, почтеннейшая Сирена Авдеевна, что делает курьерский поезд, когда он опаздывает на перегоне?

— Что? — озадаченно отзывалась Сирена Авдеевна.

Тогда Иван, не без труда состроив на своем открытом добродушном лице зверскую гримасу, могучим волжским басом отвечал:

— Он поднимает пар, дает полный вперед и приходит вовремя к пункту назначения.

После этого, скинув бушлат, Иван хватал лопату и прыгал в раскоп. Там он сам себе командовал «Майна!» и начинал копать с невероятной скоростью. Прах летел из-под лопаты. Камни, коровьи челюсти, земля, керамика — все выбрасывалось на-гора, в отвал, неудержимым потоком. Просматривающий только увертывался от летевших в него комков. Железная Сирена вопила во весь голос, но Иван не обращал на нее никакого внимания. Ноги его были широко расставлены, мускулы вздымались на широкой груди под рваной тельняшкой, руки работали мерно и сильно, как рычаги паровоза. Минут через двадцать Сирена Авдеевна сдавалась, и Иван снова начинал работать нормально.

Мы с Шурой да и другие участники монгайтовского движения испытывали некоторые угрызения совести, подумывали, не рассказать ли нам обо всем профессору. Но уж очень он ценил «тщательность», педантичность и строгость Сирены Авдеевны — качества, которых сам был начисто лишен. Да и сама Сирена Авдеевна так нам досадила, что не хотелось отказать себе в удовольствии наслаждаться местью. Однако работы, хотя и черепашьим шагом, и то в основном стараниями Ивана, все же продвигались вперед. Раскоп медленно углублялся.

Как-то, оглядывая профиль раскопа и разбивая комки земли на квадрате, я обратил внимание на то, что изменился характер строительного мусора в земле. До определенного уровня он состоял из обломков кирпича и щебенки, а ниже — из обломков камня и каменной

крошки. Я сказал об этом Сирене Авдеевне, но она сердито мне ответила:

— Опять вы отвлекаетесь от дела. Снова забыли, что нужно работать тщательно!

Однако она меня хотя и обескуражила, но не убедила. В свободное время я осмотрел профили раскопа по всем квадратам и убедился, что строительный мусор изменился всюду. Я поделился этим наблюдением с Шурой, и мы вместе осмотрели все четыре раскопа: всюду на определенном уровне кирпичная щебенка сменялась камнем. Тогда после долгих колебаний я решил нарушить субординацию и обратиться прямо к профессору, хотя это и было нам строжайше запрещено Сиреной Авдеевной.

Дождавшись, когда профессор пришел на наш раскоп, я бросил лопату, вылез наверх и под ледяным взглядом Сирены Авдеевны все рассказал ему.

Профессор молча слез в раскоп, взял лопату, прошел по всему раскопу, зачищая профиль и разбивая комки земли под ногами. Потом он вылез и так же молча ушел на другие раскопы. Озадаченный, я пропустил мимо ушей язвительный выговор, сделанный мне Сиреной Авдеевной, и взялся за лопату. Но через полчаса профессор снова появился у нас. Тем напряженным от сдержанного волнения голосом, который мы привыкли слышать на лекциях, он сказал:

— Остановить работы. До 1478 года Новгород Великий был независимым. Существовала замечательная школа новгородских архитекторов и зодчих. Они строили дома в соответствии с вековыми традициями из местного камня. Московский князь Иван Третий разбил новгородское ополчение, разогнал вече, включил Новгород в состав Московского государства. Новгородская республика исчезла, зато укрепились могущество и сила всей Руси. «Город дум великих, город буйных сил, Новгород Великий тихо опочил». В Новгород приехали новые хозяева — московские бояре и приказные дьяки. Они всё стали переделывать на свой лад. Строить тоже стали по-московски — из кирпича. Там, где в культурном слое камень сменяется кирпичом, — граница вольности Великого Новгорода. Ниже этой границы — вольный Новгород, выше границы — Новгород, вотчина москов-

ских князей. И эту границу открыли ваши товарищи...

Тут он назвал наши с Шурой фамилии. Я почувствовал, что ноги у меня приросли к земле, стали какими-то ватными, а дыхание перехватило. Я знал: пусть будет что угодно, сто Сирен Авдеевн, сколько угодно самой тяжелой землекопной работы — я буду археологом. Ради этого стоит вытерпеть все, ради этого и стоит жить на свете.

Встретившись глазами с Шурой, я понял, что и он охвачен теми же чувствами. И, когда через несколько дней из земли медленно показались огромные дубовые плахи мостовых, которыми была замощена торговая площадь, мы восприняли это как награду за первый месяц тяжелого труда. Тут пригодилось и умение копать, и делать сверхтщательную расчистку — результат великого монгайтовского движения.

Массивные поперечные плахи — тесины из темно-коричневого дуба — скреплялись продольными лагами. Во влажной, полной органических солей почве Новгорода мостовые сохранились изумительно. Топор звенел и отскакивал от несокрушимых плах. Мостовые



казались вечными. Но, увы, это было не так. Стоило плахам пролежать на открытом воздухе под лучами солнца три-четыре часа, как они начинали высыхать, коробиться и в конце концов превращались в труху. Чтобы предотвратить это разрушение, приходилось сразу же после расчистки заливать мостовые формалином. Я этим и занимался, не без некоторых, однако, неприятных воспоминаний. Нашли свое объяснение и коровьи челюсти, и другие плоские кости, которые в изобилии попадались на раскопе. Под каждым ярусом мостовых они лежали ровным плотным слоем. В зыбкой, болотистой почве Новгорода мостовые быстро выходили из строя. Чтобы укрепить почву и предохранить мостовые от гниения, со всех новгородских боен свозили кости животных, выбирая для удобства самые плоские и прочные, а такими и были прежде всего коровьи челюсти. Их подкладывали в качестве фундамента под мостовые.

А вот и новое открытие: на соседнем раскопе открыли водопровод. Впрочем, впоследствии ряд археологов утверждал, что это был водоотвод. Но для моего рассказа это не столь существенно. Круглые деревянные трубы на стыках скреплялись слоем бересты. Отстойниками служили большие дубовые бочки. Вода шла самотеком к княжескому двору из лежащих выше ключей. Когда мы приложили ухо к трубе, то услышали журчание воды. Водопровод был построен в XI веке. С тех пор прошли многие сотни лет. Давно исчез княжеский дворец, изгнан был князь из Новгорода. Над водопроводом наросла пятиметровая толща строительного мусора. А вода все текла и текла. Она тихо пела о давно ушедших временах. В скользкой темной трубе мы проделали маленькую дырочку, вставили в нее соломинку и по очереди пили холодную, чистую влагу.

На мусульманском Востоке есть поговорка: «Кто попробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир». Может быть, это и так. Но твердо я знаю одно: кто пил воду из новгородского водопровода, раскопанного тогда нами, тот навсегда стал археологом. Мы твердо выбрали свой путь и не променяли его ни на какой другой.



ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

Первый в своей жизни Открытый лист я получил после нового сезона полевых работ Новгородской экспедиции.

В Открытом листе было написано, что он выдан Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР (так тогда назывался наш Институт археологии) т. Федорову Г. Б. на право производства архео-

логических раскопок курганной группы у села Деревлево, Московской области. Далее следовало, что на основании соответствующего постановления Совета Народных Комиссаров СССР всем органам советской власти, государственным и общественным организациям и частным лицам надлежит оказывать всемерное содействие т. Федорову в интересах науки к успешному выполнению возложенных на него поручений.

Это был уже второй «наш» — студенческий Открытый лист. Первый получил Шура. Но мы еще никак не могли к ним привыкнуть.

Когда мой Открытый лист рассматривали товарищи, я, делая по возможности равнодушное лицо, занимался разными делами. Зато дома я то и дело вынимал его из стола, якобы для того, чтобы определить степень моих полномочий и убедиться в правильном оформлении, хотя давно уже знал наизусть каждую строчку этого знаменательного документа.

В раскопках курганов мне уже приходилось принимать участие. Под руководством нашего профессора мы раскапывали курганы у села Салтыковка; под началом Шуры я работал землекопом на раскопках курганов у села Черёмушки, среди довольно густого леса, там, где сейчас находится Юго-Западный район столицы.

Уже не один десяток курганов перекопал я своими руками и все же теперь очень волновался. Одно дело принимать участие в раскопках, другое дело — ими руководить. Я снова перечитал книги о курганах вятичей, радимичей и других восточнославянских племен.

У села Деревлева мы обнаружили около полутора десятков курганов. Это были классические подмосковные средневековые курганы. Насыпи имели форму полушария, вокруг подножия кургана ровик и небольшая перемычка — словом, все как надо. И все же меня мучили сомнения, делиться которыми, я, как руководитель раскопок, не считал возможным даже со своими товарищами. Впрочем, с Шурой я все же делился.

— Шура, — начинал я, — а вдруг это не курганы?

— А что это, по-твоему? — лениво отвечал Шура.

— Ну, просто кто-нибудь насыпал холмики земли.

— Вот именно просто, специально, чтобы нас обмануть.

— Ну хорошо,— не сдавался я.— А если эти курганы насыпаны в память погибших где-нибудь на чужбине? Ты ведь знаешь, такие курганы сооружали. Тогда они совершенно пусты.

— Знаешь что,— отвечал Шура,— не морочь голову. Если все они погибли на чужбине, то кто же соорудил для них эти курганы и кому нужны были памятные курганы, если все где-то погибли? Отстань!

После таких разговоров мне становилось легче и я чувствовал себя увереннее.

Наконец наступил день начала раскопок. В рабочих руках недостатка не ощущалось. Все мои товарищи, студенты-археологи, в том числе и Шура, который до этого был начальником раскопок на другой курганной группе, превратились в землекопов.

Доехав на автобусе до конечной остановки, мы долго еще месили ногами грязь по глинистому проселку, нагруженные нехитрым нашим снаряжением. Когда мы наконец добрались до курганной группы, пошел мелкий моросящий дождь. Была поздняя осень, и было ясно, что дождь зарядил надолго. Посовещавшись, мы решили считать, что дождя нет.

План курганной группы мы сняли заранее, измерив и пронумеровав курганы. Теперь же, до того как приступить к раскопкам, нужно было найти место, где можно было бы хранить инструменты да и самим погреться и перекусить. Впрочем, выбирать не приходилось. Курганная группа была расположена довольно далеко от села. Возле нее стояла только одна изба с покосившимся плетнем, окружающим пустой, перекопанный уже огород. Туда мы и направились. На стук никто не отозвался. Когда мы все же отворили дверь и вошли, из-за дощатого почерневшего стола навстречу нам поднялся тощий старик в косоворотке, с бритым подбородком и огромными усами. Усы были пышные и вислые, как у Тараса Шевченко. Кончики их почему-то позеленели, только под носом сохранился их природный рыжий цвет, а так усы были совершенно седые.

Старик хмуро поглядел на нас и проворчал:

— Молока нету. И вообще не мешайте мне радио слушать.

Действительно, в красном углу висела черная тарел-

ка репродуктора, откуда слышались почти до неузнаваемости искаженные звуки оперы «Иван Сусанин».

— Здравствуйте, дедушка,— возможно более вежливым тоном сказал я.— А нам и не надо никакого молока. Мы на минутку. Мы студенты из Москвы. Будем тут поблизости курганы раскапывать. Можно к вам заходить погреться и лопаты на ночь оставлять?

— Нет. Нельзя! — быстро и категорически ответил дед.

— Почему же? — искренне удивился я.

— Нельзя, и всё тут! — так же быстро сказал дед.— Мне от вас одно беспокойство, да и картошку на огороде всю перекопаете. Знаю я вас!

— Дедушка,— ответил я, начиная злиться,— никакого вам беспокойства не будет. А картошка у вас уже вся выкопана.

— Вот, вот я и говорю,— закипятился дед,— уже примеривались на огород. «Выкопана, выкопана»! А может, там на корнях еще клубни остались? Я человек старый — недоглядел. Уходите, и всё тут!

— Да вы нам просто обязаны помогать, если на то пошло,— зло сказал я.— Вот, посмотрите! — и протянул деду Открытый лист.

Дед нехотя взял лист, надел очки, предварительно протерев полой рубахи стекла в тусклой железной оправе, и долго читал, с сомнением подымая низкие брови. Прочитав, он сдвинул очки на кончик носа и, глядя поверх них, сказал мне:

— Не подходит. Не по форме бумага.

— Как это — не по форме?

— А вот так и не по форме. Село указано, а фамилиё моё нет. Вот пусть Совнарком мне напишет, тогда другой разговор...

А, черт бы его побрал! С трудом сдерживаясь, я повернулся и пошел к двери. Придется теперь тащиться до самого села.

В это время мой товарищ Миша, который, несмотря на молодость, имел уже обширные познания в археологии и очень не любил, когда последнее слово оставалось не за ним, бросил на меня умоляющий взгляд. Тогда я, уходя, процедил:

— У вас, дедушка, не усы, а прямо ирландский флаг!

— Стой! — неожиданно рявкнул старик ефрейторским голосом.— Что это за ирландский флаг такой?

— Есть такая страна — Ирландия,— сдержанно объяснил я.— Так вот, у них флаг таких же цветов, как ваши усы,— зеленый, белый и оранжевый.

— Вот как! — сказал старик, неожиданно смягчаясь.— Вижу: вас, паршивцев, в университете чему-то научили. Так не будете картошку выкапывать?

Мы клятвенно заверили, что не будем.

— Так и быть. Десять рублей в день будете платить,— сдался наконец старик и важно представился: — Николай Прокофьич Деревлев, колхозный сторож в отставке!

Мы с облегчением положили в сенях наши припасы, хотя расход на помещение и не был предусмотрен сметой. Взяв только самое необходимое, мы отправились было на курган, но Николай Прокофьич тут же остановил меня:

— Подожди-ка ты, начальник! Вот ты мне объясни, что это там по радио передают?

Я коротко рассказал ему содержание оперы, особенно нажимая при этом на патриотизм Ивана Сусанина, надеясь, что этот пример вдохновит старика на помощь родной науке, но он и ухом не повел.

— Да, вот так,— задумчиво сказал Николай Прокофьич, когда я кончил.— Теперь много таких находят, которые еще с древности за советскую власть стояли!

Спорить с ним было некогда и неохота, и мы быстро пошли на курганы.

Раскопки небольших средневековых деревенских курганов — дело нехитрое, но очень интересное. При похоронах покойников клали обычно прямо на землю или на дно небольшой ямы, на спине, в вытянутом положении, с запада на восток. У христианских народов это связано с таким поверьем: когда придет мессия, а он появится с востока, откуда восходит солнце, мертвые восстанут из могилы. Вот их и клали в таком положении, чтобы они восстали без излишних затруднений прямо навстречу спасителю. Поэтому при раскопках бровку — нетронутый слой земли толщиной пятьдесят сантиметров в насыпи кургана — отмеряют с севера на юг — перпендикулярно захоронению. Бровка нужна,

чтобы получить полный профиль насыпи, определить ее структуру и размеры. Обычно копают насыпь по обе стороны бровки одновременно. Это нужно для того, чтобы определить, как делали насыпь, имеются ли в ней перекопы, остатки каких-либо надмогильных сооружений. Иногда в насыпи находят остатки стравы — поминального пира, который был широко распространен у славян. Иногда обнаруживают и впускные погребения, то есть погребения, сделанные в насыпи, уже после того как совершено основное захоронение.

Мы начали копать сразу несколько курганов. Кроме землекопной работы, все участники экспедиции имели и другие обязанности. Один вел дневники раскопок, другой снимал план и профиль кургана, третий составлял опись находок. Вскоре в насыпи стали попадаться обломки средневековых славянских горшков с орнаментом из поясков горизонтальных или волнистых углубленных линий. Значит, курганы, безусловно, средневековые. На этот счет я мог уже не волноваться.

Однажды я заметил, что на одном кургане работает совершенно неизвестный мне мальчик лет пятнадцати-шестнадцати. Мальчик был невысокий, с ярко-рыжими, густыми, невероятно растрепанными волосами. Он появился совершенно неожиданно, прямо как гриб подосиновик вырос из-под земли.

Я подошел к нему и спросил:

— Ты кто такой?

Не переставая быстро копать, мальчик ответил:

— Археолог!

Ах, вот оно что! Мы, студенты с двухлетним стажем полевых работ, еще только мечтаем о том, чтобы стать археологами, а этот шпингалет уже называет себя археологом. Ловко! От его наглости я прямо онемел.

В это время Миша, слышавший наш разговор, не без надменности сказал:

— А чем, собственно, молодой человек, вы можете это доказать?

Мальчик, также не переставая копать, односложно ответил:

— Работой!

Мы оценили ответ. Но Миша, не сдаваясь, спросил:

— Ну, а как в смысле теоретических познаний?

Мальчик разогнулся, оперся на лопату и ответил:

— Я знаю семь заповедей археолога.— И тут же стал быстро перечислять: — Орудие археолога — лопата; лучший друг археолога — пожар; мечта археолога — могила; клад археолога — помойка...

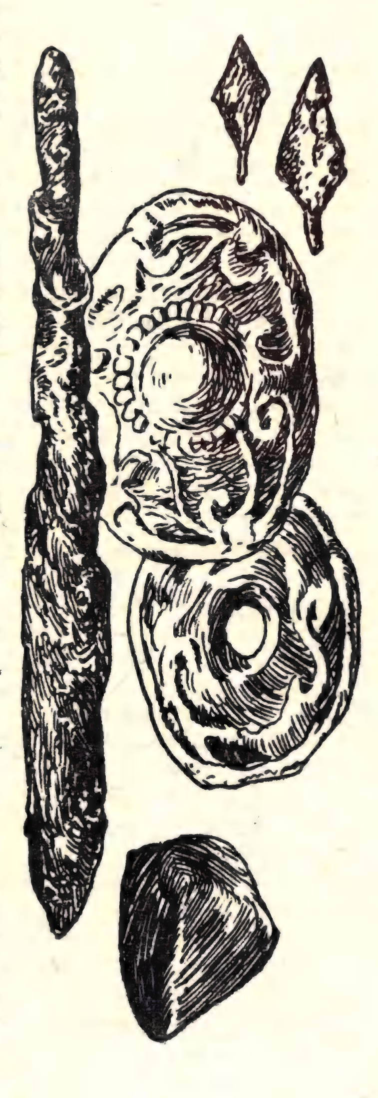
— Хватит! — прервал его изумленный Миша.— Как вас зовут и откуда вы это знаете?

— Зовут Ростиком,— быстро ответил мальчик,— а знаю из занятий школьного археологического кружка.

Вот так номер! Ведь эти шуточные семь заповедей археолога мы сами придумали и очень ими гордились. «Лучший друг археолога — пожар». Да. При пожаре деревянные вещи, зерна обугливаются, не поддаются гниению и потому сохраняются веками.

«Мечта археолога — могила». В древности люди клали вместе с умершими в могилу сосуды с пищей и питьем, инструменты, украшения — все, что должно было пригодиться покойнику на пути в «потусторонний мир». В могильных ямах эти вещи и сосуды иногда много столетий или даже тысячелетий сохранялись целыми.

«Клад археолога — помойка». В мусорные ямы





бросали сломанные, старые вещи: скажем, горшок, у которого отбилось дно. Для употребления этот горшок был уже негоден, а вот археологу очень легко склеить дно и тулово горшка, полностью восстановить его форму. Это не то что при раскопках поселения, где чаще всего находятся мелкие обломки, да еще разбросанные на большом расстоянии друг от друга и на разных глубинах.

Эти и другие азбучные для археологов истины мы и сформулировали в виде нехитрых семи заповедей. А оказалось, что какие-то школьники — мальчишки из археологического кружка — их уже взяли на вооружение. Во всяком случае, одно было бесспорно — Ростик имел право заниматься археологией. Скажу кстати, что это свое право он, теперь уже известный ученый, не раз подтверждал гораздо более значительными знаниями, чем знание «семи заповедей»...

Вот наконец и первое погребение. Сначала показался череп, через некоторое время — по другую сторону бровки — кости ног. Мы тщательно вычертили профиль насыпи, накрыли открытую уже часть скелета газетами и присыпали зем-

лей, чтобы случайно не разрушить, и разобрали бровку. После этого снова сняли газеты и принялись тщательно расчищать скелет и землю вокруг него.

Высокий рост, мощный подбородок, почти квадратные глазницы указывали на то, что это мужчина. У бедра его лежал нож, кремень, у правого плеча — несколько железных ромбовидных наконечников стрел, на бедрах — овальные медные бляшки, каждая с двумя небольшими шпеньками. Ясно, что бляшки набивались на кожаный пояс. Ура! Значит, это все-таки воин, и воин, вовсе не погибший на чужбине!

Стрелы — редкая находка в подмосковных курганах. Обычно здесь похоронены мирные люди — деревенские хлеборобы.

А вот и, безусловно, женское погребение. Возле черепа — знакомые по раскопкам в Салтыковке и Черемушках — медные семилопастные височные кольца вятичей. На пальцах обеих рук — перстни с синими и зеленоватыми стеклами в щитках; на руках — браслеты из перевитой проволоки, возле шеи — рассыпавшаяся нитка бусин из темно-красного камня — сердолика — и прозрачного хрусталя. Богатые украшения для крестьянки!

Ростик, низко склонившийся над погребением, похожий на ищейку, вынюхивающую след, негромко и коротко сказал:

— Двенадцатый век. Вятичи.

Верно и то и другое. Сердоликовые бусины имеют форму двух сложенных основанием пирамид. Они так и называются у археологов — бипирамидальные. Эти бусы, как выяснено нашими учителями в археологии, особенно характерны именно для русских славян и именно для XII века.

Из всех четырнадцати восточнославянских племен — предков русского, украинского и белорусского народов — вятичи, которые, по свидетельству летописца, сидели на Оке и ее притоках, были в некоторых отношениях самыми упрямыми и консервативными. Христианская церковь запрещала хоронить умерших с вещами и под курганными насыпями. Но вятичи долго не подчинялись этому запрету и продолжали хоронить своих умерших по древним языческим обрядам. Поэтому в

земле вятичей и можно встретить богатые захоронения со многими вещами, в курганах, относящиеся даже к XIV веку.

Сопротивление вятичей канонам христианской церкви сослужило неоценимую услугу археологам. Благодаря ему обнаружено множество вещей, позволяющих судить о жизни и хозяйстве наших предков.

Почти каждый день раскопок приводил к открытию все новых и новых погребений, и мы становились владельцами большого количества вещей, очень важных для изучения развития ремесел и сельского хозяйства у вятичей. Конечно, все это были только маленькие камешки из того могучего гранитного фундамента фактов, на котором наука воздвигает свое знание о прошлом нашего народа, но все-таки эти камешки были из настоящего гранита.

И мы все были счастливы, как могут быть счастливы только археологи на удачных раскопках. Частые дожди и холодный ветер не смущали нас. Беспокойство доставлял только Николай Прокофьич, с которым мы поневоле должны были общаться, когда брали или оставляли инструменты или заходили в избу погреться и перекусить.

Николаю Прокофьичу не нравилось, что мы выкапываем человеческие скелеты, он требовал повышения платы и в избу нас с черепами не впускал. Кроме того, он все время ворчал на нас, говорил, что мы его дурачим, что на самом деле мы ищем золото. Сто раз я объяснял ему, для чего ведутся раскопки. Николай Прокофьич только упрямо мотал головой. Меня-то он вообще ни в грош не ставил, впрочем, и другие члены нашей экспедиции не пользовались его благосклонностью. С уважением он относился только к Мише, может быть, из-за его рыжей бороды и способности говорить внушительно и солидно. Однако, если говорить правду, Мише он тоже не очень верил.

— Знаю, знаю,— ворчал он в ответ на наши объяснения,— всяким поганством вы можете заниматься, а меня, старика, вам не одурачить. Молоды еще. А вот дед мой сказывал: в этих валках француз золото закопал, когда с Бонапартой из Москвы драпал. Вот вы его золотые клады и ищете. Дознались по старым книгам, вот и ище-

те. А то — история! Знаю я вашу историю! Будет государство на такую ерунду деньги тратить!

Когда я попытался разубедить деда, он, хитро прищурившись, сказал:

— А вот давай условимся: найдешь золотой клад — мне половину. В порядке гостеприимства. Идет?

— Дедушка,— ответил я,— ты же читал Открытый лист. Все, что мы находим, принадлежит государству. Мы все сдаем в Академию наук. Понятно? И нет здесь никаких золотых кладов!

— Нет? Вот оно как! — ехидно отвечал дед.— А что же ты боишься условиться, чтобы мне половину? Не обманешь! Не таковский старый солдат!

Надоел он мне этими разговорами ужасно. Очень хотелось бросить его избу, но выхода не было. И я решил пообещать ему, как он хотел, половину золотого клада, если мы найдем его. Я знал, что ничем не рискую. В бедных крестьянских погребениях неоткуда было взяться золоту, да еще целому золотому кладу.

После того как я дал обещание, Николай Прокофьич ежедневно стал ходить на раскопки и даже частенько, кряхтя и время от времени потирая спину, брался за лопату.

Раскопки курганской группы подходили к концу.

В холодный, но погожий ясный день, когда Ростик вскрывал насыпь последнего кургана, лопата его неожиданно звякнула и с нее посыпалось что-то ослепительно сверкающее. Мы все кинулись к кургану Ростика, который уже расчищал находку кисточкой и ножом.

Это «что-то» оказалось раздавленным свинцовым горшком, полным разнокалиберных новеньких серебряных монет. Вот на одной монете блеснул гордый и сильный профиль Петра Великого, на другой развернула пышные плечи Елизавета.

Монет оказалось около трехсот: рубли, полтинники, полуполтины. Большой клад! Все монеты XVIII века. Что за черт! Как попали они в курган, сооруженный в XII веке? Каждая монета сама по себе не очень интересна, их сколько угодно в любом музее, но, может быть, в целом по кладу можно будет что-нибудь узнать?

Мы собрали все монеты и остатки свинцового горшка и отнесли их в избу к Николаю Прокофьичу, который

с минуты обнаружения клада буквально места себе не находил.

— Ну, ты, начальник!— кричал мне старик.— Условие помнишь? То-то! Я все знаю! Половину клада мне!

— Да что вы, дедушка,— отвечал я несколько смущенный,— ведь я же вам говорил: все, что мы находим, принадлежит государству. Вот сейчас Миша составит опись всех монет, а потом мы все сдадим в Академию наук. Я же шутил тогда!

— Я тебе покажу — шутил! — кипятился Николай Прокофьич.— Уговор дороже денег! Не выйдет!

— Нет, выйдет! — неожиданно вмешался Ростик.— Уговор был насчет золотого клада, а здесь все монеты серебряные, золотой ни одной нет.

— Ах, черти! — схватился за голову Николай Прокофьич.— Обманули старика, обвели, бесстыдники!

Спорить с ним было бесполезно. Пока мы приводили в порядок дневники и чертежи, описывали клад и говорили о нем между собой, Прокофьич только вздыхал, бросая на нас укоризненные взгляды.

Мы задержались до позднего вечера. Закончив возиться с кладом, я сказал старику:

— Ну вот, дедушка, теперь каждая монета описана. Кроме того, кое-что можно сказать и о человеке, который закопал клад, в порядке научной гипотезы, конечно. Хотите, расскажу?

В ответ Николай Прокофьич горестно махнул рукой и пробормотал:

— И сколько лет я под боком с этим кладом жил и не раскопал! Надо же! Враки все эти твои потезы! Одни надсмешки над стариком строишь!

— Нет, уважаемый Николай Прокофьич,— с достоинством ответил за меня Миша,— вовсе не враки. А если бы мы и предполагали, как вы изволите выражаться, строить над вами надсмешки, вряд ли бы только для этого потратили так много времени.

Я сказал:

— Клад закопал крестьянин в 1756 году. Когда клад был закопан, крестьянину было лет сорок — сорок пять. Собирал он этот клад больше двадцати пяти лет и с каждым годом богател. Скорее всего, он был одино-

ким, как вы. Крестьянин был мобилизован в армию, воевал с немцами и был убит.

— Враки, ой, враки! — все так же горестно сказал Николай Прокофьич.— Мало того, что клад отобрали, так ты еще враки свои заставляешь слушать. Ну, вот скажи,— тут Прокофьич немного оживился,— почему это его закопал крестьянин?

— От Москвы до Деревлева расстояние порядочное,— ответил я.— Каких-либо следов древнего города здесь нет. А вот деревни издавна были. Значит, и закопал местный житель — крестьянин. Москвич спрятал бы клад где-нибудь у себя во дворе или в доме, а не потащил бы за тридевять земель на древнее сельское кладбище. Да и сумма не особенно большая — двести с небольшим рублей. Для крестьянина в то время это и правда было целое состояние — четверть ржи тогда стоила не больше рубля.

— Ну, положим,— заинтересованно сказал старик.— А почему клад закопан в 1756 году?

— Самые поздние монеты в кладе чеканены в 1756 году.

— Ага,— протянул Николай Прокофьич.— А почему крестьянину было лет сорок — сорок пять, когда он закопал клад?

— В кладе монеты от 1725 года до 1756 года. Конечно, и сейчас и тогда ходят монеты разных годов чеканки. Только в этом кладе монеты каждого года чеканки от 1725 до 1756. Ни один год не пропущен. Это не коллекция — иначе бы ее не закопали. Это сбережения, которые откладывались каждый год — с 1725 до 1756 года. Когда мог начать откладывать сбережения крестьянин? Когда стал взрослым. Вряд ли раньше лет восемнадцати—двадцати. А монеты он откладывал двадцать семь лет. Вот и считайте.

— Так, так, так,— быстро пробормотал Николай Прокофьич и тут же спросил: — А почему он с каждым годом богател?

— Монет каждого года чеканки чем позже, тем больше. Монет 1725 года всего на полтора рубля, монет 1726 года — на три с половиной, 1727 — на пять рублей, а монет самого последнего года — 1756 — больше чем на восемнадцать рублей,— показал старику Миша.

— А почему он одинокий? — стараясь не дать опомниться, спросил Николай Прокофьич.

Но нас уже не так-то легко было сбить с толку.

— Иначе оставил бы деньги семье или сказал бы, где закопаны, когда уходил на войну,— тут же сказал я.

— А почему он пошел на войну, почему его убили, почему воевал с немцами? — в азарте закричал старик.

— Клады чаще всего закапывают во время нашествия врагов и войн,— спокойно ответил Миша.— До 1756 года, когда был закопан клад, в Подмосковье да и вообще в России была тишина. Ни один вражеский солдат не был в это время в нашей стране. Что же могло заставить человека спрятать в земле все, что он накопил больше чем за двадцать пять лет? В 1756 году Россия вступила в Семилетнюю войну с Пруссией. В тот год в Пруссию были посланы не только гвардейские, но и армейские полки. Солдаты для армии набирались из Московской, Нижегородской, Владимирской и других центральных губерний. По возрасту крестьянин вполне подходил для призыва в армию. Трудно представить себе какую-нибудь другую причину, заставившую его именно в этом году закопать клад. Русские войска разгромили наголову «непобедимую» армию Фридриха Второго, взяли в 1760 году столицу Пруссии Берлин и со славой вернулись домой. А клад — все, что так долго копил крестьянин,— так и остался невыкопанным. Значит, он погиб в бою с немцами — пруссаками, а то бы обязательно выкопал.

— Истинно, истинно так,— тихо сказал старик и почему-то перекрестился.— Господи, помяни душу убиенного от поганых немцев раба твоего, моего односельчанина, вот только имя не ведаю.

— Нет, Николай Прокофьич,— ответил Миша,— наверное, так, но не истинно.

— Да что ты мне городишь! — сердито завопил старик.— Сами же все как есть изъяснили. Так и было, и баста, и молчи!

— Да нет, Николай Прокофьич,— упрямо отозвался Миша.— Так могло быть. Трудно по-другому все объяснить. Так скорее всего и было. Но прямых и полных доказательств у нас нет. Это и называется научная гипотеза.

— Да-а, вот так,— неопределенно протянул старик и сейчас же куда-то ушел.

Его не было так долго, что мы уже решили отправиться домой, оставив записку, как вдруг старик вошел в комнату, таща в руках большой чугунок и пыхтя от натуги. Он поставил чугунок на стол и торжественно сказал:

— Откушайте, гости дорогие, своими руками вырастил и накопал.

Чугунок был полон дымящейся, горячей, свежесваренной картошки.

Пока мы, безмерно удивленные, перемигивались, усаживались за стол, старик откуда-то из-за печки достал мутную бутыль с самогоном и большой кусок сала, с которого он ножом аккуратно счистил верхний серый слой, и нарезал сало маленькими ломтиками. Но мы отказались с ним пить. Николай Прокофьич не настаивал и налил сам себе. Подняв стопку, он торжественно провозгласил:

— За науку эту вашу самую, никак не выговорю, как ее назвать! Учитесь, ребята! Большое дело — ученье!

Через некоторое время Николай Прокофьич изрядно захмелел, и тут его вредная натура снова начала брать свое.

— А вот ты мне скажи,— прищурившись, обратился он к Мише,— а какой в Москве последний извозчик? А?

— Да в Москве вообще нет извозчиков,— с деланным недоумением отозвался Миша,— откуда я могу знать, кто из них был последним?!

— А вот и врешь! — радостно завопил старик.— Ты ученый, а не знаешь, а я не ученый, а знаю. Последний извозчик в Москве на театре стоит, четверкой каменных коней управляет. Я сам видел! Вот как!

Старик пришел в такой восторг, что больше уже ни разу не плакался по поводу своих упущенных возможностей с кладом.

Через несколько дней мы закончили раскопки Деревлевской курганской группы и с облегчением навсегда покинули избу Прокофьича. Вскоре я засел за первый в жизни отчет об итогах раскопок.

А клад? Его судьба началась с одной войны — Семи-

летней, которая была в XVIII веке, а кончилась с другой войной — в XX веке.

Когда началась Великая Отечественная война, клад уже давно был самым тщательным образом описан и хранился на нашей кафедре археологии в университете. Научной ценности сами монеты не представляли, зато они составляли довольно большой вес высокопробного серебра.

По общему решению, клад был сдан в фонд обороны и сослужил свою службу уже в этой войне.



В ЛЕСНОМ СЕЛЕ

Более двадцати пяти лет назад, летом, археологическая экспедиция Академии наук СССР, в состав которой входил и я, тогда еще студент, приступала к раскопкам древнерусского города в лесной полосе Южной России. На месте городища находилось небольшое село. Мы увидели его, выбравшись из нескончаемого, казалось, леса. На высоком холме стояли рубленые избы. Неширо-

кая река плавно огибала подножие холма. Внизу в долине раскинулись поля. Вокруг со всех сторон темнел вековой лиственный лес.

Лошади по крутой разбитой дороге подтащили к околице подводы, скрипящие от тяжести экспедиционного оборудования. Замолкли шутки и болтовня, которые не прекращались до этого все время.

Я заметил, что мой товарищ и однокурсник, молчаливый черноволосый Володя, незаметно озирается. Он оглядывал все вокруг каким-то настороженным и даже чуть угрюмым взглядом. Я догадался, почему он так озирается: я и сам испытывал, вероятно, те же чувства. Неужели здесь, на этом холме, под маленьким неказистым селом находится один из чудных городов, которые на первом месте упоминал древний поэт, воспевая «светло светлую и украсно украшенную землю Русскую»? Где же они, хоть какие-нибудь приметы древнего города?

Прозрачна и чиста огибавшая холм речка. Она совсем мелкая. Как несла она на себе корабли, нагруженные золотыми и серебряными украшениями и драгоценными тканями из причерноморских городов?

Впрочем, река могла обмелеть за тысячу лет. Но как здесь, в этой страшной лесной глуши, мог раскинуться шумный город, столица целого княжества, не раз упоминавшийся в летописи? Славный город, из-за обладания которым так часто ссорились и воевали беспокойные черниговские князья! Неужели он здесь? И неужели мы все-таки отыщем его?

Перед выездом в экспедицию мы еще раз проштудировали все упоминания о нем в летописях. Разведка, направленная сюда начальником экспедиции, обнаружила на холме культурный слой, то есть слой, в котором находятся древние остатки вещественной деятельности человека. И все же сомнения и тревога, даже какая-то щемящая тоска одолевали нас...

С тех пор прошли многие годы. Я работал на десятках различных древних поселений, но каждый раз, когда впервые видел место, где предстояло работать, меня снова и снова охватывали сомнения и тревога, как и тогда, когда неопытным студентом стоял я на вершине холма у околицы лесного села. Теперь я твердо знаю,

что если, принимаясь за раскопки, я когда-нибудь не испытаю этих чувств,— значит, всё, значит, конец мне как археологу. Потому что без тревоги, без надежд нет научного поиска. Не бывает. Ни поиска, ни постижений.

Но тогда мы еще не знали этого, и нас охватила тоска.

С надеждой взглянул я на начальника экспедиции — нашего учителя, того, кто должен был вести нас по следам истории. Сейчас он уже академик, знаменитый ученый, его труды переведены на многие языки. А в то время он был еще молодым, тридцатилетним доцентом. Впрочем, для нас он и тогда служил живым воплощением нашей чудесной науки. Он обладал необыкновенным даром восстанавливать далекое прошлое так, что оно становилось зримым, ощутимым, живым, полным красок, огня, ароматов, звуков, бьющейся плоти. Я хотел, чтобы он ободрил меня. Но он молчал, и я с горечью уловил в его взгляде отражение того же тревожного и щемящего чувства.

У въезда в деревню я посторонился, пропуская встречную телегу, и внезапно замер перед воскресшим видением. На примятом, еще не высохшем сене сидела молодая женщина в старинном русском национальном костюме и, не торопясь, со вкусом ела большое желтоватое яблоко. На ней было льняное белое, вышитое на груди и на рукавах платье-рубаха, шерстяная в клеточку понёва, на голове — красный, расшитый бисером кокошник, до плеч свисали нарядные лалы [1].

Посмотрев на меня, «видение» рассмеялось, приветливо сказало: «Здравствуйте!» — и бросило мне яблоко, которое я самым глупым образом не успел поймать. Видевший эту сцену начальник экспедиции улыбнулся:

— Ну что ж, быть вам нашим интендантом!

Я сердито посмотрел на него.

Экспедиция въехала в село. Все, или почти все, женщины в этом селе носили домотканую русскую одежду, а мужчины одевались в вышитые рубахи-косоворотки. Казалось, мы попали в чудом сохранившийся уголок Древней Руси, к людям, о которых столько читали, вещи

[1] Ла́лы — украшение.

которых так внимательно изучали, а теперь нежданно-негаданно увидели воочию.

Без труда сняли две избы для жилья. Начальник экспедиции послал меня на поиски поварихи. Дело не клеилось. Пора была страдная, все были заняты в поле. Наконец одна старушка, которую все звали Семеновной, посоветовала мне:

— Вон, видишь, миленький, изба? Сходи-ка туда, спроси Стешу Шатрову. Для поля она слабая, всё только в дому хлопочет. А вам много ли надо? Сготовь, подай, убери. Это она сдюжит. Баба совестливая!

Я очень обрадовался, повернулся и пошел к избе, указанной старухой, но она окликнула меня:

— Погоди-ка, миленький!

— Что, бабушка? — нетерпеливо спросил я.

Старуха мялась и ничего не говорила. Я, заподозрив подвох, уже раздраженно сказал:

— Ну что? Или уж говори прямо: больна она? Готовить не умеет?

— Что ты, что ты! — воскликнула старуха.— И готовить мастерица, и вовсе не больная. Так, слабая.— И, помявшись, с огорчением добавила: — А ты-то прыткий какой! Сказать ничего нельзя! Ведь я — жалеючи тебя. Человек, вижу, служивый, работать приехал! Она из себя неладная,— решилась наконец старуха и посмотрела на меня сердито, будто я в чем провинился,— с души воротит... Дурнушка, одним словом.

— И все? — посмеиваясь про себя, перебил я бабку.— А готовит она как?

— Сказано тебе: мастерица! Да ведь я не про то. Беспонятный ты какой! — И мне показалось, что старуха окончательно рассердилась.

Но я не обратил на это внимания.

— А раз хорошо, то и ладно. Что нам до ее внешности — нам с ней детей не крестить.

Через несколько минут я уже входил в избу. Худенькая женщина, стоя ко мне спиной, что-то доставала ухватом из печки. Больше никого в избе не было.

— Здравствуйте! — поздоровался я.— Стеша Шатрова здесь живет?

— Здесь! — тихо ответила женщина, однако не оборачиваясь. Руки ее по-прежнему были заняты.

— А где ж она?

— Я Стеша,— продолжала женщина так же тихо и наконец обернулась.

И я сразу замолк. Передо мной стояла худенькая, стройная женщина лет двадцати с небольшим. Темнорусые волосы, гладко зачесанные назад, были свиты на затылке в большой клубок. На тонком, очень бледном лице чу́дно светились неправдоподобно огромные карие глаза. Она была непередаваемо красива — чистой, гармонической и странной красотой рублевской иконы.

...Видно, уж очень пристально и изумленно смотрел я на женщину. Она смутилась, вспыхнула, отчего стала еще краше, слезы выступили у нее на глазах; она прикрыла лицо рукой.

— Это вы Стеша Шатрова? — озадаченно спросил я наконец.

— Я.

Я не удержался. Не помня себя, подошел к ней и, поцеловав ее в щеку, пробормотал:

— Ну и красавица же вы!

Однако Стеша, закрыв лицо обеими руками, горько заплакала.

— Что с вами? — испугался я.— Не плачьте! Ну что я такого сделал? Да ну, не плачьте,— утешал я ее, уверенный, что она обиделась на меня за поцелуй.— Я просто никогда не видел такой красавицы... Как-то само собой получилось...

Но мои утешения нисколько не подействовали на нее. Наоборот, она еще горше заплакала.

В это время открылась дверь, и в избу вошел молодой, приятный, умный на вид парень, в просоленной по́том белой рубахе. Он кинулся прямо к Стеше, обнял ее и ласково, с беспокойством спросил:

— Стешенька, что с тобой, кто обидел?

Я рассказал все, как было.

— Нехорошо! — ответил мне, помрачнев, парень.— Вы человек образованный, я вижу, ученый, а над женщиной измываетесь. Разве она виновная, что такая уродилась? Да и не одна красота, что на лице. У нее душа такая, что на свете другой не найдешь. Я ее ни на какую раскрасавицу не променяю! Так что вы над жинкой моей не смейтесь, не дело это.

— Черт вас всех возьми! — закричал я.— Вы что, с ума, что ли, все посходили в этом селе?! Да Стеша и есть красавица, из красавиц красавица, неужели ж вы не видите?!

Стешу ее муж утешал с гораздо большим успехом, чем я. Она перестала плакать и глядела на него с благодарностью и даже боязливой радостью. Но мои слова, вернее сказать, вопль моей души испугал или смутил ее.

Она спряталась за мужа, однако я успел уловить мимолетный взгляд ее, и в нем было какое-то новое выражение.

А муж, задумчиво взглянув на меня, вдруг протянул руку лопаточкой и сказал без улыбки.

— Федор Шатров.

Я тоже представился.

Федор жестом пригласил к столу:

— Садись. А ты, Стеша, поднеси-ка нам.

Стеша быстро поставила на стол початую бутылку водки, сметану, огурцы, сало, круглый деревенский хлеб. Мы выпили по стаканчику.

— Откуда приехал? — спросил Федор.

— Из Москвы.

— Работать?

— Работать. Землю копать. Здесь раньше, давно когда-то, город существовал. Будем остатки его искать в земле.

— Да-а,— протянул Федор,— так ты говоришь, красавица?

— Ну конечно! Неужели ты сам-то не видишь?

— Город, значит, искать? Интересно... Ты, я вижу, всерьез. Вот ведь, и хлипкая она, и глаза как тарелки, и лицо вроде извести. А знаешь, бывает, как погляжу на нее, так и глаз не оторву. Душа, думаю, ее глядит. Мне одному видна. Хорошо...

— Послушай, Федя,— горячо ответил я,— это, конечно, замечательно, что у Стеши такая душа. Но разве ты не видишь, какая она красивая?

— Ладно, хватит об этом. Ты, однако, с чем пришел? — дружелюбно и задумчиво спросил Федя.

— В поварихи жену твою нанимать. Готовить нам нужно, для экспедиции.

— Что, Стеша, а? — спросил Федя.— Пожалуй, иди, я все равно теперь и днем и ночью в поле.

— Не знаю, управлюсь ли? — снова зарумянившись, ответила Стеша.

— Да чего там,— принялся я убеждать ее,— у нас все запросто. В месяц будешь получать триста рублей. И питание наше. А дрова наколоть, воды принести — это тебе всегда ребята помогут. Ну как — согласна?

Стеша кивнула головой. Я обрадовался и стал торопить ее, сказал, что срочно нужно принимать хозяйство. На самом деле я просто хотел скорее показать ее товарищам. Кроме того, мне не терпелось, чтобы Стеша увидела, как ребята отнесутся к ней. Они с мужем так заморочили мне голову, что я уже стал чувствовать себя вроде сумасшедшим. Обо всем этом я только думал и, конечно, не сказал вслух. Подбивал я и Федю пойти с нами, но ему было некогда — и так много времени прошло. Федя взял оселок и отправился в поле. Мы же со Стешей пошли в экспедиционную избу.

Нас было восемь студентов-археологов москвичей. Восемь молодых, жизнерадостных, довольно легкомысленных, любящих свое дело, веселых и дружных. Когда я вошел в избу, все уже давно были в сборе и наводили красоту в своих уголках.

Я сказал:

— Вот, братцы, наша новая повариха — Стеша Шатрова! — и вытащил смущенную Стешу на середину избы.

Наконец-то я получил полную компенсацию за вредную старуху и за мое мучение с супругами Шатровыми! Какой поднялся шум! Кто кричал «ура», кто с ходу начал говорить Стеше всякие незамысловатые комплименты. Ее окружили со всех сторон, спрашивали о чем попало, восхищались бурно и открыто. Стеша, конечно, очень смутилась, раскраснелась и чуть было снова не заплакала... Но *ведь не заплакала*, вот что интересно! Я смотрел на эту сцену с чувством гордого удовлетворения, как будто сам породил Стешу и невежественные люди долго не ценили этого шедевра, но наконец прозрели и отдали дань восхищения моему творению. Так Стеша и осталась у нас работать.

Но почему же все-таки старуха Семеновна, Федя,

сама Стеша и, как позже выяснилось, вся деревня считали ее чуть ли не уродом? Эта загадка объяснилась быстро и просто. Большинство девушек и женщин в селе были плотными, румяными, круглолицыми, курносыми, крепкими, с маленькими быстрыми глазами. И кто был плотнее, румянее, круглолицее, у кого глаза были быстрее, та и почиталась красивее всех. Стеша же была совсем другой. Это была какая-то очеловеченная сказка о Гадком Утенке, яркое доказательство относительности в понимании и создании идеала красоты, историзма этого понятия и этого идеала. Впрочем, мы все меньше думали о сказках, о философии и других скучных вещах. Мы гордились и восхищались нашей Стешей, все ухаживали за ней. Самые заядлые лентяи и лежебоки до седьмого пота кололи для кухни дрова и носили воду — еще и ссорились между собой за очередь! На кухне всегда крутилось несколько человек. Мы читали Стеше книги и дарили ей всякую чепуху из наших нехитрых запасов: одеколон, конфеты, книжки, а я, например, исчерпав возможности, преподнес ей даже свой НЗ — кружок твердокопченой московской колбасы. Стеша пробовала отказываться от подарков, но, конечно, ничего у нее не получалось.

Начальник экспедиции и его заместитель — люди серьезные, женатые да к тому же и приехавшие с женами, с завистью смотрели на нас. Начальник экспедиции все же не выдержал и под предлогом сбора этнографических материалов начал непрерывно фотографировать Стешу. После того как количество снимков достигло пятидесяти, жена начальника возмутилась.

А Стеша? Стеша сначала очень смущалась и обижалась. Однако вскоре все изменилось. Она поняла, что никто над ней не смеется, что и правда все ее считают красавицей. Она расцвела. Раньше Стеша была какой-то забитой, ходила все ближе к стенке, в глаза говорящим с ней старалась не смотреть, движения у нее были робкими и угловатыми. Теперь же Стеша разговаривала открыто, весело, даже сама начала шутить, — правда, по старой привычке, смущаясь при этом и краснея. Двигалась легко, плавно. Федя, когда улучал минутку и прибегал к нам с поля, только диву давался. Он, как и раньше, смотрел на нее ласково, но теперь появились

в его простодушном взгляде и новые чувства: гордость, а может быть, и беспокойство. А Стеша ничуть не зазналась. Недаром Федя говорил про ее душу. Она оставалась все той же скромной, тихой, милой Стешей. Мы дурачились, ухаживали за ней, но если всерьез говорить, то относились к ней бережно и просто. А она — единственная женщина в нашей студенческой компании (начальство жило в отдельном доме) — была со всеми приветливой и ровной. Чуть-чуть она выделяла из других меня, вроде как крестного. Но, может быть, мне это только казалось?

Стеша сразу же стала не только поварихой, но и полноправным членом нашей экспедиции. В полдень, принеся нам прямо на место раскопок второй завтрак, она подолгу задерживалась, присматриваясь к новым, каждый раз неожиданным находкам. По вечерам мыла и шифровала фрагменты древней керамики, которые мы находили за день. Зашифровать фрагмент — это значит надписать при помощи условного шифра место находки, год, а также название экспедиции. Она искренне заинтересовалась нашей работой. Мне это было очень дорого и приятно... Ведь археология — наука о человеческом труде, наука, в которой сочетается радость первооткрытия с научным предвидением, точное знание с богатым воображением, мысль, устремленная в прошлое, с живым общением с людьми и с природой.

Закончив шурфовку и съемку разреза и плана холма, мы приступили к разбивке больших стационарных раскопов. Это очень важный и волнующий момент в работе археологов. Ведь раскоп — дверь в незнаемое, в прошлое, которое мы ищем. Надо не ошибиться «дверью». Исследования даже самого небольшого поселения требуют огромного труда, средств, времени. Необходимо найти остатки жилищ, производственных, хозяйственных и оборонительных сооружений. Ошибка в размещении раскопов может свести на нет труд всего коллектива экспедиции. Конечно, места раскопов выбираются не по наитию — сначала проводится большая подготовительная работа.

Нет ни одного настоящего археолога, который при разбивке раскопов не выполнял бы всех положенных правил, и все же это всегда риск — сквозь землю не

видно! А где риск — там и суеверие. Считается, что есть археологи «счастливые» и «несчастливые» и первым всегда везет.

Я думаю, что дело здесь просто в том, что «счастливцы» — это чаще всего те, кто, даже не отдавая себе в этом отчета, умеют полностью взвесить и сопоставить все предварительные данные.

Наш учитель принадлежал к археологам «счастливым», и мы гордились этим безмерно: ведь приятно работать с «везучим» археологом.

Мы и правда были счастливыми. Уже через несколько дней после начала раскопок было сделано очень важное открытие.

В древних летописях история нашего города упоминалась всего на протяжении нескольких десятилетий. Но когда и почему в нем прекратилась жизнь — этого никто не знал. А мы узнали!

Судя по летописным данным, татаро-монгольские полчища, захватившие в тридцатых годах XIII века Русь, по пути из Смоленщины на Киевщину проходили в районе нашего города. Вряд ли, конечно, они миновали при этом столицу княжества. Однако фактов, подтверждающих эту догадку, пока не было. И вот мы обнаруживаем, что верхний горизонт культурного слоя наших раскопов насыщен углем и золой, и в них в изобилии попадаются железные наконечники стрел, железные части арбалетов и другое оружие — остатки пожара и битвы, после которых жизнь на городище не возобновлялась. Находки позволяли четко датировать время бедствия: 1230—1240 годы. Значит, наш город разделил трагическую судьбу сотен других русских городов, жители которых погибли в неравных боях с ордами монголов...

Это ли не открытие? Мы не вылезали из раскопов.

Прежде всего необходимо было определить толщину культурного слоя, его насыщенность и стратиграфию — естественное расположение культурных отложений в почве. Исследование и разборка культурного слоя ведутся двумя способами: пластами и слоями. Первый способ проще, второй интереснее. Пласт — условное понятие, это часть культурного слоя определенной (чаще всего двадцатисантиметровой) толщины.

Прослойка — естественно отложившаяся часть почвы с вещественными остатками деятельности человека, отличающаяся от других частей культурного слоя особым цветом, структурой, специфическими примесями строительных остатков, керамики, вещами.

На нашем городище более или менее ясно выделялась только одна прослойка: с углем, золой и оружием, и время, к которому она относилась, мы определили довольно быстро. Но город был обитаем на протяжении трех столетий — об этом можно было судить, сравнивая самые ранние и самые поздние вещи из найденных при раскопках. Поэтому очень важно и интересно было попробовать расчленить культурный слой городища на естественные прослойки и восстановить таким образом материальные черты различных этапов истории города на протяжении всех этих трех столетий.

Наш руководитель и пошел по этому трудному пути, проявив при исследовании удивительное терпение, остроумие и точность.

Прежде всего мы, по его указанию, расчистили край ровного плато на вершине холма, где находился город. Руководили этой работой Володя и я. Показались три едва заметные прослойки, чуть-чуть отличавшиеся друг от друга по цвету. Однако, как только влажная земля прогрелась под лучами яркого летнего солнца, границы их исчезли. Я растерялся. На тех поселениях, на которых мне приходилось работать раньше, разница в прослойках прослеживалась очень четко или их не было вовсе. Пришлось приостановить работы. Володя, который, как и я, удрученно сидел возле раскопов, внезапно поднялся и куда-то молча двинулся. Вернулся он минут через двадцать с большой лейкой, доверху наполненной водой. Потом взял у рабочего лопату, снова зачистил часть профиля и принялся поливать землю из лейки. Почва впитала в себя влагу, и прослойки проступили вновь. Так был найден выход из, казалось бы, безвыходного положения. Возле каждого рабочего мы поставили человека с лейкой или ведром, часть рабочих выделили на непрерывную подноску воды. Пришлось произвести зачистку снова. Археологи прочерчивали ножами в почве границы прослоек. Но стратиграфический разрез культурного слоя следовало подтвердить

или опровергнуть также другими данными. Для этого вдоль всей зачищенной части и кромки плато были заложены узкие длинные раскопы. Исследование и разборку культурного слоя в них мы вели по уже намеченным прослойкам. Мы изучали самые характерные для каждой прослойки образцы посуды и различных изделий, исходя из предположения, что за три столетия существования города облик керамики и других вещей, естественно, менялся. Это была кропотливая работа, но результаты ее позволили твердо установить стратиграфическое деление культурного слоя.

Прослоек действительно оказалось три. Сопоставив найденные в них вещи и сооружения с летописными упоминаниями о городе, мы определили хронологические периоды, в которые эти прослойки образовались. Первая пришлась на XI и половину XII века — период образования города, сравнительно мирный.

Вторая прослойка относилась к нескольким годам середины XII века. В это время, как свидетельствует летопись, из-за княжеской междоусобицы город подвергался длительной и жестокой осаде. Земля сохранила скелеты убитых людей, лежавших прямо на дворах и улицах, остатки сгоревших домов, железные наконечники стрел.

Особенно значительна была одна находка: железная, покрытая серебром и позолотой «личина» от шлема. Это рельефная железная кованая полумаска с носом и надбровными дугами. Она надевалась на лицо и прикрывала его от ударов меча и стрел.

Третья прослойка свидетельствовала о конце осады и дальнейшей жизни города вплоть до 1238 года, когда полчища татаро-монголов нахлынули на Русь.

Так археологически были прослежены основные этапы истории города и судьбы его обитателей. А исследования открытых жилищ и различных мастерских позволяли еще конкретнее и живее представить себе, как жили здесь люди, что они умели делать...

По мере углубления раскопов увеличивались наши знания истории города, возрастал объем работ, а рабочих рук между тем не хватало. Ревностно выполняя обязанности интенданта, я нанимал рабочих. Охотнее всего помогали экспедиции школьники, но шли к нам

и люди постарше. Особенно выделялся среди них некий Паниковский — тощий, с сильной проседью человек, облаченный в белую рубаху-косоворотку и в поношенные военные брюки. Как страстный почитатель творчества Ильфа и Петрова, я выпросил у начальства Паниковского на мой раскоп, хотя звали его и не так роскошно, как у Ильфа и Петрова — Михаил Самуэлевич, а скромно и даже будднично: Григорий Иванович.



Григорий Иванович показался мне человеком, видавшим виды. В первый же день работы он рассказал мне, как в сентябре 1914 года в Мазурских болотах попал в плен к немцам и был послан батрачить на какого-то мелкого прусского помещика. Однако он вовсе не желал обогащать своим трудом помещика. Вместе с тем ему не улыбалось и другое — подвергнуться репрессии за отказ от работы. Присмотревшись к обстановке, Паниковский увидел, что помещика отличают два основных качества: непомерная глупость и такая же непомерная страсть к тщательности и порядку. Григорий Иванович решил использовать и то и другое. Если помещик приказывал ему разбить грядку на огороде, он



разбивал ее неделю. Он окапывал канавку с такой тщательностью, с какой гранят и шлифуют алмаз. Помещик приходил в дикий восторг, принимая работу, и всем хвастался, какой у него «гроссер рюски майстер». Так Паниковский прожил у него до самой революции. Но, к сожалению, подобная манера работать не покинула его и после революции, когда он уже вернулся на родину. Ничего не скажу: он копал необычайно аккуратно, но с такой иссушающей мозг медлительностью, что я прямо не знал, что предпринять! А постоянно делать замечания человеку, который был старше меня вдвое, мне было неудобно. Да и кроме того, я не раз ловил себя на том что сам с интересом прислушиваюсь к рассказам Паниковского. А еще припоминал я великое монгайтовское движение первой экспедиции и не мог быть слишком строг с Григорием Ивановичем.

Особенно острый характер приняли отношения Паниковского с начальником экспедиции. Бурный темперамент нашего руководителя находился в вопиющем противоречии с ничем не сокрушимым спокойствием Паниковского. Впрочем, как показали дальнейшие события, стиль работы Григория Ивановича Паниковского в конце концов сослужил экспедиции большую службу...

Вскоре работы были полностью развернуты, и археологическое счастье большими шагами бродило по древнему городу, переходя с раскопа на раскоп. Вот на краю обрыва нашли гончарный горн для обжига посуды, а в нем стоящие в два ряда друг над другом совершенно целые горшки с красивым волнистым орнаментом. Какая это редкая удача для археолога: ведь можно полностью изучить всю конструкцию горна, технологию обжига посуды древнерусскими мастерами, форму и качество ее! А способ формовки и обжига посуды — один из важнейших показателей общего уровня развития производства. Например, когда глиняную посуду делали лишь для себя в каждом доме, ее формовали от руки, лепным способом. Такая посуда чаще всего асимметрична, стенки ее разной толщины, поверхность груба. Когда же появились мастера-гончары, они стали изготовлять посуду на гончарном круге. Эта посуда правильной формы, с тонкими стенками.

Если сосуды после формовки обжигались на костре или в печке, то обжиг получался неровным: одни части сосуда были обожжены хорошо, другие перекалены, третьи обожжены только сверху, и в таких сосудах на изломе проступала серая или черная необожженная полоска. Посуда, обожженная в гончарном горне, иная: обжиг в ней равномерный и сквозной. Однако применять гончарный круг и гончарный горн выгодно было только мастеру, работавшему уже не для обеспечения нужд своей семьи, а на заказ, на рынок, иначе незачем было возиться со сложным оборудованием и тратить так много труда. Значит, обнаруженный нами гончарный круг говорил о том, что в городе уже появилось товарное производство керамики, производство на заказ.

Не только каждый народ или племя, но даже отдельные поселения имели некоторые свои, только им присущие особенности в форме посуды, характере ее украшений. Все эти особенности древней утвари помогают определить этническую принадлежность тех, кто жил на поселении, уровень их цивилизации, род занятий.

Керамика рассказывает археологу о многом. Так, например, кочевники делали сосуды с острым дном. Поставленные в дымный костер где-нибудь в бескрайней степи, они хорошо держались среди камней. Сосуды же земледельцев почти всегда с плоским дном — их ставили на плоский под печи в доме.

Но как трудно изучать керамику! Глиняные сосуды обычно находят лишь в виде более или менее крупных обломков. А потом, когда их вымоют, зашифруют и внесут в опись, начинается невероятно кропотливая работа по составлению сосуда. Недостающие части заменяются гипсом, который потом тонируют под общий цвет, и лишь тогда археолог получает ясное представление обо всем сосуде целиком — его форме, размерах, орнаменте, технике замешивания глины, формовке, обжиге.

Большое значение имеет и изучение примесей к гончарной глине, форм и способов нанесения орнамента, особенностей орудий производства. Гончарные круги, например, делались в древности из дерева. Деревян-

ные круги не сохранились. Очень редко попадаются в раскопках и гончарные горны. Поэтому, когда с крайнего раскопа раздался крик: «Горн! Гончарный горн!» — все, кто мог хоть на несколько минут оторваться от работы, побежали на крик.

Володя уже успел расчистить верхнюю часть горна. Расчищал его он сам с помощью маленькой саперной лопатки и кисти. Рабочий, помогавший Володе, только отбрасывал большой лопатой уже просмотренную землю. Отчетливо виднелась верхняя часть купольного свода с большим круглым отверстием. Вернее, это были лишь обломки глиняных стенок рухнувшего свода, и на нескольких из них виднелись геометрически точные дуговые выемки — части круглого отверстия. Вот по положению этих обломков и можно было реконструировать купольный свод с круглым отверстием.

Расчистка горна продолжалась до позднего вечера. Самое главное было не сдвинуть ни на йоту, не потревожить обрушившиеся части свода: нужно было проследить, как именно он разрушился, и, зная это, восстановить его подлинные размеры, форму, конструкцию. И вот наконец горн расчищен. Нижняя часть его уцелела полностью. Горн оказался круглым в плане, двухъярусным, такой конструкции, которая была придумана еще римлянами в первые века нашей эры. Он напоминал собой большой полукруглый колпак, внутри же был разделен толстой горизонтальной стенкой на две части — верхнюю и нижнюю. Нижняя часть служила топочной камерой, мы нашли в ней золу и уголь, в верхней производился обжиг раскаленным воздухом. Для этого в потолке топочной камеры было проделано много круглых сквозных отверстий, или продухов, как их называют современные гончары.

Верхняя камера была полностью загружена совершенно целыми горшками, стоявшими один над другим в два ряда, и это дало нам возможность точно определить производительность горна. Топка была прервана внезапно и не возобновлялась: обжиг горшков был не закончен. Только исключительные обстоятельства могли заставить гончара вот так бросить работу и не вернуться больше к своему горну. Этими обстоятельствами, судя по слою, в котором мы нашли горн, были та-

тарское нашествие и битва. Во время битвы, видимо, погиб и гончар... Вернее, не гончар, а гончары: днища сосудов были клеймены небольшими выпуклыми рельефными изображениями — знаками мастеров, своего рода фабричными клеймами. В нашем горне на днищах сосудов обнаружилось два типа клейма: крест в круге и квадрат в круге. Очевидно, здесь работали два мастера, горн был их общим достоянием...

Нашли мы и жилища мастеров: небольшие квадратные полуземлянки.

Помню, когда первый раз началась расчистка жилища — темного пятна квадратной формы, которое четко выделялось на фоне желтого грунта, я почувствовал какое-то недоверие. Неужели это темное пятно и есть остатки жилища?

Но вот аккуратно снят тонкий темный слой — остатки рухнувшей земляной кровли, и медленно начала показываться из слоя угля, золы, глины нехитрая домашняя утварь: горшки, железные кресала для высекания огня, непонятного назначения крюки, заклепки, пряслица для веретена.

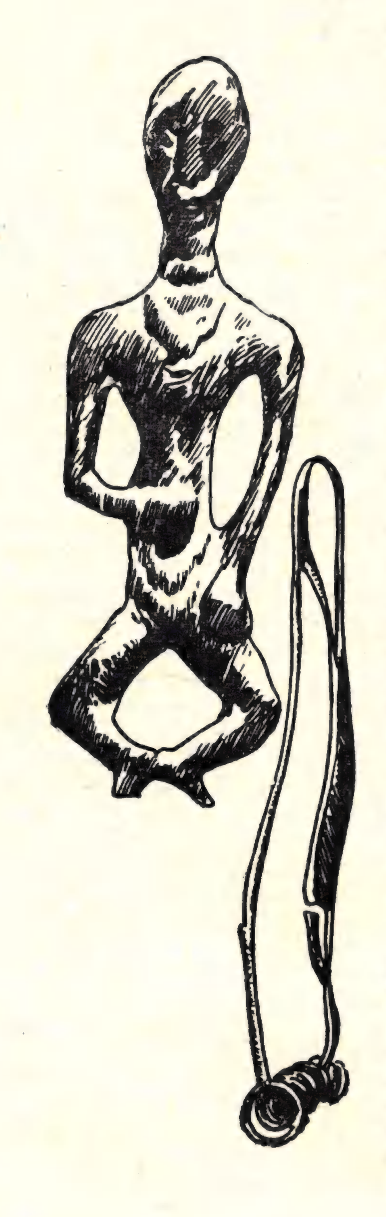
Только тупица, лишенный всякого воображения и смысла, не различил бы в этой утвари остатков внезапно покинутого дома.

Тщательно расчищая пол дома, я испытывал даже какое-то неловкое чувство, словно вошел в чужое жилище без ведома хозяев. В углу мы нашли каменные круглые жернова — мельничный постав, а рядом с ним обломки больших пузатых горшков — корчаг, куда ссыпалась мука.

Впервые были отысканы совершенно целые древнерусские жернова — не потревоженная никем и не разрушенная ручная мельница.

Мы находили не только жилища рядовых обитателей города — ремесленников и земледельцев. В центре укрепленной части городища — в детинце, или кремле, — открылись и остатки огромного, крытого медью дома: княжеского или боярского дворца...

У меня на раскопе все еще не встречалось никаких сооружений, но зато открылись остатки древнего могильника. В те времена умерших уже не сжигали на кострах и в могилы к ним уже не клали вместе с пра-



хом утварь, инструменты, украшения и еду, как во времена язычества. Христианская церковь требовала, чтобы умерших хоронили не сжигая, без всяких вещей. (За одно это, конечно, археологи полны недобрых чувств к христианству! Ведь вещи в могилах, как правило, сохранялись веками, и каким ценным источником знаний для изучения древней материальной культуры служит каждая могила язычника! А христианская церковь лишила науку этого источника.) Но жители нашего города, несмотря на то что Русь уже давно приняла христианство, на наше счастье, продолжали кое в чем придерживаться старых обычаев. Поэтому в могилах иногда попадались горшки, перстни, браслеты, ножи. Попались они в конце концов и мне.

Раскопки древнего могильника — увлекательнейшее дело. Особенно, если это первое раскопанное тобой погребение. Вот все вскрыто. Тщательнейшим образом расчистил я ножами и специальными кистями скелет и вещи, которые находились возле него. Все сфотографировано, нанесено на план, зарисовано. Останки давно ушедшего из жизни человека и вся нехит-

рая утварь, положенная с ним в могилу, не потревожены, ни на сантиметр не сдвинуты с места, лежат так же, как пролежали уже сотни лет. И все это очищено до такой стерильной чистоты, как будто скелет положен на операционный стол.

Впрочем, это и есть операционный стол — операционный стол историка-исследователя. Это неважно, что ты студент. Последние взмахи кистей, последний щелчок затвора фотоаппарата, и все рабочие и твои добровольные помощники отходят в сторону. Остаешься только ты — археолог. Один на один со своей находкой. Это своеобразный поединок мертвого и живого. Вот он лежит перед тобой — скелет давно умершего, безвестного человека. Он нем, нем уже многие сотни лет. Но ты должен заставить его заговорить, рассказать о себе: кто он, когда жил, кем был, сколько ему было лет, когда и отчего умер, мужчина он или женщина, знатный ли боярин, или воин, или простой ремесленник, русский или, может быть, печенег...

Конечно, кое-что ты сможешь уточнить только в Москве, в лаборатории, когда скажут свое слово химики-консерваторы, антропологи, реставраторы. Но главное ты должен сделать сейчас. Ведь от правильности, точности твоего определения во многом зависит направление и успех дальнейших раскопок. Так будь осторожен. Вспомни все, что знаешь, все, что умеешь. Не торопись, будь внимательным к каждой мелочи. Ведь не зря ты потревожил эту древнюю могилу, не зря здесь столько времени, с таким старанием и тщательностью работали твои товарищи.

Поединок начинается. Наклонись над скелетом. Посмотри состояние зубов, степень сращения и обызвествования черепных швов. Так-так. Этому человеку, когда он умер, было лет сорок — сорок пять. Точнее это скажут в Москве специалисты-антропологи, но примерный возраст ясен. А теперь посмотри на форму глазниц, на подбородок, на ширину и линии лба. Это женщина. Что это за маленькое розовато-фиолетовое колесико возле ее правой руки? А, это пряслице-грузик для веретена, который придает веретену устойчивость при вращении. Что же, это только подтверждает, что скелет женский. Ведь пряли испокон веков именно женщины.

Пряслице сделано из розового шифера. Такой шифер в Восточной Европе имеется только в одном месте — возле города Овруча, одного из центров древнерусского государства. Там были знаменитые камнерезные мастерские, изделия которых, в том числе и пряслица, широко распространялись по всей Руси и за ее пределами. Мастерские были разрушены и уничтожены татарами около 1238 года, овручские ремесленники были либо перебиты, либо уведены в плен, и мастерские никогда с тех пор не возобновляли работы. А начали они функционировать примерно в середине XI века. Значит, женщина погребена не раньше середины XI. Это пряслице из ранних: посмотри внимательно, какое оно плоское, какое широкое в нем отверстие. Позднее в Овруче стали делать пряслица другой формы. Значит, погребение было совершено не позже середины XII века.

А вот и небольшой горшочек у ног скелета. Он покрыт узором в виде широкой и плавной многорядной волны, венчик горшочка почти прямой, с четкими гранями, лишь слегка отогнутый наружу. Сам горшок очень простой по форме, напоминает перевернутый усеченный конус, однако сделан на гончарном круге. В глине примесь мелкого песка.

Так. Мы знаем, что подобные горшки изготовляли в X — первой половине XI века, не позже. Знаем это на основании работ наших керамистов, классифицировавших сотни тысяч фрагментов древнерусской керамики.

А теперь сопоставим две вещи: пряслице и горшок. Пряслице датируется серединой XI — первой половиной XII века. Горшок — X — серединой XI века. Получается, что женщина умерла в середине XI века: только в этом случае к ней в могилу могли положить одновременно и такой горшок, и такое пряслице.

Но пойдем дальше. Горшок — с плоским дном; значит, он принадлежал оседлым людям; об этом же говорит и сам могильник, расположенный на долговременном поселении — городище. А по форме, орнаменту, технике выделки и глиняному тесту горшок типично славянский. Так. А теперь посмотрим, пока еще могила освещена солнцем: что это отливает зеленью возле головы женщины? Четыре медных височных кольца, по

два с каждой стороны головы. Кольца литые, грубоватые, с дужкой и семью расходящимися лопастями. Сквозь дужку женщины продевали пряди волос и носили кольца у висков, отчего и происходит их название. У каждого из четырнадцати восточнославянских племен — предков русского, украинского и белорусского народов — были свои, только этому племени присущие формы височных колец. Ученые давно установили, что районы массового распространения височных колец определенного типа точно совпадают с указанием летописца о той территории, которую занимало каждое из племен. Височные кольца с семью лопастями носили славяне из племени вятичей. Они жили, как написано в летописи, по реке Оке и ее притокам. Москва тоже стоит на древней земле вятичей.

Далеко, однако, ушла ты от берегов Оки, землячка, и умерла на чужбине...

Стеша принесла мне ужин прямо на раскоп, но я до него не дотронулся. Может быть, здесь вообще была колония вятичей? Во всех других могилах, где мы нашли височные кольца, они были иной формы, характерной для племени северян. На их земле, судя по сведениям летописи, стоял и наш город...

Вместе с моей землячкой в могилу положили только пряслице, горшок и височные кольца. Небогато. Да пряслице и не положили бы в могилу знатной и богатой женщины: вряд ли ей приходилось сидеть за прялкой. Кроме того, у богатых женщин височные кольца были из серебра, перевитые крученой серебряной проволокой, с узором из напаянных серебряных шариков. А это — простые, грубые, медные литые височные кольца. Женщина, видно, была простая, — наверное, жена ремесленника.

Я принялся подводить некоторые итоги. Итак, в могиле похоронена простая горожанка, лет сорока — сорока пяти, приехавшая сюда откуда-то с побережья Оки. Она жила и умерла в первой половине XI века. Судя по тому, что она продолжала и на территории другого славянского племени носить височные кольца вятичей, она попала сюда уже довольно взрослой. Конечно, это только догадка, но догадка необходимая. Поединок ведь не окончен. После раскопок всего могильника, после ре-

ставрации и детального изучения всех найденных вещей можно будет сказать еще многое. А в мастерской замечательного ученого-антрополога М. М. Герасимова нам сделают пластическую реконструкцию лица этой женщины, и мы увидим ее скульптурный портрет. Разве смогу я забыть его?

Могила за могилой. Изо дня в день вступали мы в эти поединки, пока не раскопали все древнее кладбище.

На моем раскопе начала наконец попадаться плинфа — тонкий и широкий кирпич, излюбленный древними русскими зодчими. Вслед за тем показались остатки стен и фундамента чудесной древнерусской церкви XII века, выстроенной под влиянием византийской архитектуры,— ее хорошо знали русские строители.

Нет, это было совсем не просто — раскапывать остатки церкви, расшифровывать ее конструкцию и форму. Еще очень далеко было то время, когда изображение и реконструкция этой церкви войдут в различные работы по истории русского зодчества. Но мы уже видели ее — маленькую, изящную, с одной полукруглой абсидой и крытой галереей вокруг всего здания.

Раскопки были трудными. В некоторых местах не сохранилось даже остатков фундамента. Проследить толщину и форму фундамента и стен можно было только по едва уловимой разнице в окраске и плотности почвы. В других местах развал стен и остатки сохранившейся кладки так перемешались, что отделить одно от другого было почти невозможно. А сделать это было необходимо, чтобы, выяснив размеры и пропорции здания, восстановить его подлинный облик. Итак, раскопки требовали особой, совершенной ювелирной тщательности.

Тут-то Григорий Иванович Паниковский показал, на что он способен. Ни одна кошка не выслеживала с такой осторожностью мышь, с какой Григорий Иванович отыскивал остатки следов древних стен. Как тут пригодились его медлительность и обстоятельность!

Штыковую лопату Григорий Иванович сменил на целый набор инструментов: на маленькую саперную лопату, кисть, шпатель, скальпель. Наконец-то люди оценили Григория Ивановича, наконец-то воцарился мир между его душой и внешними проявлениями этой души. Григорий Иванович пользовался симпатией всех

сотрудников экспедиции и был счастлив и спокоен. Единственный человек, с легкостью нарушавший безмятежное состояние его духа, была Семеновна. Явившись на раскоп, что она имела обыкновение делать по нескольку раз в день, Семеновна некоторое время наблюдала за Паниковским, а потом, как бы невзначай, цедила:

— Ну как, лежебок? Все змываешься над наукой?

Паниковский мог бы сделать вид, что он не слышит Семеновну или думает, что ее слова относятся не к нему. Зная его невозмутимость, я сначала решил, что он поступит именно так. Но есть исключения из любых правил. К Семеновне даже Паниковский не мог быть равнодушным. Он немедленно отвечал ей (и, право, отвечал то, что она заслуживала), она — ему, и началось... Но верх все же оставался за бабкой. Паниковский в отчаянии кидал шпатель или лопату и требовал моего заступничества. Он ссылался на свои военные заслуги, на контузию... Я с трудом восстанавливал порядок.

Странные отношения сложились у нас с Семеновной. Природный ум, острота и даже ехидство уживались в ней с детским простодушием и неустанным правдоискательством. Я с удовольствием забегал к ней иногда и подолгу беседовал, хотя мы по преимуществу препирались и спорили, о чем бы ни зашла речь. Впрочем, я был допущен Семеновной к величайшему таинству. Сын ее служил во флоте, плавал в заграничных рейсах и дома бывал только раз в несколько лет, а муж давным-давно умер. Семеновна хранила письма сына, перевязанные ленточкой, за иконой. Иногда, по вечерам, она торжественно читала их. Вот в этом-то ритуале я и принимал участие, что являлось знаком величайшего доверия. Этим я, конечно, искренне гордился.

Происходило чтение так: бабка стелила на стол лучшую скатерть, надевала старинную белую рубаху и темную, плотную, расшитую, как ковер, понёву. Затем водружала на нос большие очки в железной оправе и доставала из-за образа письма. Я присаживался рядом, на краешек стула. И хоть очки надевала она, письма читал я: Семеновна была неграмотной.

Потом мы чинно пили молоко и в эти вечера не ругались и не ссорились.

Как-то она сказала мне:

— Ты бы, Егор, на Хитрову гору сходил, к Магериной Параше. Ох, и песни знает, и поет как!.. У тебя в Москве в киятрах так не поют! Только вот...— И старуха замялась.

— Что, Семеновна? — усмехнулся я.— Опять какой-нибудь подвох?

— Да ты слушай, слушай! — серьезно, наставительно продолжала старуха.— Колдунья она. К ней подобру никто и не ходит. А вот привяжется болезнь или хворость, так не хочешь — пойдешь. Она от всех болезней лечит. А заговоры какие знает — страх берет!

Я рассмеялся:

— Прошлый раз ты меня к уроду посылала, а оказалась — красавица. Теперь к колдунье шлешь, а она, наверно, доктор медицинских наук, профессор! Болезни-то она вылечивает?

— Не вылечивала — не ходили бы. Еще как вылечивает.

— Я и говорю — профессор!

— Сам ты прохвессор, и еще хужей! — рассердилась Семеновна.

Я долго умасливал и успокаивал расходившуюся старуху...

Но в один из ближайших дней я все же отправился к «колдунье». Мне было интересно узнать, что лежит в основе оригинальных бабкиных определений.

Пошел я с Володей. Он, кстати, захватил с собой фонограф (магнитофонов тогда еще не было), и мы двинулись на Хитрову гору.

На Хитровой горе — небольшом, но крутом холме — стоял только один дом, рубленный из крепких дубовых бревен. Володя постучал. Никто не ответил. Тогда, приподняв деревянную щеколду, мы открыли дверь сами и через холодные сени вошли в светлую, просторную горницу. У стола сидела миловидная, курносая девушка лет восемнадцати.

— Прасковья Магерина дома? — спросил я.

— Ни. Мама в лес пошла, за травами,— приветливо ответила девушка.

— Мы хотим с твоей мамой поговорить. Мы из экспедиции, копаем здесь, в селе. А тебя как зовут?

— Зиной. А я вас видела. Сидайте, мама скоро придет.

Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась спустя минут десять, не больше, и в горницу вошла женщина лет пятидесяти, высокая, статная. В одной руке она держала несколько пучков разных трав, перевязанных, как редиска, нитками.

Женщина бросила на нас смелый, но в то же время какой-то настороженный взгляд и сказала:

— Здравствуйте, гости дорогие! Чего Москве на Хитровой горе увиделось?

— Здравствуйте,— ответил за нас обоих Володя.— Простите, не знаю, как ваше имя-отчество?

— Прасковьей Антоновной величают,— спокойно, с легкой усмешкой ответила Магерина. Потом налила ковшом воды из бочки в плоскую деревянную бадейку, с удовольствием, как-то особенно вкусно, умыла руки и лицо, вытерлась чистым белым, расшитым по концам петухами рушником и присела на лавку.

— Прасковья Антоновна, говорят, вы знаете много хороших песен,— продолжал Володя.— Мы бы очень хотели послушать, как вы поете.

— Песни-то знаю, как не знать,— все так же с усмешкой ответила Магерина,— да время ли среди бела дня песнями баловаться?

Пока Володя, запинаясь, разъяснил, как важно для науки собирать и изучать народные песни, какое значение имеет фольклор, я разглядывал «колдунью». Высокий лоб, загорелое скуластое лицо выражали ум и волю. Кожа у Прасковьи Антоновны была гладкая, без морщин; седоватые волосы, пышные и слегка вьющиеся, небрежно собраны сзади в большой узел. Резко вырезанные тонкие ноздри, прямой, с легкой горбинкой нос. Брови широкие, слегка приподнятые кверху, к вискам.

Но особенно сильное впечатление произвели на меня ее небольшие, глубоко сидящие серые глаза. Они были очень странной формы: как вытянутые треугольники; яркий блеск их напоминал блеск полированного железного лезвия.

Магерина слушала моего приятеля молча, внимательно, казалось, все с той же легкой затаенной усмешкой.

Когда Володя кончил, сказала задумчиво:

— Так, выходит, не баловство? Что же, можно и спеть.

Потом встала, развернув прямые, широкие плечи, провела ладонью по лицу и словно вдруг помолодела от этого. В глазах ее появилось какое-то напряженное выражение, они остановились. И, глядя поверх наших голов, запела сильным, высоким и звучным голосом на редкость приятного тембра. Она стояла в вольной, свободной позе, но совсем не двигалась: казалось, ни один мускул даже не шевельнется на ее лице; казалось, песня сама поется, а она, зачарованная звуками, лишь прислушивается к ней.

Песня была о старой, как мир, истории: о страданиях человека, насильно разлученного с любимой. Только фоном служили не городские улицы, не хоромы, не поля, а родной для Прасковьи Магериной лес. И от этого вся песня приобретала новый смысл и звучание.

Спокойно, грустно, задумчиво лилось из ее уст:

Унесу скуку в дремучие леса...

И вдруг голос, дрожа, подымался вверх, в нем слышались боль, шелестящий ветер, острое, мятущееся страдание несправедливо обиженной, цельной и сильной натуры:

В лесах нет спокою —
Все листья шумят,
Древа, как нарочно,
Попарно стоят...

Прасковья Антоновна кончила петь и спросила:

— Ну, как вам, люди ученые, наша деревенская песня?

Но она и сама хорошо видела, «как нам».

Пела она в тот день много, не чинясь, и мы сразу же записали несколько песен. Но, когда затем мы прокрутили ей запись и она услыхала свой голос, она очень заволновалась и даже испугалась. И так не вязался испуг с этой сильной и смелой женщиной, что мы даже и не подумали, как раньше хотели, пошутить по этому поводу. Мы стали ее успокаивать. Но успокоилась она только тогда, когда мы, как могли, объяснили ей устройство фонографа и даже разобрали и собрали его.

— Не люблю чертовни всякой непонятной,— как бы извиняясь, сказала Магерина.

Тут я не выдержал и сказал:

— А с чего бы это, Прасковья Антоновна? Ведь вас колдуньей считают?

— Дуры бабы,— с досадой ответила она.— Тебе, человеку ученому, не пристало бы их сплетни повторять. Бабка моя и мать моя от века травами лечат и меня сызмальства научили. А я еще в германскую войну в госпитале работала. Разве ж травы плохие? Они полезные, от них всякая хворь выходит. Только своего не уберегла. Он семь лет воевал. И в окопах насиделся, и в гражданскую в Красной Армии. Как пришел в село, все кашлял, кашлял года два да так и помер. Вот Зинки — и то не дождался. Так и живем мы с нею... А бабы дуры,— сильно и со злостью сказала она.— Ко мне же бегут, Христа ради просят: вылечи — и меня же в колдуньи произвели.

— А заговоры зачем? — спросил Володя.— Вы ведь и их, говорят, применяете?

Прасковья Антоновна посмотрела на него с обычной своей усмешкой и тихо, но с каким-то озорством произнесла:

— Так ведь у меня трубочек, градусников нету, я баба деревенская, а чтоб человек вылечился, ему вера нужна... Вот в супе и мясо, и картошка, и соль есть — что еще надо? А без травки есть не станешь — вкуса нету. Так и вера для леченья. Чтоб было что-то особое!

Мы подружились с Прасковьей Антоновной. Часто бывали у нее, любили смотреть, как неутомимо, легко и красиво работает она и дома, и в огороде, и в поле, слушали ее песни, а особенно любили ходить с ней в лес. Для каждой травинки у нее было свое название; каждую западину, каждое урочище в лесу она знала, как свою избу, знала и любила, хотя в разговоре старалась скрыть эту любовь за обычной усмешкой. А потом неожиданно случилось так, что пришлось и нам узнать ее врачевание.

Село, в котором мы жили, было расположено очень далеко от железных и шоссейных дорог, в глуши, среди непроходимых лесных чащ. Может быть, поэтому тут так причудливо уживалась с колхозным строем, брига-

дами и трудоднями, старина: множество всяких суеверий, вековые традиции и обычаи, домотканая одежда.

С того времени как мы отрыли остатки церкви, часть жителей села, и вовсе не одни только старухи, стали относиться к нам плохо.

Сердилась и Семеновна. Правда, недовольство свое она вымещала только на Паниковском. Придя на раскоп и сдвинув совсем на нос, как забрало, конец своего черного головного платка, она заводила:

— У, анчихрист, разоритель!

Паниковский мгновенно вскипал и сразу переходил в контратаку:

— Уходи, старая! Ты Егора своего ругай!

Но меня бабка в обиду давать не желала. И хоть пронзала меня укоризненным взглядом, Паниковского все-таки отбривала:

— Ты Егора не трогай. Егор — он неверующий. Он как дитё малое — не ведает, что творит, для науки старается!

— Нет, вы поглядите! — совсем срывался на крик возмущенный Паниковский, обращаясь к любопытствующей аудитории.— Егор для науки старается! А я, по-твоему, не для науки?! Да я еще в Германии всё про науки разнюхал!

— «Для науки»! — сардонически отвечала Семеновна.— Фурштюк ты проклятый, немецкая баклажка!

Непонятное слово «фурштюк» приводило Паниковского в такую бешеную ярость, что тут уже и я вынужден был вмешиваться. Бабка, победоносно ухмыляясь, уходила.

Многим деревенским казалось, что, раскапывая церковь, мы оскверняем святыни. Мы разъясняли, что это не так, читали в колхозном клубе нечто вроде популярных докладов по археологии, много беседовали с крестьянами. Но все это помогало слабо. На рабочих, принимавших участие в наших раскопках, смотрели косо, а Паниковского, по пьяному делу, даже побили. Григорий Иванович, ставший настоящим мучеником археологии, перенес побои стоически и остался нам верен.

Даже дружба с Прасковьей Антоновной и частые встречи с ней — и они ставились нам в укор. Но, ко-

нечно, несмотря ни на что, мы не отказывались ни от раскопок, ни от знакомства с Прасковьей Антоновной. Председатель колхоза и председатель сельсовета, а также обе школьные учительницы были, понятно, на нашей стороне. Жадно слушали нас и школьники — мальчики и девочки: они были нашими закадычными друзьями. Но среди простых колхозников нас открыто поддерживали только Федя и Стеша Шатровы. Стеша к этому времени стала настоящим энтузиастом экспедиции. Рано утром она тихонько стучала в окно: пора вставать. Научилась обращаться с рулеткой, уровнем и буссолью. По вечерам она, пристроившись где-нибудь в уголке нашей избы с тазом и щеткой для мытья керамики, слушала увлекательные рассказы нашего начальника. Слушала с необыкновенным вниманием, широко раскрыв глаза, оживленно кивала головой. Выражение ее худенького лица непрерывно менялось. И когда понимала, что можно спрашивать, задавала, краснея, десятки вопросов. Мы никогда не уставали ей отвечать.

Все свободные вечера проводил с нами и Федя.

Однажды, принеся второй завтрак на раскоп, Стеша босой ногой перевернула лежащий в тени плоский кирпич — плинфу. Там оказалась гадюка — она спряталась в холодок — и, потревоженная, немедленно ужалила Стешу.

Я очень испугался, тут же перебинтовал Стеше ногу выше укуса и побежал в конюшню за подводой, чтобы срочно отвезти Стешу в соседнее село — Жуково, где был медпункт. Я сказал заведующему фермой, у которого попросил подводу, что у меня в Жукове дела по экспедиции и что ездового мне не нужно. Сказать, в чем было дело по-настоящему, я не хотел: кое-кто мог бы еще объявить, что все это божья кара за осквернение церкви, и тогда нам, пожалуй, пришлось бы плохо. А передать Стешу с рук на руки Феде я тоже не мог: он находился далеко за рекой, на луговине, звать его было некогда.

Уже через час взмыленная лошадь подвезла нас к медпункту. Всю дорогу Стеша молча держалась руками за края телеги, чтобы не вывалиться, и только смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Трудно мне было выдержать этот взгляд.

Из избы, в которой помещался медпункт, вышла девушка лет семнадцати-восемнадцати, в белом халате.

— Что у вас? — испуганно спросила она.

— Фельдшера! Быстро! Женщину змея укусила! — ответил я.

— Я — фельдшер, — упавшим голосом откликнулась девушка.

— Ну, тогда командуйте, что делать.

Но она растерялась. Только спросила меня:

— Может быть, йодом намажем?

Не помня себя от отчаяния, я чуть не замахнулся на нее кнутом и вскачь погнал лошадь обратно.

Когда мы доехали до магеринской избы, нога у Стеши стала пухнуть и синеть.

К счастью, Прасковья Антоновна была дома.

— Стешу змея укусила! — закричал я.

Прасковья Антоновна молча легко подняла Стешу, внесла в избу, положила на лавку. Пока она своими сильными руками накладывала на Стешину ногу жгут из рушника и туго затягивала его палкой, я сбивчиво рассказал ей, что произошло.

— Сразу бы ко мне вез, милый, — укоризненно произнесла Прасковья Антоновна.

Потом, подержав на огне в печи острый нож, вроде сапожного, сделала довольно большой разрез на месте ранки от укуса.

Стеша дернулась и тоненько вскрикнула. Но Прасковья Антоновна, ласково уговаривая и успокаивая ее, начала накладывать в рану и около разреза какую-то траву.

Может быть, сказались перенесенные волнения, только я не мог вынести этого зрелища и выскочил на улицу.

Наутро опухоль у Стеши спала, и через два дня она совсем поправилась.

Хотя Стеша обещала мне никому обо всей этой истории не рассказывать, но вездесущая Семеновна каким-то образом все же разнюхала, что произошло. И дня через три подозвала меня:

— Ты что же, Егор, носу не кажешь?

— А я как раз думал сегодня к тебе зайти.

Семеновна помолчала, потом ехидно сощурилась:

— Сегодня, значит? Так, так... А что это ты, человек московский, столичный, у колдуньев Стешу лечил?

Хотя я относился к Семеновне совсем иначе, чем Паниковский, но тут и я не выдержал и чуть не раскричался на нее, как он. Целый час препирался с ней. Рассказал и про то, как лечит Прасковья Антоновна, и про то, что такое вообще народная медицина. Сказал, что сообщу о Прасковье Антоновне в область, чтобы ей помогли. Заодно еще и еще раз доказывал Семеновне, почему нет ничего плохого в раскопках церквей,— наоборот, люди о самих себе больше узнают.

Семеновна, однако, не сдавалась. Прерывала меня ехидными замечаниями, а во время горячих моих монологов с сомнением жевала тонкими губами.

И все же разговор этот не прошел даром.

На наших глазах изменилось отношение и к «колдунье», и к раскопкам церкви,— Семеновна была заводилой всяких разговоров на селе. Люди стали ходить к Прасковье Антоновне свободно, не таясь, и не только по какому-нибудь делу, но как и к другим, по-приятельски. Угрюмое молчание, встречающее нас, когда мы заводили с крестьянами разговор о раскопках церкви, теперь сменилось нескрываемым любопытством, нас засыпали вопросами.

Но вот раскопки подошли к концу. «Весомо, грубо, зримо» встал перед нами древний город. Он поднимался во весь рост, расправлял богатырские плечи, стряхивал налипшую веками землю, протягивал нам свои сильные руки — руки кузнеца и гончара, каменщика и ткача, строителя и воина. Мы бродили по его улицам, путая их с улицами современного села, мы назначали свидания то у княжеского дворца, то у колхозного клуба. Мы видели его живую историю, его труд, его радости и горести, и чувство необыкновенного единения с родной землей захватывало нас — чувство гордости за то, что принадлежишь к своему народу, что ты сам часть этого народа и его великой истории. Не успев уехать, мы уже с нетерпением ждали следующего сезона работ.

На прощание Стеша зажарила нам двух гусей. Провожало экспедицию все село. Когда подводы с вещами и экспонатами свернули на лесную дорогу, я обернулся, чтобы последний раз взглянуть на него. На холме вид-

нелись три фигуры: статная, высокая Прасковья Антоновна, стройная небольшая Стеша, а между ними совсем маленькая Семеновна. Мы уезжали, как думалось, ненадолго. В следующем сезоне мы собирались продолжать раскопки. Песни Прасковьи Антоновны были уже переданы в кабинет фольклора Московской консерватории, написали мы о ней и в облздравотдел. Мы многое собирались сделать на следующий год в лесном селе. Но жизнь разбила наши планы: следующим летом началась война...

Прошли долгие годы. Беспокойная профессия археолога вела меня все к новым и новым местам. Но я не забыл наших друзей из далекого лесного села, хотя и не знаю о них сейчас ничего. Только раз еще промелькнуло передо мной лицо Стеши. Это было уже после войны. В областной газете, случайно попавшей мне в руки, я прочел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Степаниды Ивановны Шатровой за героическую борьбу с фашистами в тылу врага, в партизанском отряде. Там же был напечатан ее портрет. С газетного листа смотрели на меня ее неправдоподобно большие, прекрасные глаза, и взгляд их был ясен и прям, как совесть.



ДАНДАНКАН

ПОДЗЕМНЫЙ ДВОРЕЦ?..

Высокий румяный офицер с погонами старшего лейтенанта поставил объемистый чемодан на пол, ладонью вытер пот с лица и козырнул. Потом, оглядев древнюю керамику и украшения, лежавшие на полках застекленных шкафов, которые стояли в помещении

кафедры, он широко улыбнулся и с облегчением сказал:

— Ну, наконец-то попал куда надо!

Мы с профессором с интересом ждали продолжения. Офицер не заставил долго ждать. Еще раз отерев пот, он вдруг смутился и пробормотал:

— Вы извините, товарищи ученые, может, я не ко времени. Только дело срочное.

Потом, обретя форму, офицер четко и коротко доложил:

— Наша воинская часть помогает прокладывать дорогу в юго-восточных Каракумах. В большом бугре, из которого в пустыне брали камень, обнаружен подземный дворец.

Мы с профессором переглянулись. А офицер продолжал:

— Прибыл сюда по командировочному предписанию. А кроме того, командир части приказал найти археологов и им доложить об открытии. А вот это,— тут он снова улыбнулся,— вещественное доказательство.

Офицер не без труда поставил чемодан на стол и вытащил из него кусок каменной колонны, покрытой тончайшей резьбой — стилизованными изображениями растений, звездами и многоугольниками.

Мы усадили офицера и стали его расспрашивать. Но ничего существенного к уже сказанному он не добавил. В огромном песчаном бугре, под слоем песка, камня, кирпича, на глубине двух метров открылись руины большого здания.

Профессор, внимательно рассмотрев кусок колонны, сказал:

— Судя по стилистическим особенностям орнамента, это домонгольское мусульманское средневековье. Очень интересно. Очень!

Юго-восточные Каракумы! Тогда еще совсем не исследованная археологами область. Приобретали мировую известность раскопки древнего Хорезма в Кызылкумах, уже поражали наше воображение обнаруженные археологами дворцовые фрески Пянджикента из Таджикистана, а Каракумы — одна из величайших в мире песчаных пустынь — все еще оставались для археологов неведомой землей! И вдруг такое открытие!

— Приезжайте, товарищи ученые,— сказал старший лейтенант,— командир приказал передать: в чем надо — поможем.— Оставив адрес, старший лейтенант попрощался и ушел.

Совершенно ясно, что экспедицию нужно посылать, и посылать возможно скорее, несмотря на все трудности ее организации в суровое военное время.

Профессор обратился ко мне:

— Поедете? — и тут же добавил: — Нет, нет. Не торопитесь. Ответите завтра. Только учтите — это Каракумы.— Вдруг, неизвестно почему рассердившись, профессор пробурчал: — Вы же сами знаете — на кафедре сейчас нет специалистов по Средней Азии. А археолог — везде археолог,— и, упрямо насупившись, замолчал.

Он все понял, сказал обо всем самом главном. С трудом подавив желание сейчас же ответить, я отправился домой. Тут было о чем подумать. Разве можно пропустить такую необычайную возможность? Что Каракумы — это пустыня, что там будет не совсем как дома или в туристическом походе, об этом я и без профессора догадывался. И он отлично знал, что уж это меня не остановит. Просто так сказал — как начальство, для порядка. Меня смущало совсем другое. Все годы учебы в университете я работал в экспедициях по славянской археологии. Конечно, я прослушал курс по археологии Средней Азии. Но чего стоят эти школярские знания без практической работы в экспедиции? Да, археолог — везде археолог. Можно, конечно, заложить раскопы, вести точное описание процесса работ, фиксацию находок. Ну, а дальше что?

Огромная ответственность ложится на каждого археолога в экспедиции. Чем важнее открытие, тем больше ответственность. Ведь можно прочесть неизвестную еще страницу истории, а можно, не поняв, изорвать, испортить эту страницу так, что ее уже никто не сумеет прочесть. Я не подготовлен к этой экспедиции. Нет у меня для нее нужных знаний. Нет, решительно нельзя ехать.

И все-таки мне мучительно, до какого-то исступления хотелось поехать. И дело тут было не только в удивительно заманчивой тайне, которая ждала разгадки.

...Я был демобилизован из армии с «белым билетом» — снят с воинского учета по болезни. После этого меня зачислили на кафедру археологии университета ассистентом.

Шла война. Опустела кафедра. Погибли многие мои товарищи по студенческим годам, по экспедициям в Новгороде, в лесном селе. Где-то в волнах Черного моря исчез след Ивана Птицына, в первые же дни войны вернувшегося к своей прежней профессии военного моряка. В бою под Можайском был смертельно ранен Гриша Минский. Пропали без вести Эля Таубин, Рувим Розенберг, Костя Забродин, Георгий Бауэр... Никогда не поедут они больше ни в одну из экспедиций, никогда не сделают ни одного открытия. Не осуществится ничего из того, к чему мы вместе готовились все годы учебы в университете, то, чему должна была быть посвящена вся жизнь, которая, как казалось перед войной, только начиналась. Имена их будут со скорбью и благодарностью помнить многие люди. Из разведчиков истории они стали ее частью. Гордая судьба. Но черта подведена. Неужели никогда не осуществятся, пусть даже не ими самими, их мечты, о которых знали только близкие?

Очень трудное это было время для работы ассистентом кафедры археологии. И вдруг, как ослепительная вспышка... Как будто в новом суровом облике, но вернулось прежнее — разумное, прекрасное, сказочное и в то же время до боли знакомое и реальное... Как будто мы снова вместе, снова едем в экспедицию...

Утром, придя на кафедру, я сказал профессору:

— Я все как следует обдумал. Да, вы правы — надеюсь, что хоть в чем-нибудь я смогу принести пользу. Я твердо решил ехать.

Профессор, пробурчав: «Так я и знал», рассказал мне о том, что́ он успел за это время сделать для подготовки экспедиции. В ней примут участие опытный археолог, работающий в Туркменском филиале Академии наук, Николай Иванович Кремнев и известный историк-востоковед Алексей Владимирович Леонов, недавно с блеском защитивший докторскую диссертацию. Еще в университете я слышал красочные лекции Леонова, успел проникнуться к нему почтением. О Кремневе я, правда, ничего до сих пор не слышал,

но самый факт участия в экспедиции специалиста по Средней Азии был очень обнадеживающим. Все недолгое время, оставшееся до выезда, и всю дорогу я читал не без труда добытые книжки: трехтомное издание Академии наук «Туркмения», сборник извлечений из работ средневековых арабских и персидских историков и путешественников, касающихся Туркмении.

Наконец на вокзале небольшого города Байрам-Али нас встретил старый знакомый — старший лейтенант Волков, который привез на кафедру обломок колонны. Тут произошла маленькая заминка. Оказалось, что предназначавшаяся нам машина внезапно вышла из строя, а на обычных машинах по пустыне не проедешь. Приходилось ждать до завтра. Видя наши огорченные лица, старший лейтенант нерешительно сказал:

— Есть тут у нас еще одна машина, приспособленная для песков, так то бензовозка.

— Гм,— с недоумением произнес Леонов.— А разве мы поедем не на верблюдах?

— Да что ты, товарищ профессор,— отозвался Волков,— разве можно? Ведь это и долго и муторно.

Замечу кстати, что, когда недели через две мне поневоле довелось во время охоты на джейранов проделать изрядный путь на верблюде, я, вспоминая, как ездил на верблюде Тартарен, полностью оценил мудрость Волкова.

Конечно, чертовски обидно въезжать в Каракумы на какой-то бензовозке, но ничего не поделаешь. Леонов сел в кабину с шофером, а мы с Кремневым уселись на небольших площадках по обе стороны цистерны с бензином и уцепились за железные поручни.

Быстро промелькнули белые домики, ровные ленты арыков Байрам-Али на фоне руин огромных зданий, и мы въехали в пустыню Каракумы.

Машина шла быстро и ровно. Вокруг, насколько хватал глаз, лежали пески. Темно-желтые песчаные равнины, светло-желтые косые гряды высотой пять-шесть метров, красно-желтые холмы — барханы, поверхность которых, вся в мелких крутых извивах, была похожа на огромную стиральную доску. В резком и сильном солнечном свете, казалось, видна была, как сквозь увеличительное стекло, каждая песчинка. Дул свежий северный

ветер, еще усиленный движением машины. Иногда в песках что-то посверкивало ослепительно, как обломки зеркал. Я невольно подумал: «Почему же Каракумы называются именно Каракумы — черные пески? Или иначе их называют — злые пески? Ведь они совсем не черные и совсем не злые!»

Возле дороги большой грязно-белый лунь, тяжело взмахивая крыльями, поднимался в безоблачное бледно-голубое небо, зажав в когтях черепаху. Поднявшись очень высоко, он выпустил черепаху, которая полетела вниз и тяжело плюхнулась на бархан. Лунь стремительно опустился вслед за черепахой, ухватил ее когтями и снова взмыл кверху. Покружившись, он снова выпустил черепаху. На этот раз она упала на каменный увал. Панцирь раскололся от страшного удара, и лунь, спустившись, стал разрывать клювом обнажившиеся лапы и тело черепахи.

Я все еще смотрел в ту сторону, где скрылись за барханом лунь и черепаха, когда машина развернулась и затормозила. Среди песчаной равнины стояли две большие палатки и несколько железных бочек.

— Вот и штаб! Приехали! — весело сказал шофер.

«Неказисто», — подумал я.

В это время откуда-то из-под земли появились двое солдат. Мы поздоровались. Внимательно присмотревшись, я увидел, что возле палаток находится с десяток вырытых в песке землянок, потолочные накаты которых едва возвышались над поверхностью. Из одной землянки вышел пожилой офицер с погонами капитана. Подойдя к нам, он хрипловатым голосом сказал:

— Добро пожаловать, товарищи археологи! Разрешите представиться — Иван Михайлович, командир части.

Мы поздоровались и пошли вместе с капитаном к его землянке.

У входа в землянку, возле дощатой собачьей конуры, сидел, привязанный на веревке, огромный серый ящер — варан. Варан дремал на солнцепеке. Его приплюснутая голова была сплошь покрыта мелкими щитками брони. Вытянутое тело и длинный хвост с бурыми поперечными полосами украшали круглые и твердые, как медали, чешуйки. Вообще вид у варана был весьма

заслуженный. Совершенно неподвижный, он казался высеченным из серо-желтого камня. Леонов буквально сделал стойку перед вараном и не сводил с него очарованного взгляда.

— Смотрите, смотрите,— обратился к нам Леонов, хотя мы и так не отрывали глаз от варана,— это же химера с собора Парижской богоматери! Это из «Затерянного мира» Конан-Дойля! О, какая необыкновенная изощренность форм, какое чудовищное и изящное создание! — Говоря это, Леонов наклонился и погладил варана возле хвоста.

— Осторожнее! — крикнул Иван Михайлович и пояснил отпрянувшему Леонову: — Хвост — самое сильное оружие варана.

Леонов, на этот раз зайдя варану во фронт, слегка наклонился над ним и зашипел:

— Вот ты какая злобная тварь.

В это время варан, до того казавшийся каменным, неожиданно тоже зашипел и молниеносно вытянул длинный, раздвоенный на конце, как у змеи, язык, щелкнул острыми, коническими, загнутыми назад зубами.

— Васька! На место! — крикнул Иван Михайлович, и варан, как собака, покорно и быстро заковылял в конуру на своих мощных кривых лапах.

— Какая мерзость! — фальцетом проскрипел Леонов.

— Да нет, что вы! — ответил Иван Михайлович.— Варан — скотина полезная: уничтожает змей, мышей. Из кожи его делают прочную и красивую обувь, да и мясо вкусное — хотите, угощу?

Но никто из нас как-то не выразил энтузиазма в ответ на предложение Ивана Михайловича, и мы спустились в командирскую землянку.

Мы уселись на деревянные табуретки возле дощатого стола. Иван Михайлович сел на узкую походную койку под большой картой, сплошь исчерченной разноцветными карандашами. Леонов, по праву взявший на себя представительство, красноречиво говорил о задачах экспедиции, об историческом прошлом этого района Средней Азии. Кремнев молчал, за все время только два раза неопределенно хмыкнул, а я присматривался к Ивану Михайловичу, и, честно говоря, он мне не понра-

вился. Я хорошо помнил боевых командиров. Иван Михайлович ничем на них не походил. В его морщинистом лице, в выцветших бледно-голубых глазах и утином носе было что-то не только мирное, но даже, как мне показалось, бабье, и этому впечатлению не противоречили довольно большие, вислые, с сильной проседью усы. Да и фуражка и китель на нем тоже были какие-то морщинистые и выцветшие.

Когда Леонов кончил, Иван Михайлович тихо сказал:

— Спасибо, товарищи, что приехали, и за рассказ спасибо. Мы понимаем, что там что-то важное, а в чем дело — нам не разобраться. Бугор, где найдена колонна, у местных жителей называется Таш-Рабат — каменное селение, слобода, что ли, если на русский перевести.

— А откуда вы знаете туркменский язык, Иван Михайлович? — перебил я командира.

Иван Михайлович смущенно улыбнулся.

— Да я не так чтобы особенно знаю, но все-таки понимаю. Я ведь родился в Средней Азии. Еще в 1891 году, во время голода, мои родители сюда вместе с другими крестьянами из Тамбовщины переселились. Так и живем здесь. Да... Так вот. Видимо, на месте Таш-Рабата было в древности большое селение. Только не понять — как же в голой пустыне, без воды люди могли жить. Вот в этом вам и надо разобраться. На Таш-Рабате вам приготовлена большая землянка. Продукты и воду будем доставлять. Хотя и не часто. Я запросил командующего о разрешении предоставить вам солдат для раскопок. Да что-то долго нет ответа. Как только будет — дам солдат. А пока что присмотритесь, располагайтесь там. Может быть, я чем-нибудь смогу помочь.

— Иван Михайлович, — снова обратился я к капитану, — а почему Каракумы так называются — «Черные пески»? Они же не черные!

— У местных жителей, — задумчиво ответил Иван Михайлович, — черными называются заросшие пески, пески, покрытые растительностью. А вот почему Каракумы — почти голые пески — именно так называются, я не знаю.

ТАШ-РАБАТ – КАМЕННЫЙ ГОРОД

Оказалось, что ехать в Таш-Рабат мы можем только на знакомой уже бензовозке, так как предназначенная для нас машина все еще не приведена в порядок. Иван Михайлович предложил переждать в штабе самые жаркие дневные часы и выехать в Таш-Рабат под вечер. Мы нехотя согласились.

— Эх,— мечтательно сказал Леонов,— в баньке бы попариться после такой дороги! Да уж теперь надолго придется об этом забыть.

— Да нет, что вы! — отозвался Иван Михайлович.— Можно и в баньке.

Мы с недоумением переглянулись.

— Извольте,— сказал, вставая, Иван Михайлович.

Мы, продолжая с недоверием переглядываться, пошли за ним. Но действительно, в большой землянке находилась баня. В ней была даже парильня с полоком. Вода сама подогревалась солнцем в железных бочках наверху и через шланги шла в баню. Только в парильне раскаливал камни угольный мангал. Это было похоже на чудо: в безводной пустыне Каракумов — баня!

— Да откуда же вы воду берете? — с недоумением спросил Леонов.

— Здесь рядом,— ответил Иван Михайлович,— из верблюжьих колодцев. Пить ее человеку невозможно — такая она соленая, до сорока градусов жесткости,— а мыться можно. Особенно если подмешать к воде золу.

После того как мы с наслаждением помылись, наступило время ехать. Снова сели мы на бензовозку. С нами, на площадке у цистерны, пристроился и Иван Михайлович. Мы тронулись. Но только все изменилось по сравнению с поездкой до штаба. Несмотря на то что солнце стояло уже низко, была нестерпимая жара. Жаром несло не столько от солнца, сколько от песка. Ветер совсем утих. Моя гимнастерка потемнела от пота и тут же высохла и стала противно жесткой. Машина шла медленно, тяжело переваливаясь с холма на холм, буксуя и рыча. Из-за частых и высоких барханов и грядовых песков почти ничего вокруг не было видно. Впрочем, и смотреть-то было не на что. Приходилось изо всех сил цепляться за поручни бензовозки.

— Иван Михайлович! — прокричал я. — Почему так изменился профиль дороги?

— А здесь вообще нет дороги, — ответил Иван Михайлович. — С этой стороны шоссе проведено только до штаба.

Ах, вот оно что! А я и не заметил, что до штаба мы ехали по шоссе.

Вдруг я увидел нечто весьма странное. На крутой бархан резво вкатилось автомобильное колесо и, подпрыгивая, понеслось вниз. Откуда здесь — в девственной и дикой пустыне — колесо? Почему и куда оно катится, недоумевал я. Впрочем, тут же нашелся ответ: машина наша накренилась и, тяжело проскрипев по песку, встала. Шофер молча выскочил и помчался вслед за колесом. Иван Михайлович, соскочив на песок, пробормотал:

— Да. Тут и шпильки, как ножом, срезает.

Пока Иван Михайлович с шофером возились над колесом, а мы им помогали, солнце спустилось еще ниже. После нескольких часов тяжелой езды перед нами внезапно открылась необычайная, невиданная картина. Перед огромным темно-коричневым холмом металось, вспыхивало, сверкало море красного и золотистого пламени. Огненные волны взбирались до середины холма, опадали, растекаясь, широко и плавно уходя вдаль.

— Иван Михайлович, что это? — спросил я, не отрывая взгляда от невиданного зрелища.

— Такыр, а за ним Таш-Рабат, — ответил Иван Михайлович.

Как ни соблазнительно было узнать, что такое «такыр», и посмотреть на него вблизи, мы, несмотря на жару и изрядную встряску, полученную за время путешествия, быстро вскарабкались на вершину холма Таш-Рабат. Пока Леонов и Кремнев, предводительствуемые Иваном Михайловичем, направлялись к большой яме в центре холма, я, по уже сложившейся привычке, обошел плато холма по периметру.

Плато имело приблизительно форму квадрата размером 210 на 216 метров. Значит, общая площадь его более четырех с половиной гектаров. По всем четырем сторонам квадрата то в одном, то в другом месте из-под песчаного слоя виднелись большие скопления гли-

ны, видимо, остатки оплывшего сырцового кирпича или блоков. На плато находилось много засыпанных песком небольших холмиков — вероятно, остатки жилищ или каких-либо других зданий. В разных местах виднелись довольно значительные перекопы — отсюда, видно, издавна брали кирпич. По всему плато встречались полузасыпанные песком крепкие, хорошо обожженные кирпичи, обломки глиняной посуды — светло-желтой и разноцветной, с красочной коричневой, желтой, зеленой, черной и серой поливой. Закончив осмотр, я присоединился к моим товарищам, которые все еще находились у ямы в центре плато, и доложил Кремневу как начальнику экспедиции о результатах осмотра. Выслушав меня, Кремнев сказал:

— А теперь взгляните!

В центре ямы, на глубине двух метров из-под слоя песка и жженого кирпича виднелась часть лежащей на земле колонны, сплошь покрытой резьбой. Глубокие резные изображения розеток, многоугольников, овалов и кружков, вписанных друг в друга, радовали глаз смелой точностью рисунка.

Пока мы рассматривали резьбу, неожиданно стемнело. Мы включили электрические фонарики и спустились в просторную землянку, где уже лежали перенесенные шофером наши вещи.

В землянке стоял стол, несколько табуреток, два высокогорлых глиняных кувшина с мелкопористыми стенками, три поход-



ные кровати, накрытые кошмами, поверх которых лежали кисейные накомарники.

Иван Михайлович положил на стол большую карту, где крестиком был отмечен Таш-Рабат. Я выложил собранные образцы древней посуды.

— Перед нами городище с мощными глинобитными стенами,— сказал Кремнев.— Возможно, город, хотя не всякое укрепленное поселение было городом. В центре — большое здание, видимо, главное здание на поселении. Назначение его пока неясно. Судя по керамике, поселение было обитаемо с девятого века до двенадцатого. Вот здесь поливная керамика трех основных видов. Первая выделывалась в девятом—десятом веках, в эпоху царствования в Иране династии Саманидов. Вторая группа относится к одиннадцатому веку, к эпохе, переходной от династии Саманидов к династии царей Караханидов и ко времени расцвета Хорезмийского государства, находившегося в Кызылкумах, на территории нынешней Кара-Калпакии. И наконец, последняя, третья группа относится к двенадцатому веку — ко времени правления туркменской династии Сельджуков, под власть которых в это время перешла вся Средняя Азия.

— Вам, Георгий Борисович,— обратился ко мне Кремнев,— поручается вести сбор, описание и подсчет керамики. Необходимо выявить все характерные формы, проследить особенности керамики, а также выяснить количественное соотношение между этими тремя основными группами. Мы с Алексеем Владимировичем будем заниматься изучением остатков центрального здания. Помните, товарищи, что нам предстоит впервые изучение средневекового поселения в юго-восточных Каракумах.

Иван Михайлович предложил сделать перерыв и поужинать. У нас с собой была захваченная еще в городе еда, которая послужила дополнением к довольно скудному армейскому пайку.

— Иван Михайлович,— спросил я,— почему кувшины для воды пористые?

— Сквозь поры при сильной жаре выделяется влага, и вода в кувшине остается прохладной,— ответил капитан.

— А зачем накомарные пологи? Разве здесь есть комары?

— Комаров нет, но есть другая нечисть, похуже.

Как раз в это время я увидел на столе маленького, длиной не более сантиметра, паучка. У него было круглое черное бархатистое брюшко, на котором ярко выделялись красные пятнышки, окруженные белой каемкой. Паучок был очень красивый.

— Что это? — спросил я и протянул к паучку руку.

Но Иван Михайлович опередил меня: мягким и точным, каким-то кошачьим движением накрыл паучка коробкой «Казбека» и раздавил. После этого, отерев выступивший на лице пот, он сказал:

— Это каракурт — самое ядовитое насекомое пустыни. Верблюд умирает от укуса каракурта через несколько минут, человек — через несколько часов. Эти мерзкие твари уничтожают даже друг друга. После спаривания самка убивает самца, разрывает его на части и пожирает. Вот от таких и нужны накомарники и кошмы на кровати. Завертывайте полог на ночь, концы засовывайте под кошму.

За столом воцарилось молчание, которое прервал я, неожиданно для самого себя пробормотав запомнившуюся мне бессмысленную фразу о каракуртах из сочинения путешественника XVIII века Самуила Гмелина: «Сия тарантула наипаче муку причиняет верблюдам, ибо когда они летом линяют, то она их любит уязвлять».

— Да, верблюды,— отозвался Иван Михайлович.— Это был самец. Самка в полтора раза больше и в сто шестьдесят раз ядовитее. Только каракурт никогда не нападает первым. Но, если его заденешь, кусает немедленно.

После этого мы с полчаса ползали по всей землянке с фонариками и светцом из снарядной гильзы, но больше каракуртов, к счастью, не обнаружили.

Пожелав нам спокойной ночи, Иван Михайлович вскоре собрался уезжать. Я вышел его проводить. Когда мы взобрались на гребень вала — остатки стен городища, я снова был потрясен такыром, который совершенно изменился. Теперь, ярко освещенный огромной азиатской луной, такыр сверкал и переливался голубо-

ватым и зеленым пламенем, которое то клубилось, то набегало на подножие холма широкими крутыми волнами.

— Что такое такыр, Иван Михайлович? — спросил я.

Мы спустились вниз.

— Никто не знает точно, что такое такыр,— отозвался Иван Михайлович.— В древних долинах, на пониженных участках равнины, образуются ровные глинистые пространства, часто овальной формы. Поверхность их покрыта тонким глинистым осадком.

И вблизи такыр оказался совершенно необычайным. Плотная блестящая поверхность его состояла из небольших, очень четких многоугольных плиток.

Видя мое недоумение, Иван Михайлович пояснил:

— Поверхность такыров почти не пропускает влаги. Весной, во время дождей, такыры превращаются в мелкие мутные озера. Потом вода высыхает и поверхность растрескивается. Трещины заплывают, потом снова образуются. Так и получается знаменитый такырный паркет. Этот такыр красного цвета и довольно сильно засолен. Но бывают и розовые, серые или белые и почти не засоленные. Днем кристаллы соли, вкрапленные в глину, отражают солнце, и тогда кажется, что такыр охвачен красным пламенем, ночью — под светом луны — такыры зеленые и голубые.

Иван Михайлович попрощался и уехал, а я долго смотрел, как прыгал по барханам все более далекий свет фар его бензовозки.

Наверняка Иван Михайлович все правильно объяснил мне о такырах, но только я ничуть не удивился бы, если б на этом безупречно ровном и блестящем паркете под звуки неслышимой музыки заскользили в фантастическом танце невиданные пары.

Потом я еще долгое время простоял на валу Таш-Рабата, и тут-то впервые сказочное очарование пустыни коснулось меня.

Стояла неслыханная, невозможная тишина. Внизу металось голубое беззвучное пламя такыра. Струи холодного ночного воздуха обвевали меня. Низко нависло черное бархатное азиатское небо с огромными, яркими звездами. Некоторые из них, оставляя еле заметный

голубоватый след, срывались с неба и падали вдалеке. Свет всех этих звезд проходил через мое сердце. Я слышал, отчетливо слышал мягкое шуршание вращающегося земного шара, движение планет, я ощущал безмерность пространства и времени, я сам был частью этой безмерности, частью вечности и бесконечности миров... Кто хоть раз был в пустыне один — поймет меня. Добравшись наконец до койки и не забыв подоткнуть полы накомарника, я, по давней привычке спать где угодно и на чем угодно, тут же крепко уснул и проснулся от режущего солнечного луча, проходившего сквозь узенькое оконце, и от скрипучего голоса Кремнева:

— Надо начинать, пока не жарко.

ГДЕ ЖЕ ДУША ШАХА?

Наскоро позавтракав, мы отправились на работу. Кремнев и Леонов — к яме с колонной, я — с рюкзаком собирать керамику. Время от времени я высыпал на пол землянки кучу керамики и снова уходил в обход городища. Каждый такой поход давался труднее, потому что становилось все жарче и жарче.

Сначала я останавливался, смотрел на ящериц-круглоголовок, большеглазых, с мелкими острыми зубами и чешуйчатым туловищем. Если в круглоголовку кинуть камешек, то она топорщится, надувает шею, выворачивает нечто вроде больших красных жабр и впрямь становится довольно страшной. Но этим и исчерпываются все ее возможности защиты. А вообще-то говоря, это безобидное и даже полезное создание, потому что оно во множестве уничтожает вредных насекомых.

К полудню я уже не приставал к круглоголовкам — не до того было. Пот заливал глаза. Жара стояла нестерпимая. Я с ненавистью глядел сквозь темные очки на блеклое, безжалостное, безликое каракумское небо.

Днем по распоряжению Кремнева мы прекратили работу на городище из-за нестерпимой жары и закрылись в землянке. Там мы с Кремневым разбирали керамику по группам, шифровали и подсчитывали ее, а Леонов, возлежа на койке, прочел нам небольшую лекцию.

Он говорил красиво, немного кокетливо, но очень точно, свободно цитируя на память древних авторов.

— Туркмены,— начал Алексей Владимирович,— потомки тюркских кочевников огузов и ассимилированных ими ираноязычных народов. Само название «туркмен» легенда связывает с Александром Македонским — Искандером, или Двурогим, как его называли на Востоке. Впрочем, с именем Александра Македонского связано множество легенд. Рассказывают, что, когда после завоевания Самарканда Александр двинулся к долине реки Чу, он по дороге встретил двух огузов и сказал о них по-персидски: «Турк маненд» («Они похожи на турок»). Так и осталось за потомками этих людей имя туркмен.

— Вы считаете, что именно так и было? — спросил я Леонова.

Алексей Владимирович иронически улыбнулся:

— Я же подчеркнул, что пересказываю легенду. В научной литературе слово «туркмен» впервые употребляется в десятом веке арабским историком Макдиси. Наш достопочтенный Николай Иванович по керамике определил, что поселение Таш-Рабат было обитаемо с девятого по двенадцатый век. В это время на территории Туркмении коренные жители страны — кочевники-огузы, или туркмены, боролись против двух мощных мусульманских государств: Ирана, в котором правили шахи из династии Саманидов, а затем Караханидов, и Арабского халифата, эмиры которого (наместники султана) постепенно захватывали самые лучшие земли Туркмении. Туркмены приняли мусульманство, во многих оазисах выросли города. Жестокие поборы государственных чиновников не раз заставляли туркмен восставать. Около середины одиннадцатого века в результате одного из таких восстаний войска арабского эмира были разгромлены, и власть над Средней Азией перешла к новой, чисто туркменской династии Сельджуков. Придя к власти, Сельджуки быстро забыли, кому они обязаны своим возвышением, стали равнодушными к судьбе своего народа и принялись, как и прежние властители, угнетать кочевников-туркмен. Новое восстание туркмен в начале второй половины двенадцатого века положило конец власти и этой династии. В борь-

бе за обладание Туркменией активное участие принимало и Хорезмийское государство.

Каракумы — величайшая в Советском Союзе пустыня, занимает четыре пятых территории Туркмении. Мы находимся в юго-восточных Каракумах, состоящих из Мервского и Тедженского округов, на территории древней исторической области Хоросан. До всесокрушающего нашествия монголов в Хоросане существовало много городов, в которых расцветала своеобразная культура арабов, персов, собственно туркмен. Высокого уровня достигло в Хоросане развитие художественных ремесел, например, и до сих пор мировую славу имеют хоросанские ковры. Хоросан во всех направлениях пересекали караванные тропы, связывающие между собой различные города — Серахс, Мерв, Теджен и другие. А многие из них сейчас не существуют, и даже место, на котором они стояли, неизвестно. Средневековые арабские и персидские ученые и путешественники не жалеют красок для описания красот Хоросанской области. Так, например, Макдиси, о котором я уже говорил, утверждает, что в Хоросанской области «...больше наук и законоведения, чем в других областях, у проповедников ее удивительная слава, у жителей ее большие богатства. В ней много евреев, мало христиан и есть разные виды магов, но нет больных слоновой болезнью и они ее не знают». Как видите, здесь все перемешано в одну кучу — от медицины до проповедей, но описание восторженное.

Среди городов Хоросана особенно славился город Мерв. Мерв, который долгое время был резиденцией правителей Хоросана, называли душой шаха — Шахиджан. Этот город существует и поныне, мы проезжали его по пути.

— Какой же город? — с недоумением спросил я.

— Мерв — нынешние Мары, — с улыбкой ответил Леонов, и я с разочарованием вспомнил небольшой и неказистый городок, промелькнувший в окне вагона.

— Да нет, Алексей Владимирович, — вдруг вмешался Кремнев, — древний Мерв находился не там, где теперешний Мерв, а на месте города Байрам-Али, там и сейчас видны его развалины. Помните, мы их видели, когда выезжали в штаб.

— Знаю, знаю, милейший Николай Иванович, и такую гипотезу,— ответил Леонов.— Но только это маловероятно. Сама гипотеза — результат ограниченности знаний археологов. Не смогли связать развалины у Байрам-Али с точно известным в древности городом, вот и объявили их древним Мервом. А вам бы следовало провести раскопки на месте настоящего Мерва. Там ведь никто не копал. А я уверен, что там будет найден культурный слой Мерва Шахиджана.

Кремнев промолчал, а Леонов продолжал, все более воодушевляясь:

— Тот же Макдиси писал: «Мерв Шахиджан — старинный город, построил его Искандер. Ибн-Аббас сказал: «Да, город Мерв построил Двурогий... Нет в нем ворот, у которых бы не стоял ангел с обнаженным мечом, защищающий его от зла. Мать городов в Хиджасе — Мекка, а в Хоросане — Мерв. Мерв, известный под именем Мерв Шахиджан,— город процветающий, со здоровым климатом, изящный, блестящий, просторный, малонаселенный, пища в нем вкусная и чистая, жилища красивые и высокие».

Другой восточный автор — Ал-Якуби отзывался о Мерве не менее восторженно, называя его самым известным из городов Хоросана. В Мерве, как он говорил, жили благороднейшие из дехкан Персии, группы арабов из племен азд, темим и других.

Большим, населенным и известным городом называют восточные авторы и Серахс. Приблизительно между Мервом и Серахсом мы сейчас и находимся. К сожалению, из сочинений средневековых восточных авторов мы знаем только факты политической и военной истории, и то далеко не все самые важные. Судьбы городов Хоросана, их архитектуру, уровень культуры и производства мы можем узнать только при помощи раскопок. То, чем мы занимаемся в Таш-Рабате,— первая попытка проникнуть в историю средневековых поселений юго-восточных Каракумов, в историю их населения.

Пока Леонов говорил, мы успели с Кремневым разобрать по группам всю керамику и зашифровать ее.

После обеда нужно было снова отправляться на городище. Когда я натянул на плечи рюкзак и вышел из

землянки, то чуть не задохнулся от зноя и сухого тумана из мельчайших частичек песка и пыли, поднятых ветром. Видно было очень плохо. Песок под ногами и песчинки тумана были раскалены. Леонов и Кремнев казались силуэтами, которые постепенно растаяли в тумане по направлению к центру городища. Когда вечером я дотащился с последней ношей керамики до землянки, у меня болела голова, слезились глаза от песка, что-то саднило в груди. Не поужинав, я разделся и, свалившись на койку, сразу же уснул. Не заметил, но думаю, что и у моих товарищей по экспедиции состояние было не лучше.

Потом в течение нескольких дней мы собирали керамику, расчищали остатки колонны, снимали план поселения, пока среди бела дня опять не поднялся проклятый сильный ветер и сухой туман. Он застал меня довольно далеко от землянки и был каким-то особенно свирепым. Последние три-четыре метра я полз с забитыми песком глазами, все время откашливаясь. Резко похолодало. Когда я находился уже у самой землянки, вдруг раздался сильный взрыв и что-то просвистело у меня над ухом. Разбираться было некогда, да и невозможно. Я влез в землянку, где уже находились Кремнев и Леонов, и плотно закрыл дверь. Мы забрались под одеяла, но все равно мельчайшие частицы песка проникали сквозь закрытую дверь, забирались под одеяло, забивались в легкие.

Первым выбрался из-под одеяла Леонов и, сверкая золотыми зубами, стал рассказывать историю своей первой студенческой любви. Рассказывал он с милым юмором, так непринужденно и элегантно, как будто мы все находились в какой-нибудь уютной московской квартире. Иногда Леонов небрежным щелчком сбивал с рубашки одну из бесчисленных песчинок, как сбивают пушинку, случайно севшую на вечерний черный костюм. Я смотрел на Алексея Владимировича с невольным обожанием.

Наконец туман рассеялся, ветер утих, и мы, не без труда открыв засыпанную песком дверь, вылезли. У дверей землянки лежал разбитый на сотни кусков хум — огромный глиняный кувшинообразный сосуд, высотой более полутора метров. Хумы служили для хранения в



кладовых зерна и различных припасов. Этот хум совершенно целым выкопали позавчера Леонов и Кремнев. Леонов собственноручно с торжеством притащил его к нашей землянке, кряхтя под тяжестью, но не принимая ничьей помощи. Кто же разбил хум? Ведь на много десятков километров вокруг, кроме нас, не было ни души...

Кремнев, почесываясь, нерешительно сказал:

— Хум сильно нагрелся на солнце. А когда из-за налетевшего северного ветра неожиданно похолодало, произошло сильное сжатие глины, вот он и лопнул. Это и был взрыв.

Я не знаю, так ли было на самом деле, но другого объяснения никто из нас не мог придумать.

В этот вечер мы долго вытряхивали песок из постелей и из одежды и почти не работали. Следующее утро было ясным и не жарким. С наслаждением потягиваясь, я вышел из землянки и обрадованно сказал:

— Посмотрите, весь песок, который вчера засыпал вход, очистился.

— Вот именно — очистился,— пробормотал Кремнев.

Я взглянул на его натруженные красные руки, и мне стало невыносимо стыдно. Я всегда в экспедиции старался точно и добросовестно выполнять все, что мне поручали. А оказалось, что этого совершенно недостаточно.

Наконец прибыли солдаты, которых привез Иван Михайлович. Он объявил, что солдат каждый день на восемь часов землекопной работы будет привозить машина, что командование разрешило выделить нам взвод саперов. В центре поселения, вокруг ямы, был заложен большой раскоп площадью более 250 квадратных метров.

Я все еще продолжал собирать, классифицировать и подсчитывать керамику. Тысячи черепков прошли через мои руки. На всю жизнь запомнились мне три группы поливной керамики: поливная саманидская — чашечки и пиалы разных размеров, на белом фоне которых темно-коричневая или черная роспись — художественно исполненные куфические надписи; хорезмийская — многоцветная, с белым, красным, черным и светло-желтым фоном и керамика времен Сельджуков — сосуды со светло-зеленым фоном и резным линейным орнаментом под поливой и черной росписью.

Я был благодарен Кремневу за то, что он поручил мне эту работу. Много лет спустя, работая на средневековых поселениях низовьев Днестра и Дуная в Северном Причерноморье, за тысячи километров от Таш-Рабата, я находил среднеазиатскую керамику и по ней легко устанавливал связи этих поселений со Средней Азией и время существования этих связей.

Подсчеты различных групп поливной керамики из Таш-Рабата дали нам возможность сделать довольно важные выводы. Больше всего оказалось керамики X и XI веков. Видимо, это и был период расцвета жизни города. Меньше всего — керамики XII века. Видимо, это не только последний период обитания поселения, но и время упадка жизни в нем.

Удивительно интересной и разнообразной оказалась и неполивная керамика — от огромных хумов с толстыми стенками, высоким горлом и пояском из ямок по венчику до миниатюрных кувшинчиков. Эти кувшинчи-

ки, у которых стенки были чуть толще бумажного листа, отличались удивительной красотой и изяществом, безупречной формой и качеством выделки. Если щелкнешь по краю такого кувшинчика, то он издает звук, похожий на звон хрустального бокала. На стенках кувшинов были вырезаны вереницы бегущих вислоухих зайчиков, растения, какие-то фантастические головки.

— Алексей Владимирович,— настырно приставал я к Леонову,— ведь поселение мусульманское. А мусульманам, по корану, запрещалось изображать людей и животных. Откуда же на кувшинах зайчики?

Леонов морщился и отвечал:

— Наверное, они были порядочными богохульниками. Будьте снисходительны к человеческим слабостям, мой друг. Зайчики такие миленькие — ну как тут не изобразить. А к тому же, помните, еще Ал-Якуби говорил, что в Мерве жили люди разных народов и племен. Так же могло быть и на Таш-Рабате. При таком смешанном населении законы корана не соблюдались строго.

Я, положим, совершенно не помнил, что именно по этому поводу сказано у Ал-Якуби, но мысль Леонова была очень интересной.

Работы на главном раскопе, «Раскопе колонны», как мы его назвали, развернулись полным ходом. Кроме того, с помощью солдат мы получили возможность разбить еще два небольших раскопа неподалеку от главного. Жизнь на поселении, прекратившаяся восемьсот лет назад, снова закипела.

Впрочем, с солдатами было и немало трудностей. Среди них встречались новобранцы из дальних аулов, которым трудно было объяснить, чем мы занимаемся и для чего все это нужно. Они подозревали, что мы ищем золотые клады, и хотели иметь долю в доходах. Переубедить их было почти невозможно. А потом, когда в двух кувшинчиках с резным орнаментом, которые мы нашли, оказалось несколько золотых сельджукских монет XII века, подозрения этих солдат превратились в твердую уверенность. Они потребовали себе часть монет. Мы объяснили, что все найденное при раскопках — государственная собственность. Но это объяснение их не удовлетворяло. И вот я увидел как-то, что один солдат, спрятавшись за небольшим холмиком, вытащил из-за па-

зухи целый, видимо, только что найденный кувшинчик и разбил его о камень. Я закричал от негодования, солдат убежал за барханы.

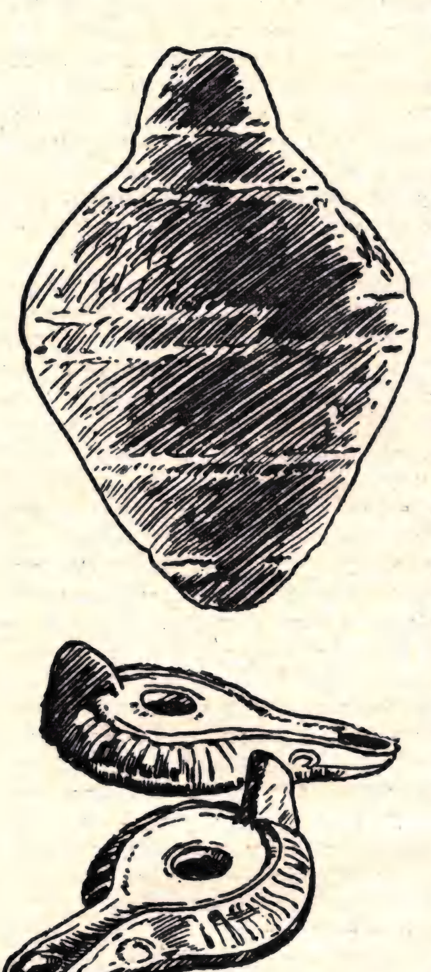
Все это было ужасно. Золотые сельджукские монеты не имеют почти никакой ценности для науки — они хорошо известны, их много в разных музеях. А целые кувшинчики с резным орнаментом — огромная научная и художественная ценность. Как предотвратить их варварское уничтожение? За всеми не уследишь, наказаниями тут не поможешь. Мы еще более усердно стали разъяснять солдатам научное значение раскопок и объявили большую премию за каждый найденный целый кувшинчик. После этого уничтожение кувшинчиков прекратилось, но я еще долго без ненависти не мог смотреть на золотые сельджукские монеты. Впрочем, они, как и медные монеты, которые мы находили, все же сослужили нам хорошую службу.

Самые поздние монеты из найденных в Таш-Рабате были чеканены в 1157 году, если перевести мусульманское летосчисление на наше. Видимо, 1157 год и был последним годом обитания поселения.

Культурный слой поселения, находившийся под грудами песка, имел в толщину от 1,5 до 2,5 метра и был очень сильно насыщен керамикой и различными предметами. Мы находили в небольших раскопах и шурфах интересные вещи, сделанные из железа, бронзы, из кости, из камня и стекла. Особенно удивительными были круглые, с удлиненными носиками светильники из мрамора и стеатита — серого с прожилками камня, с каким-то теплым, живым тоном. Очень интересны были и сфероконусы, которых мы нашли сотни. Это такие толстостенные глиняные сосуды, у которых нижняя часть вытянутая, а верхняя круглая, с очень узким отверстием. Никто толком не знает, что такое сфероконусы. О назначении их есть много гипотез.

Самое правдоподобное, что сфероконусы служили для перевозки и хранения ртути и красок, но есть и предположения, что это были зажигательные снаряды.

Нефть с глубокой древности была известна в Прикаспийском крае, в Иране и вообще в Средней Азии. Ее принимали за особого рода масло и умели перегонять. Эта операция называлась «тактыр». Может быть,



нефть заливали в сфероконусы, поджигали с помощью фитиля; руками или катапультой забрасывали внутрь осаждаемых городов. На каменных плитах мостовой или на плоских крышах домов сфероконус прыгал, разбрасывая горящую нефть.

На одном из сфероконусов была вырезана надпись: «Фатх» — «Победа». Мы не удержались, наполнили один из сфероконусов керосином, подожгли и сбросили на такыр с вала города. Сфероконус прыгал как мяч, исправно разбрасывая керосин.

В раскопках было найдено много разнообразного оружия — больше всего сабель и кинжалов, а также человеческие скелеты, лежавшие в самых неестественных позах. Видимо, последние часы жизни поселения были связаны с жестокой битвой.

В «Раскопе колонны» под двухметровой толщей песка, кирпича, кусков алебастра показались новые колонны, сплошь покрытые худо-

жественной резьбой по алебастру. Это величественное здание, орудия труда различных ремесленников и монеты, найденные при раскопках,— все показывало, что перед нами еще неизвестный город, именно город — центр развития товарного производства и торговли. Мы не знали еще имени этого города, мы только-только заглянули в него и определили, что он возник в IX, может быть, в VIII веке и погиб в результате битвы в XII веке.

Леонов, который впервые работал в археологической экспедиции, шумно восторгался и восхищался при каждой новой находке.

Мне как археологу было лестно такое восхищение, но что-то меня в этих шумных восторгах раздражало. Я долго раздумывал об этом. В конце концов у меня появилась смутная догадка, что Леонов восхищается не только потому, что действительно восхищается, но и потому, что, как историк, он чувствует себя обязанным восхищаться. К сожалению, эта догадка вскоре самым неожиданным образом подтвердилась.

Как-то, когда мы беседовали с Иваном Михайловичем и несколькими солдатами, примчался крайне возбужденный Леонов и принялся кричать, размахивая перед носом Ивана Михайловича обломком белой пиалы:

— Вы посмотрите, какая прелесть. Это я сам только что нашел! Какая белизна! Какая тонкость! Это шедевр саманидской керамики!

Приглядевшись, я выхватил из рук Леонова обломок пиалы и, зажав пальцем красный кружок на донышке, сказал:

— Алексей Владимирович, я должен немедленно зашифровать находку,— и тут же сунул ее в карман.

Леонов с обидой посмотрел на меня и пожал плечами. Я же, отойдя за ближайший холмик, закопал пиалу в песок.

Дело в том, что в красном кружке отчетливо были видны буквы: «Л.Ф.З.» Неплохо. В известной степени «открытие» Леонова даже делает честь ленинградскому фарфоровому заводу имени Ломоносова.

Но, вообще-то говоря, Леонова все, в том числе и солдаты, полюбили. Он отлично знал историю Средней Азии и рассказывал о ней так красочно и увлекательно, что можно было слушать часами.

Мы с Кремневым тоже подружились с нашими рабочими-солдатами. Правда, по моей вине, эта дружба чуть не нарушилась.

Дело в том, что наш армейский паек был довольно скудным. Обнаружив как-то среди барханов несколько черепах, я поймал их, сложил в авоську и, мечтая о черепаховом супе, пошел к землянке. По дороге встретил одного из солдат — Берды, который спросил меня, куда я несу черепах. Я ответил, что хочу их съесть. Берды как-то странно посмотрел на меня и, процедив сквозь зубы: «Глупы шутки», — резко отвернулся. Потом Иван Михайлович объяснил мне, что черепаха у туркмен считается священным животным, и, если они узнают, что я причинил черепахам вред, а тем более питаюсь ими, со мной даже разговаривать не будут. Пришлось ловить черепах тайно, держать их в землянке в яме под фанерой и готовить по вечерам, когда солдаты уезжали. Совсем отказаться от них было невозможно.

В общем-то мы постепенно обживались в Каракумах. Все оставалось на месте: жара, сухие туманы из раскаленной песчаной пыли и всякая мерзость, вроде каракуртов, фаланг и змей. Просто мы научились приспосабливаться. Со всякими ядовитыми насекомыми и гадами мы заключали и свято соблюдали договор о мирном сосуществовании и не трогали друг друга, правда, не забывая на ночь осматривать землянку и укрываться пологами.

К тем коленцам, которые выкидывала сама пустыня, мы тоже кое-как применились.

И вдруг случилось, как мне тогда думалось, непоправимое.

ТОГРУЛ

Время от времени Кремнев посылал меня в город за материалами. Путь был нелегкий. Однажды, во время такой поездки, в ожидании транспорта для отправки в экспедицию, я застрял в городе на целый день.

Получив и упаковав все материалы, я пошел побродить по рынку. Жара была такая, что даже неугомонный базар замер. На блеклом от зноя небе — ни облачка. Раскаленные глыбы плотного, пахучего воздуха непо-

движно нависли над рынком. Спрятаться некуда. Палящие лучи выжгли пот, лицо горит, а рубашка затвердела, как панцирь. Каждая ворсинка на ней окаменела, и от этого все тело покалывает, словно в него воткнули тысячи маленьких булавок. Нет сил двигаться.

За длинными зелеными прилавками дремлют полнотелые туркменские продавщицы в ярких халатах, склонив высокие красные тюрбаны, покрытые медными украшениями, на груды лука, редиски, дынь и другой снеди. У ног их, свернувшись калачиками, застыли оборванные, взлохмаченные юные базарные воришки. Идиллическая картина всеобщего мира перед лицом стихийного бедствия!

Уронив голову на баранку, полулежит на жестком сиденье «виллиса», не то заснув, не то потеряв сознание, какой-то лейтенант. Устав, я присел на камень под навесом у чайханы. Это — единственное место, где была тень и чувствовалось какое-то движение. Из открытой двери чайханы валил пар. Когда он немного рассеивался, видны были десятки сидящих на циновках расплывшихся фигур. В большинстве это были совсем еще молодые ребята, из тех, что ходят в шинелях и мечтают об оружии и конях — сражаться с фашистами и вообще прославиться, как полагается джигиту. Но срок им еще не вышел, и, по местным обычаям, они коротают свободное время в чайхане. Сняв громадные бараньи шапки и оставшись в одних черных тюбетейках, до одури наливаются они крепким зеленым чаем.

Окна чайханы потные, как в бане, а у двери, прислонившись к косяку, стоит громадный швейцар с равнодушным толстым лицом.

Прямо напротив чайханы, слегка облокотившись на прилавок, неподвижно стоит высокий молодой туркмен в малиновом шелковом халате, туго перехваченном в талии тонким ременным пояском.

Под громадной, ослепительно белой папахой, словно выточенное из яшмы, строгое, неподвижное лицо, отделенное от папахи узкой полоской черных, гладких волос. Глаза туркмена закрыты, и только продолговатые веки с длинными, как у женщины, ресницами время от времени вздрагивают. Обманчиво его спокойствие.

Я знаю его. Это Ахмет, племянник нашего Берды и

младший брат чабана Байрама, недавно погибшего на фронте. Вместе с извещением о смерти семья его получила в красной коробочке орден Отечественной войны II степени, которым был награжден Байрам. Ахмет взял орден себе и носит его под халатом, прикрепив прямо к нательной рубахе. Древний закон предков велит мстить за брата, за его кровь. Честолюбие и жажда мести, еще не утоленные, горькое сознание невозможности этой мести наполняют молодого туркмена. Из-за молодости его не берут в армию, и это кажется ему страшной несправедливостью, обидой и позором.

Всеобщее оцепенение.

Но вот из-за полуразрушенной глинобитной ограды показался всадник в белой милицейской форме. Милиционер ехал по-кавалерийски, свечкой вытянувшись в седле и держа слегка на весу подрагивающие локти. Это был постовой с холмов, давнишний тамбовский переселенец Токарев. Ни всадник, ни конь словно не чувствовали жары. Веснушчатое, круглое лицо Токарева, как обычно, расплылось широкой, немного глуповатой улыбкой, а ясные синие глаза смотрели приветливо и с хитрецой. Конь дробно перебирал стройными, тонкими ногами в высоких белых чулочках, косил то в одну, то в другую сторону влажные блестящие агатовые глаза, мощные мышцы его играли под тонкой, лоснящейся кожей.

Это был Тогрул, настоящий ахалтекинский жеребец чистых кровей, каких и в самой Туркмении не так много. Поджарый вороной красавец, с длинной, изящно изогнутой шеей, с дымчатым хвостом и такой же дымчатой неподстриженной гривой. Тогрул родился на госзаводе колченогим. Его выбраковали и должны были уничтожить, но Токарев выпросил жеребенка себе, вынянчил и вылечил на диво, какими-то только одному ему — прирожденному коновалу — известными средствами.

У чайханы Токарев спешился, с хозяйственной заботливостью сорокалетнего холостяка отвел коня под навес в тень, похлопал его по крутой шее и набросил повод на вбитый в стену костыль. Безмятежно сдвинув на бритый, розовый затылок форменную фуражку, он вошел в чайхану.

Приезд его немного развлек меня, но жара снова взяла свое, и я опять было погрузился в дрёму, да вдруг что-то мягко шлепнуло меня по лицу, и я услышал резкий, пронзительный свист.

Я вскочил, и словно видение промелькнуло предо мной: молодой туркмен с развевающимися полами малинового халата, без шапки, валявшейся у моих ног, с пьяными от счастья глазами, верхом на вздыбленном Тогруле.

Конь легко перемахнул через прилавок с заснувшими продавщицами и, широко развевая дымчатый пушистый хвост, понесся по широкой улице прямо в пески Каракумов.

Токарев, словно большой белый шар, выкатился на крыльцо чайханы, сплюнул перед собой, сделал еще шаг вперед и остановился, как будто раздумывая. Через секунду он досадливо махнул рукой, пробормотал какое-то ругательство и с неожиданной быстротой, вперевалку побежал к «виллису», хлопнул по плечу недоуменно озирающегося, неочухавшегося еще лейтенанта и что-то тихо сказал ему. Лейтенант кивнул головой и нажал стартер. Токарев махнул мне рукой и закричал:

— А ну, помогай!

Я побежал и едва успел перевалиться через борт рванувшейся вперед машины. Сзади, вслед нам послышались чьи-то насмешливые и злобные крики, но оглядываться было некогда. «Виллис», набирая скорость и подпрыгивая на взбугренной жарой дороге, вылетел в песчаный океан Каракумов.

На спекшемся солончаковом, твердом покрове песка ясно отпечатывались следы копыт. Лейтенант дал полный газ, и машина, вздрогнув и заревев, рванулась вперед. Горячий воздух бил в лицо, машину бросало из стороны в сторону, а мы только старались удержаться, хватаясь за жесткие, раскаленные борта.

Вдруг Токарев тонким голосом закричал:

— Вот он!

Далеко впереди на ровном, ослепительно желтом песчаном поле четко выделялся всадник. Вскоре уже хорошо стал виден длинный круп, вспыхивающие на солнце подковы и малиновый халат всадника, припавшего к шее коня.

— Стреляй! — хрипло закричал лейтенант, дрожа от возбуждения.— Стреляй, черт тебя побери!

Милиционер только досадливо махнул головой, не отвечая, и, приподнявшись с сиденья, не отрываясь, смотрел за всадником.

Вдруг частые, сильные удары забили в ветровое стекло, и я увидел быстро приближающуюся к нам вихревую черную стену, которая закрыла полнеба.

— Афганец! — испуганно воскликнул лейтенант и пригнулся к рулю.

А Токарев, вытянувшись во весь рост и размахивая руками, не своим голосом завопил:

— Заворачивай, заворачивай! Клади коня! — Но, сбитый порывом ветра, тяжело упал на дно машины и закашлялся, выплевывая комки крупного, похрустывающего песка.

Ураган из Афганистана, подняв тучи раскаленного песка и пыли, бушевал вовсю по туркменской равнине. Дикий вой раздавался вокруг, видимость уменьшалась с каждой секундой, черная стена закрывшего солнце песка падала на нас. Побледневший лейтенант круто развернул машину назад, но песок и ветер били ее по бортам, мотор дрожал и потрескивал, колеса буксовали, и мы еле двигались.

— Не успеем, дурак! — закричал Токарев.— Давай за бархан!

Лейтенант поднял на него красные, забитые песком, невидящие глаза. Токарев перегнулся через сиденье, схватился за баранку и повернул вбок за громадный, ребристый бархан. Там ветер был тише. Мы вылезли из «виллиса», повернули машину и на корточках забрались под нее. Больше часа бушевал афганец. Он дико завывал и обрушивал на машину груды песка. Потом вдруг сразу все стихло. Неожиданно стало очень холодно. Отплевываясь и протирая глаза, мы откопались, вылезли, с трудом снова повернули машину.

Вокруг, как и час назад, был полный покой. На небе ни облачка, в воздухе ни песчинки. Только на горизонте громадное красное полушарие заходящего солнца. В его огненных лучах четко выделялись два стройных силуэта: коня и стоящего рядом человека.

Мы подъехали, вылезли из машины и молча подо-

шли к ним. Ахмет стоял неподвижно, опустив голову, с безжизненно висящими вдоль тела руками, и пристально смотрел прямо перед собой на окровавленный закатом песок.

Конь, не отрывая ног от земли, весь дрожал мелкой, прерывистой дрожью. В глубине обеих глазниц его, начисто вылизанных ураганом, запеклась черная, перемешанная с песком кровь. Глаза вытекли. Тогрул ослеп навсегда.

Токарев подошел к коню, который, почуяв хозяина, потянулся к нему мордой и заржал. Токарев, кривясь, дрожащими толстыми пальцами достал из кобуры наган. Он вложил его в ухо коню и быстро нажал курок. Глухой звук выстрела... Тогрул повалился на песок, повел тонкими ногами в нарядных белых чулочках и замер.

Токарев подошел к туркмену, положил ему руку на плечо и сказал тихо — не то брезгливо, не то с жалостью:

— Эх ты, басмач! Загубил коня!

Ахмет поднял на него потухшие грифельные глаза и вдруг, рванув отворот шелкового халата, длинными пальцами обеих рук вцепился самому себе в горло.

Мы посадили его в машину и поехали в город.

ПИОНЕРЫ ПУСТЫНИ

Не помню, как я вернулся в экспедицию. Наверное, мне было очень плохо последующие два дня, потому что я не выходил из землянки и пил гораздо больше воды, чем полагается пить в Каракумах. Когда я все же вышел, то не мог без ненависти смотреть на звериный лик пустыни, которая как раз в это утро притворялась спокойной, ясной, нежаркой.

— Вы, Георгий Борисович, вот что...— сказал мне Кремнев.— Тут у нас пару дней Иван Михайлович побудет, так вы с ним походи́те по пустыне вокруг городища.

— Как это — походить по пустыне? — спросил я.— Зачем?

— А вот так и походите,— не допускающим возражений тоном сказал Кремнев.— Посмотрите — может, вокруг что-нибудь найдется: сооружения или еще что-нибудь.

— Хорошо,— ответил я, с трудом сдерживая закипавшую злость и желание поспорить.

Мы с Иваном Михайловичем пересекли такыр и вышли наверх из такырной котловины. Наискосок стояла высокая, метров в восемь, барханная цепь. Это барханы слились друг с другом. За первой цепью — вторая, за ней — третья и четвертая. Цепи были длинные, концов не видно. Между цепями узкие котловины. Иван Михайлович обратил мое внимание на то, что склоны цепей неравномерны. Наветренный склон пологий, подветренный — крутой. По пологому склону песчинки, гонимые ветром, вкатываются на острый гребень и падают вниз по крутому подветренному склону. В результате барханная цепь движется. За год она дважды меняет направление — в зависимости от ветра. Летом, когда дуют северный и северо-западный ветры, цепь перекатывается на юг или юго-восток; зимой, когда преобладает юго-восточный ветер,— на север и северо-запад. Медленно наступает цепь. За год она проходит в одном направлении не более двадцати метров. Но зато движение это неотвратимо. Все, что попадает под наступающие барханы, через два-три дня оказывается закопанным многометровой толщей песка.

Я слушал безучастно, стоя на гребне наступающей барханной цепи и глядя, как коварные струйки песка плавно стекают вниз по крутому склону. Но постепенно во мне закипало возмущение.

— Проклятая, жадная, мертвая пустыня. Здесь все мертво. Все здесь обречено на смерть,— пробормотал я.

Иван Михайлович внимательно посмотрел на меня, потянул своим утиным носом и сказал:

— Нет, не все. Здесь идет борьба жизни и смерти.

— Ну да, какая же борьба? — с горькой иронией ответил я.— Это наши потуги, что ли? Так это все пустое. Может быть, когда техника невероятно разовьется, удастся и тут что-нибудь сделать. А пока что — ерунда.

— Я не о том,— задумчиво ответил Иван Михайлович.— Сама природа борется. Разве вы не видели в межбарханных котловинах и на нижней части склонов барханных цепей растения?

— Видел,— ответил я.— Это какие-то еле заметные под песком жесткие щетки да кривые безлистные кустики.

Иван Михайлович помрачнел. Мы двинулись дальше. Очевидно, сделав над собой усилие, Иван Михайлович снова стал рассказывать:

— Подпрыгивает, катится по Каракумам гонимый ветром легкий, упругий, щетинистый шарик. Как ни быстро двигается под ветром песок, шарик все время обгоняет его. Но вот стих ветер. Шарик лег на песок, и тут же заключенные в нем семена выпустили корни. Те, которые попали на гребень барханной цепи, сразу же погибают. Но те, которые оказались внизу на склонах или в межбарханной котловине, начинают расти. Они выпускают длинные, горизонтально растущие корни. Эти корни попадают в подповерхностный слой влажности, имеющийся в барханах. Отсюда растения черпают жизнь. На корнях маленькие волоски, которые связывают песчинки. А потом этот песок цементируется в чехлы, одевающие корни. Песок засыпает растение, но из почек в пазухах листьев вырастают новые корни с острыми концами. Они пробивают слой песка и, дойдя до поверхности, дают новый пучок листьев и наземные стебли. Ветер выдувает песок из-под корней, но растение ложится кроной на песок, задерживает песчинки и, когда наберется их много, пускает в эту кучку новые корни. Цементные чехольчики защищают обнаженные корни от полного высыхания, пока новые корни не окрепнут. А новые корни разрастаются и разрастаются, песок между ними цементируется, бархан возле растения покрывается твердой коркой. Эта корка и длинные горизонтальные корни задерживают движение песка. И вот уже фронт наступающей барханной цепи прорван. Вперед уходит только та ее часть, где нет растений. Авангард борцов против барханных степей — селин — принадлежит к гордому племени растений-пионеров. Но живет селин недолго. Сцементированный им поверхностный слой песка задерживает вла-

гу, она уже не достигает корней, и селин вымирает. На смену ему появляется кандым — кустарник до двух метров высотой с ветвистой кроной и тонкими безлистными веточками. Вот он,— сказал Иван Михайлович и наклонился над темно-зеленой щеткой, которая едва возвышалась над песком.— Он не может так хорошо закрепляться в движущихся песках, как селин, но зато он больше и растет тем быстрее, чем быстрее его засыпает песок. Кандым всегда хотя бы немного обгоняет песок. Куст растет в песке во все стороны. Его корни, достигающие в длину до тридцати метров, пронизывают барханную цепь во всех направлениях.

И вот целые отрезки цепи остановлены и превращены в неподвижные бугры. Но, как и в истории с селином, уплотнение почвы в буграх нарушает, задерживает приток воздуха и влаги, необходимых кандыму, и он тоже умирает. Опадающие веточки кандыма обогащают верхние слои песка, превращая его уже в почву — мелкозем. Тогда вступают в строй осока и трава — иляк. Они еще больше увеличивают содержание мелкозема, делают почву еще богаче. Но в конце концов и они обречены на гибель, их листья испаряют больше влаги, чем накопляется в почве от атмосферных осадков, и постепенно иляк с осокой тоже вымирают. Тогда на их месте появляются высокие кустарники — чогон, борджок, а затем и песчаный саксаул — деревцо высотой до четырех-пяти метров. Своими мощными корнями он пронизывает бугор уже не только вширь, но и вглубь. Его опадающие ветви еще больше обогащают почву, она становится плотной, засоленной и сцементированной. И тогда песчаный саксаул, нуждающийся в рыхлой структуре, вымирает, уступая место солончаковому саксаулу, которому не страшна плотная и засоленная почва.

Пока Иван Михайлович говорил, мы добрались до бугристой равнины, сплошь покрытой зарослями невысоких кудрявых деревьев. Я подошел к ним и с удивлением увидел, что стволы и ветки деревьев покрыты узорчатым солевым инеем, а в некоторых местах даже плотной коркой соли. Между деревцами росла трава, в которой с необыкновенной быстротой бегали какие-то маленькие серо-желтые птички.

— Да,— ответил на мой вопросительный взгляд Иван Михайлович.— Это и есть заросли солончакового саксаула — леса пустыни. Отличные пастбища для скота и топливо. Так побеждается пустыня. Конечно, бывают не только победы. Посмотрите внимательно на барханные цепи. Во многих местах вы найдете засохшие пеньки — останки погибших в бою с песками первых пионеров. А иногда и человек, варварски вырубая все заросли саксаула, открывает путь врагу — движущимся пескам. Но борьба идет, идет по всей пустыне и не прекращается ни на минуту,— закончил Иван Михайлович и закурил, медленно пропуская дым сквозь свои длинные усы.

— Иван Михайлович,— спросил я,— а что, в сущности, делает здесь в Каракумах ваш батальон? Я понимаю, что есть военная тайна. Может, хоть что-нибудь вы можете мне рассказать? Вы извините, я долго удерживался, не спрашивал, а теперь уж очень узнать захотелось.

— Да нет, какая же это тайна? — ответил Иван Михайлович.— Строим дороги для опорных баз, поисковых и строительных организаций, которые будут здесь прокладывать трассы будущих каналов и шоссе. Не век быть войне.

— Ну и тяжелая же работа! — глупо сказал я.

— Да, не легкая,— отозвался Иван Михайлович.— И сама по себе не слишком рациональная. Засыпает наши дороги песок, разрушает ветер и солнце. Тут бы надо строить шоссе да и каналы проводить на железобетонных эстакадах. Конечно, это дело дорогое и трудоемкое, но окупится. Тогда все, что идет сейчас во вред дорогам, будет идти им на пользу. А может быть, от наших дорог через десять — пятнадцать лет ничего и не останется.

— Тогда зачем же их строить?

— А видите ли,— сказал тихо Иван Михайлович и пристально взглянул на меня своими выцветшими голубыми глазами,— чтобы эстакадные шоссе и каналы соорудить, нужны сначала наши дороги — без них не построишь. Так-то вот.

Ночью я впервые за время пребывания в Таш-Рабате долго не мог уснуть, и утром, когда мы с Иваном Михайловичем снова спустились с холма, я спросил его:

— Это верно, что такыры часто располагаются в древних долинах?

Иван Михайлович подтвердил.

— Вчера вы мне сказали, что барханные цепи имеют всегда совершенно определенное направление. Но тогда и межбарханные котловины должны иметь такое же направление. Ведь так?

— Да, конечно,— ответил Иван Михайлович.

— А посмотрите, котловина или балка, которая проходит мимо Таш-Рабата, не совпадает по направлению с барханными цепями и их котловинами.

Мы снова поднялись на холм. Отсюда, с высоты, была видна то появляющаяся, то исчезающая балка, проходившая мимо городища.

— Да,— сказал он,— направление другое. А вы заметили, что вдоль этой балки попадаются древние, окатанные песком, иногда покрытые черным блестящим налетом кости. Это кости верблюдов, лошадей, ослов, иногда человеческие.

— Я заметил, как что-то сверкало вдоль дороги, еще когда мы в первый раз в штаб ехали, но не придал этому значения,— ответил я.

Мы дождались машины и поехали вдоль балки. Хотя дно ее было очень твердым и ветер выдувал из него песок, местами балка совершенно исчезала, но потом неизменно появлялась снова. Мы проследили ее почти до самого Серахса. К сожалению, в другую сторону балка оказалась почти совсем уничтоженной и засыпанной. Но сомнений быть не могло. Эту балку глубиной до двух-трех метров создали не песок и ветер, а животные и люди. Тысячи верблюдов на протяжении сотен лет утоптали этот песок, сцементировали поверхность.

— Это древняя караванная дорога,— сказал я.

— Да, это древняя караванная дорога. Теперь мы узнаем настоящее имя Таш-Рабата,— отозвался Иван Михайлович.

— Мы всё узнаем — имя, отчество, фамилию и все такое.

— У города не бывает отчества и фамилии.

— Нет, бывает.

— Может быть, и бывает,— сказал Иван Михайлович, едва приметно пожав плечами,— вам виднее.

Таш-Рабат лежал на древней караванной дороге, которая вела в одном направлении на Серахс, а в другом... Ну, это еще предстояло выяснить. Мы снова и снова проверяли балку, всё новые факты подтверждали нашу догадку. По пути, возле городища, к северу и востоку от него наша экспедиция открыла несколько небольших древних холмов, которые, как показали исследования Кремнева, были остатками небольших поселений — видимо, ремесленного посада, так как там мы обнаружили печи для обжига кирпича. Это открытие послужило еще одним веским доказательством того, что Таш-Рабат — остатки древнего города.

У подножия холма было раскопано несколько очень странных сооружений. Цилиндрические ямы, выложенные кирпичом. Их форма и положение, казалось, не оставляли сомнения в том, что это колодцы. Однако содержимое этих ям, заполнение, как говорят археологи, противоречило такому определению. Ямы доверху были забиты человеческими скелетами. В чем дело? В колодцах еще никто никогда не хоронил. Да и какой смысл отравлять в безводной пустыне воду, бросая туда трупы? Мы долго строили по этому поводу различные предположения, но так ни до чего и не додумались. Однако позже и эта загадка объяснилась...

Как-то, возвращаясь с Иваном Михайловичем из очередной разведки, я заметил человеческий череп, торчавший на кусте саксаула. Череп был, видимо, очень древним, потому что кость оказалась сильно окатанной и покрытой черным блестящим налетом.

— Какое варварство! — зло сказал я.— Пусть этот никому не известный человек давно умер. Но зачем же так глупо надругаться над его останками, да еще и саксаул портить?

— Вы все торопитесь с выводами, все поверху судите,— сказал Иван Михайлович, слегка подергивая щекой, что служило у него признаком недовольства или

расстройства.— Череп очень хорошо окатан и блестит как зеркало. Человеческий череп — самый круглый из черепов и равномерно отражает свет. Одетый на куст саксаула, он со всех сторон виден издалека. Тот, кто сделал это, заботился о других людях и о нас с вами. Если хочешь добраться до колодца, нужно идти в ту сторону, куда повёрнут глазницами череп.

Я молчал, пристыженный и потрясенный. Везде череп — символ смерти. В безводной пустыне череп — символ жизни, потому что он показывает дорогу к воде...

После новых детальных обследований балки, предпринятых всей экспедицией, в один из вечеров мы собрались в землянке.

— Вне всякого сомнения, Таш-Рабат находится на древней караванной дороге,— сказал Кремнев.— Одним концом эта дорога упиралась в древний город Серахс. А другим?

— Другая вела до древнего Мерва,— твердо сказал Леонов.— Эта караванная дорога была хорошо известна в IX, X, XI и XII веках. Она не раз упоминается арабскими и персидскими учеными и путешественниками. Мы узнаем, без сомнения, узнаем теперь древнее имя Таш-Рабата.

В этот вечер я впервые услышал звонкое, как звук колокольчика на шее ведущего караванную цепь верблюда, слово «Данданкан». Его произнес Кремнев.

Леонов тут же сказал:

— Караванную дорогу между Мервом и Серахсом упоминают Ибн Джафар, Ал-Якуби, Гардизи и другие. Всего, по их подсчетам, на верблюдах шесть дней пути от Серахса до Мерва. От Серахса до замка ан-Наджар три фарсаха, от ан-Наджара до Уштурмагака пять фарсахов, от Уштурмагака до Тильситана шесть фарсахов, от Тильситана до Данданкана шесть фарсахов, от Данданкана до Януджира пять фарсахов, от Януджира до Мерва пять фарсахов. Всего тридцать фарсахов. Старинная восточная мера длины — фарсах примерно равен шести километрам. Расстояние от Данданкана до Серахса двадцать фарсахов, или сто двадцать километров. А какое действительное расстояние от Серахса до Таш-Рабата?

Кремнев быстро подсчитал на карте и сказал:

— Так и есть — сто двадцать один.

— Великолепно! — закричал Леонов.— А теперь подсчитаем. От Данданкана до Мерва десять фарсахов, или шестьдесят километров.

Он кинулся к карте и стал измерять масштабной линейкой расстояние от Таш-Рабата до Мерва.

И вдруг лицо Алексея Владимировича вытянулось:

— Выходит, что от Таш-Рабата до Мерва тридцать три километра по прямой. Расстояния не совпадают.

Припомнив спор Кремнева с Леоновым, я не без ехидства сказал:

— А вы, Алексей Владимирович, подсчитайте расстояние от Байрам-Али до Таш-Рабата!

Леонов подсчитал и сказал с достоинством:

— Расстояние от Байрам-Али до Таш-Рабата шестьдесят пять километров. Это почти точно совпадает с расстоянием от Мерва до Данданкана, указанным древними авторами. Значит, во-первых, Таш-Рабат — это, несомненно, Данданкан, а во-вторых, древний Мерв находился на месте Байрам-Али. Вы оказались правы, Николай Иванович,— закончил Леонов и обменялся с Кремневым рукопожатием.

На следующее утро Леонов уехал в город. Вернувшись, он показал нам сводку всех сведений арабских и персидских историков и путешественников о Данданкане. У всех нас было праздничное настроение, и мы, как поэму, перечитывали эту сводку.

СНОВА ТОГРУЛ

Данданкан — город на пути между Серахсом и Мервом. Впервые он упоминается дважды в середине VIII века в связи с восстанием местных племен против арабских султанов из династии Омейядов.

Омейядский наместник в Хоросане дал страшную клятву об уничтожении восставших, заявив, что если он не подавит восстание, то пусть будут разведены с ним все его жены и освобождены все его рабы.

Однако, несмотря на такую клятву, подавить восстание оказалось делом весьма сложным. Мятежники базировались в Данданкане. Здесь они открыто приняли цве-

та восстания. Сюда, во главе семидесяти гвардейских отрядов — накибов, прибыл глава восстания Абу-Муслим. Если в Данданкане могло разместиться столь солидное войско, значит, уже в середине VIII века Данданкан был значительным городом.

Историк IX века Ал-Якуби говорит о Данданкане и других городах между Серахсом и Мервом, что они расположены в дикой пустыне и в каждом из этих городов имеются укрепления, которые помогают жителям защищаться от нападений кочевников.

Значит, в IX веке вокруг города простиралась такая же дикая пустыня, как и в настоящее время. Положение, видимо, изменилось в X веке.

Историк X века Макдиси писал о самом Мерве и городах, входивших в Мервский округ, в том числе и о Данданкане, как о богатых и цветущих, как и весь Хоросан. Он говорит о том, что в округе Мерва есть семь соборных мечетей: две в самом Мерве и пять в разных городах, из них одна в Данданкане. А соборная мечеть находилась обычно в административных центрах целых районов. Таким центром и был, видимо, в X веке Данданкан.

Султан Махмуд из династии Газневидов (названа так по их столице городу Газне) разрешил туркменам поселиться в Хоросане и отвел им пастбища Данданкана. Туркмены там укрепились и жили до тех пор, пока не были изгнаны войсками Махмуда. Значит, в те времена — в первой половине XI века — вокруг Данданкана находилась не дикая пустыня, а богатые пастбища, которые давали пищу стадам и табунам.

А около середины XI века под стенами Данданкана произошло событие огромной важности, определившее историю всей Средней Азии на целое столетие.

Сын и преемник Махмуда султан Масуд был пьяницей, развратником, бездельником и невероятно жестоким, жадным и коварным человеком.

Он разрешил туркменам поселиться в Хоросане, рассчитывая на то, что они будут ему служить и защищать его от нападений соседей, а заодно поставлять баранье мясо, так как овечьи стада были основным богатством туркмен.

Но однажды Масуд заманил к себе в гости туркмен-

ских вождей и коварно убил их, рассчитывая этим устрашить своих новых вассалов и обеспечить их полную покорность. Однако это произвело обратное действие. Туркмены восстали. Во главе восставших стали сыновья убитых, а также Тогрул, сын Сельджука, и его братья — опытные и смелые военачальники. Восстание туркмен было вызвано не только коварным убийством их вождей, но и чудовищными притеснениями и поборами, которым их подвергали чиновники султана.

Масуд и его приближенные расправлялись с восставшими с неслыханной жестокостью: пленным отрубали руки, а культи их опускали в кипящее сало. Один из приближенных султана — Нуш-тегин, расправляясь с группой туркмен, двести человек убил, головы их приказал надеть на кол, а двадцать четыре пленных отослал султану. Вот как описывает один из чиновников посольского приказа Бейхаки, что произошло потом:

«Султан пил вино, когда пришло это известие. Он приказал выдать халаты и награды вестникам, отправить их обратно, бить в барабаны и трубить в трубы. Во время послеполуденного намаза султан снова пил вино. Он приказал бросить перед своей большой палаткой пленников под ноги слонам».

Тут даже видавший виды придворный дипломат Бейхаки восклицает: «Ужасный день был. Слух об этом достиг и близких и далеких».

Не лучше вел себя и наместник султана в Хоросане — Сури. Придя на поклон к султану, он преподнес своему господину на четыре миллиона диргемов[1] «подарков». Здесь были рабыни, золото в зеленых и красных шелковых кошельках, серебро, ожерелья из драгоценных камней, жемчуг, пятьсот тюков драгоценных ковров, камфара, все ценные вещи, которые собрал Сури у жителей всех городов Хоросана. Причем это была только половина ценностей, награбленных Сури, вторую половину он присвоил себе. Сури грабил и убивал и богатых и бедных и восстановил против себя и султана все городское население Хоросана.

Однако туркмен не так-то просто было запугать. В результате всех изуверских деяний султана пламя восстания только разгорелось.

[1] Диргéм — средневековая восточная монета.

Жители городов тоже обратились за помощью к туркменам, и восстание против эмира перекинулось от кочевников к горожанам, приняло всеобщий характер. Видя, что Хоросан уходит из-под его власти, Масуд, собрав огромное войско, состоявшее из индусов, курдов, арабов, тюрок, двинулся в Хоросан на тысячах лошадей, верблюдов, боевых слонов. Когда Масуд подошел к Серахсу, жители города отказались ему покориться. Тогда, взяв город осадой, Масуд приказал разрушить крепость, жители города были либо истреблены, либо изувечены: у них поотрубали руки.

Туркменское войско во главе с братом Тогрула — Чагрыбеком медленно отступало в глубь Хоросана, по той самой караванной дороге, на которой лежит Таш-Рабат. Сам Масуд и его приближенные, презрительно называвшие туркменскую конницу дикой ордой, уже торжествовали, предвкушая легкую победу. Однако туркмены отступали в полном порядке по серахско-мервской дороге.

Армия султана стала тяжело страдать от жажды и вынуждена была отойти с главной дороги к побережью Мургаба. И все равно много султанских солдат умерло от голода, а лошадей — от бескормицы.

Наконец, 22 мая 1040 года войска султана Масуда подошли к Данданкану.

Люди и животные изнемогали от жажды. Но жители Данданкана не открыли ворот города войскам султана. Они лишь спускали со стен крепости на веревке кувшины с водой. Когда же султан потребовал, чтобы жители дали воды напоить животных, со стен крепости ответили: «В крепости всего пять колодцев — дадут воду только солдатам. Вне крепости есть еще четыре колодца, но туркмены побросали туда трупы. Нигде больше воды не найти».

Ах, вот в чем дело! Значит, то, что мы нашли у стен города,— это все-таки колодцы!

Так войско султана и провело остаток дня и ночь без воды. А наутро — в пятницу 23 мая — султан увидел, что вся равнина и холмы вокруг заняты туркменами. Войска туркмен были построены, как говорит один из современников, сопровождавших Масуда, «в царском порядке», то есть по всем правилам стратегии и такти-

ки. Путь султану был прегражден. Султан двинул против туркмен боевых слонов и свою закаленную в боях гвардию — гулямов[1]. Но разноплеменное наемное войско султана сражалось за деньги и ради наживы, а туркмены защищали свою страну. Маленькие сплоченные конные отряды — курдус, на которые было разделено туркменское войско, с боевыми криками «Яр! Яр!» кинулось на врагов. Тут же на сторону туркмен перешло 370 их соплеменников из гвардии султана — гулямов со значками львов.

После первого же ожесточенного натиска армию султана охватила паника, и она «показала спину». Мужество Масуда, лично принявшего участие в битве и сражавшегося так, «как не делал собственной персоной ни один падишах», не могло предотвратить полного разгрома его войска. Масуду пришлось пересесть с боевого слона на лошадь и спасаться бегством. Убегая, султан загнал по пути шестнадцать лошадей и в конце концов пересел на быстроходного верблюда-дромадера. Масуд добрался до своей столицы Газны, бежал в Индию и через год умер. После битвы при Данданкане власть над Хоросаном перешла в руки туркменского вождя Тогрула, сына Сельджука. Он стал основателем знаменитой династии Сельджуков. (Вот в честь кого был назван Тогрул, погибший во время афганца!)

Прошло сто лет, на протяжении которых восточные авторы ни разу не упоминают Данданкан. В 40-х годах XII века житель Мерва историк Ас-Самани пишет о Данданкане как о небольшом городке, находящемся в десяти фарсахах от Мерва. Видимо, и экономическое и политическое значение города в это время уже начинает падать.

Поздней осенью 1158 года кочевники-гузы после разгрома войск последнего сельджукского султана Санджара напали на Данданкан, взяли его штурмом, перебили часть жителей. Оставшиеся в живых разбежались. Данданкан прекратил свое существование. Вот почему самые поздние монеты, которые мы нашли, были чеканены в 1157 году.

Когда в начале XIII века знаменитый арабский уче-

---

[1] Гуля́мы — отборные воины.

ный-географ Якут (грек, долгое время бывший рабом в Сирии) проезжал по Хоросану, он видел уже руины Данданкана и так их описал: «Данданкан — город в районе Мерва Шахиджана, в 10 фарсахах от него, в песках. В настоящее время он разрушен и от него ничего не осталось, кроме рабата (постоялый двор для караванов.— *Г. Ф.*) и минарета. Он находится между Серахсом и Мервом. Я видел его, и не было там ничего, кроме стоящей стены и следов красивых зданий, указывающих на то, что это был город. Занес его песок, разрушил его и принудил жителей выселиться».

А через сто лет другой знаменитый ученый Казвини, описывая Хоросан и его поселения, не упоминает и руин Данданкана.

С начала XIII века и до нашей экспедиции даже место, на котором стоял Данданкан, оставалось неизвестным.

В период своего расцвета, в X и XI веках, Данданкан был небольшим, но богатым и известным городом. Макдиси пишет, что в X веке это был укрепленный город с одними воротами. Снаружи был расположен рабат, внутри красивая соборная мечеть и одна мечеть не соборная. В нем были бани, обширные дома со стенными украшениями из гипса. С Данданканом сравниваются различные города, настолько он был хорошо известен в X веке. Длина города пятьсот шагов; по свидетельству современников, он был окружен стеной. Все жители его принадлежали к шафиитам. Шафииты противопоставляли себя другому течению ислама — ханефизму, который насаждали газневидские султаны.

Вот и все, что известно из письменных источников о Данданкане. Это и много и мало. Много потому, что мы узнаём о важнейших политических и военных событиях, связанных с городом, о времени его гибели; ряд интересных подробностей о его размерах, зданиях, внешнем облике. Мало, потому что почти ничего не говорят историки о жизни его населения, целые эпохи истории города совершенно не упоминаются.

Раскопки, проведенные нами, позволили кое-что подтвердить, а кое-что и гораздо точнее обрисовать. Так, например, правильными оказались сообщения о существовании крепостной стены, о размерах города. Мы

нашли эту стену, определили, из чего и как она была построена. Примерно совпали и действительная длина города (216 метров) с той, которая указывалась историками X века, — 500 шагов. Подтвердилось годами чеканки самых поздних монет из Таш-Рабата и время гибели города. Мы нашли и дома, которые описываются историками. В небольших раскопках к юго-востоку от центра городища мы открыли два жилища. Стены и полы этих небольших домов были выложены отлично обожженным кирпичом. Изнутри стены богато орнаментированы резным кирпичом и фигурной кладкой. Между двумя параллельными линиями в несколько рядов выложены на стенах ромбы. Судя по найденным в домах вещам и орудиям труда, жилища принадлежали небогатым ремесленникам или торговцам. Интересно, что, по рассказу Бейхаки, жители Данданкана не впустили войска султана Масуда в город и дали ему лишь небольшое количество воды, которую они спускали в кувшинах со стен, потому что якобы в городе было всего пять колодцев. Оказалось, что это далеко не так. В XI веке в городе не только было множество колодцев, но и существовала хорошо развитая система канализации и водопровода с прочными гончарными трубами.

Жители города вполне могли, но не хотели снабжать водой войско султана, потому что все их симпатии были, видимо, на стороне туркмен, к которым городское население всего Хоросана обращалось за помощью в борьбе против сатрапов султана. Поэтому они не только фактически отказались давать султану воду, но и завалили трупами колодцы, которые находились вне крепостных стен.

Собранные нами коллекции бытовых предметов, орудий труда, оружия, украшений позволили составить яркое представление об уровне развития различных ремесел в городе, в частности о высоком художественном ремесле ювелиров, резчиков по камню и кости, гончаров. Многие живые черты городского быта и производства открылись благодаря раскопкам.

ХУДОЖНИК АБУ-БЕКР

В «Раскопе колонны» показался михраб — это такая ниша с полукруглым сводом, к которой обращаются мусульмане при молитве. Сомнений быть не могло. Перед нами мечеть, и, судя по ее местоположению и богатству орнаментации, именно та самая соборная мечеть, о которой говорили древние авторы. Михраб, сделанный из кирпича, был обмазан толстым слоем алебастра — гача — и сплошь покрыт художественной резьбой. Вписанные друг в друга цветы и геометрические фигуры сочетались с ажурной вязью куфического шрифта. Расчистка михраба стала в центре внимания всей экспедиции. Особенно увлекался ею Иван Михайлович, получивший от нас за это негласное прозвище «Иван Михрабович». А потом показались и новые резные колонны, и арки купольных перекрытий, и пол, выложенный фигурной кладкой из жженого кирпича. Все стены здания были покрыты резьбой и окрашены в красный, синий, желтый, зеленый и белый цвета. Оказалось что один под другим находятся два слоя гача с резьбой. Первый — более грубый, был сделан одновременно со строительством мечети. Второй — позже, во время одного из серьезных ремонтов. Этот второй слой резьбы обладал совершенно изумительными художественными достоинствами. Резные цветочные, геометрические и арабесковые узоры гармонически сочетаются друг с другом, хотя и имеют разные размеры и разную глубину. Это создает при ярком солнечном свете Каракумов не только живую и тонкую игру светотеней, но и необычайный динамический эффект. Когда стоишь вдалеке от стены или колонны, виден только самый большой и глубокий рисунок; когда подходишь ближе, становится видным средний рисунок, еще ближе — медленно выплывает самый мелкий рисунок и снова, как живой, меняется абрис резьбы, в котором видны теперь уже все три рисунка сразу. Кто же был автором этого изумительного и по замыслу и по исполнению художественного орнамента, когда он был сделан? Представьте себе, это удалось узнать!

Большинство надписей на стенках и своде михраба оказались различными изречениями из священной книги

мусульман — корана. Однако одна из этих надписей, находившаяся в верхней части михраба, содержала отнюдь не отрывок из корана. Эта надпись была прочтена уже в Москве по фотографии. Прочел ее известный советский ориенталист М. М. Дьяконов.



Надпись гласила: «Сделана Абу-Бекром...» Далее идет дата по хиджре — времени перехода Магомета из Мекки в Медину, с которого мусульмане начинают свое летосчисление. К сожалению, последние две цифры плохо сохранились. Поэтому возможно три прочтения даты: первое, самое вероятное — 490 год хиджры, или 1096—1097 годы по нашему летосчислению, второе — 470, или соответственно 1077—1078 годы, и третье — 440, или соответственно 1048—1049 годы.

Разница между тремя датами не особенно велика, и ясно, что после знаменательного поражения войск Масуда при Данданкане город продолжал существовать и находился в состоянии расцвета, раз был произведен ремонт мечети и создан новый, удивительный по мастерству и художественной ценности, резной орнамент ее михраба и стен.

В сочинениях придвор-

ных историков, описывающих различные венценосные ничтожества, вроде султана Масуда, не нашлось места для упоминания об Абу-Бекре, но каменная летопись Данданкана сохранила нам имя этого замечательного художника.

Упадок города, наступивший в XII веке, видимо, следует связывать с тем, что в условиях борьбы туркмен против сельджукских султанов, которая разгорелась в первой половине XII века, Данданкан, находившийся в самом центре военных действий, стал небезопасен для торговых караванов и они вынуждены были обходить его стороной.

Между полом мечети и рухнувшими на него арками, стенами, михрабом находился довольно значительный слой песка, не содержавший никаких находок. Значит, своды мечети рухнули уже через довольно длительное время после событий 1158 года, когда был взят штурмом и опустел город.

Мы не знаем точно, когда рухнула мечеть, но, во всяком случае, Якут, побывавший в этих местах спустя примерно шестьдесят лет после штурма города, уже, как мы видели, не застал там мечети, а лишь остатки минарета.

Раскопки мечети шли полным ходом. Мы уже отрыли значительную часть ее. А предстояло еще найти и раскопать многое: проем в городской стене, где находились ворота (широкая седловина в северо-восточной части вала как будто бы указывала, где их надо искать), рабат, вторую мечеть, здания с украшениями из гипса, о которых упоминали древние авторы...

Словом, мы еще только заглянули в историю Данданкана.

Однажды утром я с удивлением увидел среди солдат, копавших на «Раскопе колонны», Ахмета. Он был в военной форме и усердно работал лопатой. Я подошел и поздоровался.

— Здравствуйте,— ответил Ахмет и отвернулся.

Во время перерыва я подошел к Ахмету и спросил:

— Скажи, я в чем-нибудь виноват перед тобой?

Лицо Ахмета потемнело, и он с усилием сказал:

— Ни в чем ты не виноват. Только ты ко мне не подходи. Сам должен понять.

Что же, может быть, он прав. Во всяком случае, хорошо, что его мечта об армии осуществилась.

Параллельно раскопкам мы вели разведки вдоль всей трассы древней караванной дороги между Серахсом и Мервом. Судя по местоположению больших, занесенных песком бугров, открытых на этой дороге, их можно было связать с еще одним городом, который упоминали древние авторы,— с Тильситаном. Но там мы просто не успели произвести никаких раскопов. Эти песчаные бугры сейчас туркмены называют «Хауз-и-хан» — «Водоем хана», хотя вокруг нет никакой воды. Тильситан ждет исследователей! Повсюду вдоль дороги между Мервом и Серахсом мы находили следы древних оросительных каналов, ширина которых достигала восьми метров. В районе земель древнего орошения мы открыли более двадцати холмов — остатков древних поселений IX—XII веков, судя по поливной керамике, которую собрали мы на поверхности этих холмов. И они ждут своих исследователей.

Каракумы — черные, заросшие пески — были действительно когда-то покрыты растительностью, в них кипела жизнь. Сейчас близится время, когда эта бесплодная пустыня при помощи новых оросительных каналов превратится в цветущий сад. Ирригационная система, построенная тысячами безвестных тружеников и разрушенная Чингис-ханом и другими завоевателями, будет не только восстановлена, но обретет новые, немыслимые для древней техники возможности и продуктивность. В свете знания истории Каракумов особенно справедливым и нужным представляется строительство большого Каракумского канала. Изучение этой истории имеет и важное практическое хозяйственное значение.

Строители современных ирригационных сооружений, несмотря на совершенно иной уровень развития техники, широко используют сложившиеся столетиями ценные навыки древних ирригаторов, изучаемых археологами по остаткам оросительной системы прошлого.

Работы на Данданканском городище шли полным ходом, когда мы как-то утром увидели переваливавшие через барханную цепь две автомашины. Приехал генерал, командующий дивизией.

Генерал, видимо решивший произвести на нас силь-

ное впечатление, сиял множеством орденов и вначале с сомнением крякал в ответ на довольно бессвязные пояснения Кремнева.

Но, когда за дело взялся Леонов, генерал насторожился. Потом он стал осматривать найденные вещи и сказал, разведя руками:

— Если бы не капитан (он имел в виду Ивана Михайловича), ни за что в такое время не дал бы я солдат для раскопок. А теперь вижу — доброе дело. Не зря дал.

Кончилось тем, что генерал вместе со всем своим штабом оказался в «Раскопе колонны», где офицеры, вооружившись саперными лопатками, ножами и скальпелями, принялись расчищать стены мечети.

Генерал вскоре устал и вылез из раскопа, но остальные офицеры, предводительствуемые Иваном Михайловичем, так и остались там работать.

Мы все не могли удержаться, чтобы не наговорить генералу самых восторженных слов об Иване Михайловиче. В ответ генерал сказал:

— Еще бы! Это лучший боевой комбат моей дивизии. Умница и герой. Его батальон так дал фрицам на фронте, что они надолго запомнят. Здесь батальон отдохнул, новое пополнение обучено. Дороги построили, да и вам помогли, товарищи археологи. А теперь прощайтесь с капитаном. Завтра дивизия будет грузиться в эшелоны. Снова на фронт.

Незачем говорить о том, каким было это прощание. Не знаю, где Иван Михайлович, жив ли он. Но никто из нас, участников экспедиции в Данданкан, никогда его не забудет.

Вместе с уходом батальона и нам пришлось свернуть работы. В безводной пустыне без помощи Ивана Михайловича не было никакой возможности продолжать экспедицию.

Данданкан и другие древние города Хоросана еще скрывают много увлекательных тайн, которые ждут разгадки.



РУТА

В просторной, неярко освещенной комнате было очень уютно, пахло кофе и пряностями. Наверху покачивалась бронзовая дамасская люстра. Она имела форму корабля с синими стеклянными иллюминаторами и ажурными прорезными бортами. Проходя сквозь них, свет падал на потолок причудливыми, лениво набегающими волнами. Казалось, корабль плывет по волнам.

Светло было только под люстрой. Остальная часть комнаты скрывалась в полумраке.

Сергей Маркович внес круглый медный поднос с тремя чашечками дымящегося кофе. Поднос на четырех медных цепочках покачивался в его руке. Сергей Маркович раскачал поднос на этих цепочках и описал им полный круг в воздухе. Ни одна капля кофе не пролилась. Так он делал всегда и каждый раз искренне радовался удаче.

— Браво! — сказал я улыбаясь.

С дивана, где лежал Варнас, тоже послышалось одобрительное мычание.

Я взял с подноса чешечку и отпил маленький глоток крепчайшего кофе. Сейчас же сердце застучало.

Мы пили кофе, курили и говорили об Омаре Хайаме. Картонный ливанец в углу в оранжевом халате и с трубкой в зубах как бы курил вместе с нами.

— Ни разу не слышал в подлиннике Омара Хайама,— сказал я.— Наверно, все-таки на персидском это звучит по-другому.

— Хотите, почитаю вам? — тут же отозвался Шапшал.

Он сел в кресло у письменного стола и, сжав тонкими сильными пальцами свою седую, такую характерную голову, с плоским от деревянной караимской люльки затылком стал читать наизусть.

Потом Сергей Маркович снова ушел на кухню варить кофе. Разговаривать с Варнасом было бесполезно. Молчание, правда, бесконечно разнообразное, было, пожалуй, его единственной формой общения. Сейчас это молчание было спокойным, растроганным, из чего я заключил, что Хайам Варнасу понравился.

Хотя не было надежд, что Владас Варнас за всю ночь что-нибудь скажет, я все равно был ему благодарен за то, что он пришел сюда, чтобы побыть со мной.

Собственно, Варнас ни слова об этом мне не сказал, но я знал, что это именно так. Этот высокий, полный, красивый человек был всегда безупречно корректен. И то, что он при мне лежал на диване без пиджака, да еще сняв ботинки, безусловно значило, что он видит во мне друга. Только я сам знал, как сильно нужна мне его поддержка. Впрочем, все равно ничего не вышло бы без Сергея Марковича.

С ним мы встретились у выхода из Литовской академии, где я получал документы. Настроение у меня было отвратительное. Я знал, что все равно не засну в эту ночь, а провести ее одному без сна в номере гостиницы казалось мне невыносимым. Я и в обычные-то времена не люблю гостиниц и всегда, если возможно, предпочитаю палатку. По многу лет спишь в одной и той же палатке, и она никогда не надоедает, она всегда разная. Наверно, потому, что она сразу вписывается в окружающий пейзаж, становится его частью, а пейзаж-то ведь всегда разный. Номера в гостиницах — наоборот. В каких бы городах они ни находились, они как стеной отделены от этих городов. В них свои, общие для всех гостиниц, законы, гостиничные объявления, гостиничная мебель, воздух, и все такое.

И вдруг Шапшал спрашивает: не располагаю ли я сегодня свободным вечером.

— Вы знаете, мой друг,— сказал он,— старики гораздо больше думают о будущем, чем молодые. И старики вместе с тем гораздо больше живут в прошлом — там осталось их сердце. Сегодня исполняется сорок лет с того дня, как я был утвержден в звании профессора Петербургского университета. Мне бы хотелось провести этот вечер с близкими людьми. Зайдите сегодня ко мне. Старина Варнас тоже будет. Он просил сказать вам об этом.

Мне казалось, что наша встреча на лестнице не так уж случайна. Я пристально посмотрел в глаза Шапшала, но ничего не прочел в них, кроме обычного радушия и доброго внимания. Конечно, за его долгую и бурную жизнь каждый день в году стал для него какой-нибудь датой. Наверняка и сегодня была именно эта дата — сорок лет с тех пор, как он стал профессором. Шапшал всегда говорил правду. Только, черта с два, стал бы он отмечать эту дату, да и вообще любую дату! Все-таки, наверное, все это из-за меня.

И вот мы втроем коротаем ночь, пьем кофе, курим, разговариваем. То есть, разговаривает-то главным образом Шапшал. Варнас, как обычно, молчит, да и мне сегодня не до разговоров. Зато Сергей Маркович неутомим. Он внимателен так, как только он один умеет. И как хорошо в этой уютной комнате — кабинете хра-



нителя музея. Странствуя по всему миру, Сергей Маркович — один из лучших наших ориенталистов — собрал в странах Востока разнообразные ценные экспонаты. Они составили интересный музей восточных культур. Началась война. Вильнюс был захвачен немцами внезапно. Шапшал спрятал музейные ценности и жил притаясь, помогая людям, чем мог. Едва первые советские солдаты вошли в Вильнюс, Шапшал вывесил над своим домиком красный флаг, который тайно хранил всю оккупацию, а свой музей безвозмездно подарил государству. Его поблагодарили и назначили хранителем музея. Но предоставление музею помещения задерживалось. Война только закончилась. Город был сильно разрушен. Пока что экспонаты оставались в трех комнатах домика и на складе, а большая часть их была еще упакована. Но и в этих трех комнатах было столько интересного, что в музей приходили многие люди. Так, во время одной из командировок, попал в музей и я и познакомился с Шапшалом.

Сергей Маркович снова принес кофе. Мы пили кофе и ели пирожки с вишнями, Шапшал рассказывал:

— Совершенно анекдотическая, но тем не менее самая достоверная история произошла со мной когда-то в молодости в Тебризе.

Я не могу передать буквально его речь, речь старого петербуржца, изящную и плавную, с несколько витиеватыми оборотами, и перескажу эту историю своими словами.

Вот что он рассказал.

По окончании Петербургского университета Шапшал был оставлен при кафедре восточной филологии и вскоре получил длительную заграничную командировку для усовершенствования в знании восточных языков. Побывав сначала во многих странах Ближнего Востока, Шапшал надолго осел в Иране. Вскоре после его приезда, шахиншах решил дать своему сыну европейское образование и подыскивал ему воспитателя. С англичанами, которые наперебой предлагали свои услуги, у шаха были какие-то нелады, и его выбор остановился на Шапшале. Шапшал блестяще выдержал строгий экзамен, которому подвергла его специальная придворная комиссия. Кроме того, шаха прельстило, что Шапшал был караимом. Русское министерство иностранных дел с радостью дало Шапшалу разрешение занять пост воспитателя наследника. В Иране шла борьба за влияние между Англией и Россией и то, что воспитателем наследника шаха станет русский подданный, было на руку министерству.

Шапшал добросовестно выполнял свои обязанности, одновременно старательно изучая все языки и диалекты Ирана.

Прошли годы. Старый шах умер. Наследник, взойдя на престол, тут же назначил своего бывшего воспитателя советником. Шапшал тяготился столь длительным пребыванием в Иране и своими новыми обязанностями, но должен был оставаться на посту по настоянию нашей дипломатической службы. И вот однажды произошло следующее: один особо приближенный советник шаха оказался замешанным в тайных сношениях с мятежными курдскими племенами. Шах, очень доверявший этому советнику и осыпавший его милостями, пришел в неописуемую ярость. По его приказу несчастного советника подвергли пыткам и должны были казнить.

Шах вместе с целой свитой, в которой был и Шапшал, явился к месту казни и, подойдя к осужденному, в ярости плюнул ему в лицо. Вслед за тем он потребовал, чтобы все члены свиты поступили так же. Когда очередь дошла до Шапшала, он отказался и сказал:

— Ваше величество! Гуманные законы моей родины не позволяют мне плевать в лицо человека, тем более осужденного на смерть.

— Ах, вот как! — холодно ответил шах.— Значит, тебе его жалко, значит, ты его любишь! Ну хорошо. Тогда ты разделишь его участь!..

Когда Шапшал дошел до этого места, с дивана неожиданно раздалось:

— По Перкунайс![1]

Сергей Маркович усмехнулся и продолжал рассказ.

Шахиншах был неограниченным властителем с жестоким и необузданным характером. Жизнь Шапшала могла прерваться через несколько минут. Лихорадочно размышляя что делать, стремясь оттянуть время, Шапшал сказал, что он готов выполнить приказ шаха, но при одном условии. Он подданный Российской империи, в которой не принято так поступать. Пусть даст ему разрешение русский консул, тогда он плюнет. Казнь отложили, послали в Тебриз за русским консулом. Приехав и выслушав шаха, консул растерялся и сказал, что он не может решить этого вопроса. Пусть решает посол. Шах вернулся в столицу и вызвал во дворец русского посла. Посол, ознакомившись с делом, развел руками и заявил, что такого прецедента еще не было в дипломатической практике и что он должен запросить министра иностранных дел. Послали фельдъегеря с запросом в Петербург. Министр прочел запрос и, решив, что дело это темное, передал его на высочайшее рассмотрение. Николай начертал резолюцию: «Не плевать». Курьер повез в Тебриз письмо министра иностранных дел с разъяснением: «Высочайше повелеть соизволено — не плевать».

---

[1] Перку́нас — Перун — когда-то верховное языческое божество, общее у славян и литовцев. В настоящее время в живом русском языке не употребляется, а у литовцев сохранилось, но как ругательство: дьявол, поганец! По Перкунайс — одна из грамматических форм.

Пока тянулось это дело, нетерпеливый шах приказал отрубить голову осужденному. Шапшал впал в немилость, зато благополучно выкарабкался из этой истории и с облегчением навсегда уехал из Ирана.

Сергей Маркович усмехнулся:

— Да, вот какие глупые истории бывают в жизни.

— Старина,— обратился я к Варнасу,— а в твоей жизни были какие-нибудь глупые истории?

Варнас впервые за ночь соизволил открыть рот.

— Самый глюпый историй,— негромко и медленно сказал он,— начнет для нас с тобой сегодня утром.

Черт побери, я не хотел до поры к этому возвращаться. Может быть, он и прав, но отступать все равно уже поздно. Все уже думано и передумано. Нового ничего в голову не придет. Значит, нечего снова без толку про одно и то же думать...

Начинало светать. Окна в комнате совсем побелели. Из мрака все более отчетливо выступали картонные фигуры, облаченные в подлинные одежды, увешанные настоящим оружием. Волей-неволей приходилось возвращаться из этого призрачного, странного мира к действительности. Впервые за ночь я взглянул на часы. Времени оставалось очень мало. Шапшал перехватил мой взгляд и сказал:

— Да. Скоро мы расстанемся. Не сердитесь на болтливость старика. На прощание мне хотелось бы рассказать вам одну легенду-загадку. Позволите?

Сергей Маркович немного кокетничал. Кем-кем, а уж болтуном его никак нельзя было назвать. Он никогда не говорил просто так. Шапшал ласково коснулся моего плеча своей большой сильной рукой и начал:

— В славном городе Читракута жил когда-то богатый и могущественный раджа. У него была единственная дочь. Даже бог любви Мадана отдавал должное красоте и уму девушки. Дом ее часто посещали три молодых брахмана. Все трое очень любили ее, были хороши собой и полны истинной учености, которая в противоположность мудрости мещан, не полагает границы познания. Девушка, теряясь в выборе, не знала, кому отдать предпочтение. И вдруг случилось страшное несчастье. Девушка заболела и умерла. Она была зороастрийкой — солнцепоклонницей, по вере которой тело

нельзя предавать земле. Безутешный отец вместе с тремя женихами построили из желтого камня круглую башню молчания. На верхнюю площадку этой башни они после совершения необходимых обрядов перенесли тело умершей. Когда отчаяние, вызванное смертью девушки, уступило место тяжкому горю, пути трех брахманов разошлись. Один из них соорудил хижину у подножия башни молчания и поселился в ней. Целые дни и ночи проводил он возле девушки, не позволяя коснуться ее тела шакалам и хищным птицам. Другой пошел в монастырь и стал замаливать грехи девушки. В ее чистой жизни было совсем мало грехов, а молился брахман так искренне и усердно, что боги услышали его молитвы, и тело, освобожденное даже от тени греха, стало нетленным. А третий брахман пошел скитаться по всему миру, потому что именно во время странствий расцветают две сестры — свобода и ученость, которые не дают проникнуть в душу сладкой отраве забвения. И вот ученость третьего брахмана возросла настолько, что он стал равен Видъядхаре и вкусил бессмертный напиток богов — амриту. Обогащенный этим великим познанием, третий брахман вернулся в родную землю и вместе со вторым брахманом, вышедшим после молений из монастыря, вернулся к башне молчания, где возле своей хижины ждал их первый брахман, который ни на минуту не покидал тело девушки.

Здесь третий брахман совершил чудо воскрешения. Девушка вздохнула и ожила, еще более прекрасная, чем раньше. Кто же из трех брахманов должен был стать по праву ее мужем? Если раньше девушка не знала, на ком остановить свой выбор, то теперь, пройдя через испытания любви и смерти, она не колебалась...

Резкий сигнал автомобиля, раздавшийся за окном, прервал рассказ на полуслове... Думаю, что Шапшал именно этого и хотел.

— Пора! — сказал он.— Конец я расскажу после вашего возвращения. А вы подумайте, мой друг, кто же по праву должен стать мужем девушки.

Мы обнялись. Пока Варнас одевался, я тоже натянул плащ, пристегнул ремни рюкзака. Как только вышел на улицу, холодный утренний ветер резанул лицо. Грузовик с открытым тентом стоял у калитки. Все мои

спутники уже сидели в кузове. Я подошел, поздоровался.

— Лабас ритас! (Доброе утро!) — ответили мне.

Впрочем, ответили не все.

— Товарищ Варнас,— сказал я,— я поеду наверху, а вы садитесь в кабину.

Опасаясь, что наша дружба может быть кем-нибудь из участников экспедиции поставлена в упрек Варнасу, я решил на людях говорить с ним официальным тоном. Варнас, видимо, понял, в чем дело.

— В кабине место начальника экспедиции,— холодно отозвался он.

— Вы наш проводник,— настоял я.— Из кабины легче расспрашивать и давать указания шоферу.

Я поднялся в кузов. Сел на передней скамье.

— Путь в Жемайтию на Можейке? — спросил Варнас.

— Да, конечно, как условились.

Машина тронулась, выбралась из кривых и узких улочек на окраину города и, набирая скорость, помчалась по шоссе. Шофер Стасис Нагявичус — стройный молодой парень, похожий на Мефистофеля, но голубоглазый и русый, вел машину уверенно и смело. Мы ехали быстро. Разноцветные лоскутья полей, березовые рощи, огромные придорожные кресты сменялись хуторами с жалкими курными избами. Из маленьких оконцев нехотя выплывал сизый дым. А потом промелькнуло заброшенное имение. В парке белел ампирный дворец с колоннами. Аллеи из вековых тополей спускались с холма к дороге, а вдоль аллей — террасы искусственных прудов. Мои спутники вполголоса переговаривались между собой. Странно и тревожно звучала почти непонятная мне чужая речь.

Археологическая экспедиция началась.

Миновав несколько аккуратненьких одноэтажных городков, мы остановились в чистом поле, чтобы обсудить, какой дорогой ехать в Шауляй, где мне хотелось осмотреть лучший из провинциальных музеев Литвы.

— Как вы считаете, Нагявичус? — спросил я.— Вам, как шоферу, виднее.

Но голубоглазый Мефистофель только пробормотал в ответ:

— Не супранту (не понимаю),— и отвернулся.

Ах, вот оно что! Не понимаешь, значит. А не далее как позавчера я видел Нагявичуса возле гаража, когда он в беседе с другими шоферами не только понимал, но и отлично сам произносил весьма крепкие русские выражения. Ну что ж, насильно мил не будешь. Наступившее молчание прервал археолог и завхоз экспедиции Юозас Моравскис, предложивший:

— Может быть, поедем через Пайстрис?

— Нет,— ответил я.— Поедем через Радвилишкис. Эта дорога короче и интереснее.

Моравскис перестал улыбаться, и круглое лицо его сразу сделалось очень серьезным.

— Откуда вы знаете дорогу на Шауляй? — осторожно спросил он.

Я ответил с невольным вызовом:

— Служил в этих местах в армии в сорок первом году.

Мы снова сели в машину и поехали, только теперь в полном молчании. Черт возьми, кажется, мой первый разговор с сотрудниками экспедиции был весьма неудачным. Я поймал из кабины ободряющий взгляд Варнаса и немного успокоился, но все равно было не весело...

Руководитель Института истории Литовской академии наук, который предложил мне возглавить эту экспедицию, просил не только провести разведку в малоизученных районах Жемайтии (Западной Литвы), но и сплотить коллектив. Мои спутники мне не доверяют, некоторые очень холодны, а может быть, и враждебны. Отношения не налаживаются, хотя это просто необходимо. У меня за плечами был уже большой опыт трудных экспедиций. Вспомнились раскопки в Каракумах, очень сложные в военное время работы на небольшом древнерусском городке на берегу Москвы-реки, участие в качестве эксперта в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний в Краснодарском крае и многое другое. Казалось, что я уже встречал самые различные трудности и научился их преодолевать. А тут появилось нечто новое, совсем неожиданное. Дружный коллектив экспедиции был для меня раньше само собой разумеющим-

ся фактом. Этот коллектив был создан нашими учителями, складывался как-то быстро и незаметно с самого начала работы. А здесь оказалось, что именно этого «само собой разумеющегося» и нет. Литва переживает сложный период. Послевоенная разруха, начало коллективизации. Еще скрываются в лесах после войны банды немецких фашистов и их литовских прихвостней. А к нам, русским, далеко не все относятся с доверием. Об этом в течение многих лет заботились и немецко-фашистские агитаторы, и литовские буржуазные националисты, и многие католические ксендзы...

Тут было над чем задуматься. Я никого не знаю из моих спутников. И только один Владас Варнас, с которым я познакомился еще несколько лет назад, верный и надежный друг.

Так, в молчании, доехали мы до Шауляя. Славный город Шауляй, под стенами которого в 1236 году разыгралось одно из самых важных в истории Литвы сражений. Здесь были наголову разбиты закованные в железо рыцари бандитского Ордена меченосцев. Рыцари бежали, а многие из них, в том числе и сам магистр ордена Волквин, были убиты. Литва была освобождена от христианнейших немецких грабителей и убийц. А спустя 700 с лишним лет именно в Шауляйской битве во время Великой Отечественной войны Красная Армия нанесла страшный удар потомкам меченосцев — немецким фашистам, оккупировавшим Литву.

Мы проехали по тихим улицам этого города и остановились у входа в известный музей. Он назывался «Аушра» — «Заря». Нас встретил заместитель директора — пожилой человек в очках с очень выпуклыми стеклами. Музей был рационально и просто распланирован. Редкие колонны подчеркивали простор чистых и светлых залов. Мы с увлечением рассматривали резную деревянную утварь, крестьянские домотканые одежды, ковры. Однако в некоторых залах витрины были совсем пусты. Я спросил в чем дело. Замдиректора, помявшись, ответил:

— Во время войны наиболее ценные экспонаты были розданы для хранения верным людям.

— Да, — возразил я, — но ведь война кончилась уже около года назад.

Замдиректора смутился, не ответил, и я понял, что мой вопрос по каким-то причинам был бестактным. Позже, когда мы в запаснике изучали археологические коллекции, я заметил, что замдиректора застыл на одном месте, пытаясь закрыть от меня что-то, находившееся за его спиной. Проходя мимо, я все же увидел это «что-то», и это оказалось картой Литовского Великого княжества времен Витовта, начала XV века. На мой недоуменный вопрос замдиректора растерянно ответил:

— Видите ли, при Витаутасе восточная граница Литовского государства проходила между Можайском и Вязьмой.

Я не мог сдержать улыбки и тут же сказал:

— Ну и что же? А теперь граница нашего с вами государства проходит на тысячи километров восточнее — по берегу Тихого океана. Кроме того, бессмысленно пытаться закрыть спиной историческую правду. А что касается этой карты, то она напечатана во всех наших школьных учебниках истории.

Лицо замдиректора выразило неподдельное изумление, а один из археологов — костлявый высокий Альфред Басанавичус расхохотался так, что очки съехали на конец его хрящеватого носа. Сотрудники экспедиции окружили нас.

— Это именно так? — осведомился замдиректора.

— О господи! Да ну конечно так!

Ага, я, кажется, понял, в чем дело. В буржуазной Литве правительство Сметоны носилось с бредовым планом создания «великой Литвы от моря до моря» и в качестве «обоснования» своих претензий ссылалось на границы Литовского великого княжества времен Витовта. Тогда значительная часть Руси, раздробленной усобицами и разоренной татарским игом, временно вошла в границы этого княжества.

Ну что ж, наконец мне удалось хотя бы немного растопить лед в наших отношениях. Доказательство появилось очень скоро. Когда мы уезжали, замдиректора преподнес мне полный комплект журнала «Гимтасай краштос» («Родной край»), который издавал музей с 1934 по 1944 год.

— Вы легко сумеете отделить буржуазную пропаган-

ду от тех интересных материалов, которые помещены в журнале,— сказал замдиректора.

— Да, конечно,— ответил я.— Мне уже доводилось читать несколько выпусков журнала в нашей институтской библиотеке, но полный комплект я вижу в первый раз. Большое спасибо.

Мы распрощались дружески.

Спутники мои непринужденно болтали в машине, а я подумал, что удалось выиграть хоть одно, пусть даже маленькое, сражение...

Начались длинные северные сумерки. Варнас забеспокоился и направил машину к какому-то хутору. Вдоль дороги, ведущей к хутору, и вокруг усадьбы стояли высокие темные ели. Стены громадного добротного дома были сделаны из темных, рубленых, метровой ширины, досок. Из такого же материала был сооружен и амбар, вплотную примыкавший к дому. Ровные ряды побеленных внизу яблонь, ветроэлектродвигатель, шланги водяного насоса в бетонированном водоеме — все говорило о достатке и образцово поставленном, обширном, солидном хозяйстве.

Навстречу машине не торопясь вышел хозяин. У него была большая квадратная голова с седым ежиком и большие белые усы. Широко расставив руки с короткими толстыми пальцами, он радостно приветствовал Варнаса. Варнас ответил сдержанно и попросил разрешения переночевать на хуторе. Старик, собрав множество морщинок вокруг узких монгольских глаз, шумно выразил свой восторг. Он расстегнул белый парусиновый пиджак, и стала видна толстая золотая цепочка, идущая от одного жилетного кармана к другому. Началась церемония представления. Услышав мою фамилию, старик Гедвилис тут же едва заметным движением застегнул пиджак и удвоил количество улыбок.

Как странно! За кого же он меня принимает?

Помывшись, мы вместе с семьей хозяина уселись за большой стол под тенью старого дуба. Два стройных светловолосых сына Гедвилиса с серебряными перстнями на пальцах, едва ответив на наше приветствие, молчали. Подавала хозяйка — сгорбленная и бесцветная. Ставя миски на стол, она кланялась каждому, даже собственным сыновьям. Хозяин Юозас Гедвилис вел сте-

пенный разговор, из которого явствовало, что человек он бывалый. В прошлом видный земский деятель, депутат Второй Государственной Думы, он в 1913 году поселился в лесу среди заболоченной местности и основал этот ныне процветающий хутор. Время от времени я ловил обращенный на меня настороженный взгляд Гедвилиса, но как только мы встречались глазами, старик расплывался в широкой улыбке и гостеприимно предлагал попробовать еще одно из многих блюд, стоявших на столе. После ужина хозяин притащил откуда-то толстую книгу в потертом бархатном переплете и напыщенно сказал мне:

— Вот, извольте, окажите честь сельскому анахорету — распишитесь в этой книге почетных посетителей. Книга ведется с самого основания хутора — с 1913 года.

Я с интересом перелистал книгу, в которой было множество записей на разных языках. Здесь и размашистые каракули купца первой гильдии Самошникова, и ровные канцелярские буквы какого-то литовского министра, подписи художников, ученых, чиновников и писателей. Но что это? Прямые, с сильным нажимом, латинские буквы: штурмбанфюрер СС Манфред Шарнгорст, шарфюрер СС фон Глобке.

Я отложил протянутую мне хозяином ручку.

— Простите,— сдержанно сказал я.— Не могу поставить свою подпись рядом с подписью эсэсовских офицеров.

— Когда ко мне приезжает гость,— сурово ответил Гедвилис,— я не спрашиваю, кто он. Каждому гостю рад. Честью почитаю оказать страннику гостеприимство, имя и звание не спрашиваю. Здесь я лишь радушный хозяин и вне политики.

— Простите, господин Гедвилис,— отозвался я,— но я-то не вне политики. За гостеприимство спасибо, а подписи своей в этой книге я поставить не могу.

Товарищи мои молчали, но у меня не было другого выхода.

Гедвилис, видно и в самом деле человек бывалый, пожав плечами, усмехнулся и сказал:

— Что же, у каждого свои понятия. Настаивать не смею. Не окажете ли мне честь в совместной прогулке осмотреть службы и хозяйство?

Я охотно согласился. Довольно долго Гедвилис водил меня по усадьбе.

— Вот,— говорил он,— обратите внимание: раньше было ядовитое болото, а теперь яблоневый сад. Вот эту ель, как и все вокруг, сам своими руками посадил. Сам обрабатывал. А теперь оставили всего сорок гектаров земли, да и те грозятся отобрать. Показательное советское хозяйство из моей усадьбы проектируют устроить,— с горькой усмешкой сказал он.

— А сколько же у вас раньше земли было? — поинтересовался я.

— До полутораста гектаров,— с гордостью ответил Гедвилис.

— Неужто все полтораста гектаров своими руками обрабатывали?

— Бог дал сыновей-тружеников, не оставили старика без помощи.— Гедвилис прищурился.

— Вашим сыновьям лет по восемнадцать—двадцать. А до того, как они выросли, неужто всю землю сами обрабатывали?

Гедвилис осклабился:

— Уже стемнело. Вам бы пора и на покой. Устали с дороги. Отдыхайте. Простите, что задержал глупым разговором.

— Да нет, что вы,— ответил я,— разговор был очень интересным.

Я направился к сеновалу, где под одеялами уже лежали мои спутники. Однако у самого входа меня остановил, неожиданно выступивший из темноты, наш чертежник Балис Крижаускас, молодой человек, с острыми, лисьими чертами лица.

— Товарищ начальник,— зашептал он,— хочу сообщить вам совершенно конфиденциально. В лесу, возле хутора, сидят бандиты, и Гедвилис с ними связан. Я сам слышал, как они в кустах расспрашивали одного из его сыновей, кто это приехал. А Варнас завел нас в это волчье логово. У него был умысел!

А, черт бы побрал этого доносчика и труса! Я с удовольствием стал обдумывать в уме фразу, из которой явствовало бы, что экспедиция больше не нуждается в его услугах. И вдруг всплыла передо мной добрая улыбка Шапшала и вся эта история с иранским советником,

в которой было нечто большее, чем полуанекдотическая фабула.

Поневоле помедлив, я сказал:

— Умысел Варнаса мне известен. Гедвилис — богатый кулак и связан с бандитами. Он справедливо боится раскулачивания. Именно поэтому у него на хуторе нас никто не тронет. Вы меня поняли?

Крижаускас испуганно мотнул головой и исчез в темноте так же неожиданно, как и появился.

Когда я взобрался на сеновал и лег, то почувствовал, как знакомая сильная рука пожала мою руку. Видно, не я один бодрствовал в этот вечер.

Я долго не мог заснуть. Кончился первый день работы экспедиции. Не очень радостно он прошел. Трудные условия. Да и к чему, в сущности, мне эта работа с людьми, которых я не понимаю, да еще в такой сложной и опасной обстановке? Может быть, честнее и лучше уехать, сказать академику, пославшему меня в экспедицию, что я недооценил трудностей и не рассчитал своих сил? С этими-то мыслями я и пытался уснуть, и вдруг в памяти неожиданно всплыла сказка Шапшала. А кто же и в самом деле имеет право стать мужем девушки? Это отвлекло меня немного от грустных размышлений, и я уснул.

Утром мы пересекли реку Невежис и въехали в уезд Мажейке, который находился уже в Жемайтии. Вдоль дороги потянулись темные дубовые леса. Деревни почти совершенно исчезли. Их место заняли затерянные среди болот и чащоб хутора. Редкие путники, встречавшиеся нам на лесной дороге, были одеты уже не по-городскому, а в домотканую одежду. Вот прошли две девушки в шерстяных юбках с широкими горизонтальными полосами, в полосатых же безрукавках, стянутых на груди шнуром, в темных кофтах с широкими вышитыми поясами, в деревянных башмаках — клумпасах, с загнутыми вверх носами и изящной резьбой. На голове у одной из них был венок из полевых цветов, с вплетенными в него лентами — вайникос.

Мы ехали уже несколько часов по Жемайтии, как вдруг машина остановилась возле старинного кладбища. Машину с дороги загнали в густой кустарник, так что ее совершенно не стало видно. Из машины вышли и отпра-

вились в сторону кладбища Басанавичус, Варнас с рюкзаком за плечами и Моравскис с плоскогубцами.

— Товарищ Варнас,— с удивлением спросил я,— куда это вы все направляетесь?

— Выполнить одно поручение академика,— смущенно ответил Варнас.

— Какое поручение?

Но Варнас в ответ только пожал плечами.

Пришлось удовлетвориться этим туманным объяснением, чтобы не поругаться.

Потом все трое вернулись бегом, вскочили в машину, которую Нагявичус завел, как только увидел бегущих, и мы быстро поехали. Я заметил, что рюкзак Варнаса, когда он уходил, был пуст, а теперь набит до отказа.

Примерно через час, не доезжая до развилки дорог, машину снова замаскировали, и вся история повторилась сначала. Мне оставалось только злиться, потому что происходило что-то непонятное, и мне — начальнику экспедиции — не считали нужным объяснить, в чем дело. Я в упор пристально посмотрел на Варнаса, но он в ответ только слегка улыбнулся и качнул головой. От этого не прошло охватившее меня горькое чувство одиночества, сознание того, что мне не доверяют мои же товарищи.

Под вечер мы подъехали к широкой речной заводи, за которой находилось имение Сантекле; возле него должна была начаться наша работа. В этом бывшем имении мы и предполагали переночевать. Но паромщица отказалась переправлять нашу машину, потому что из-за жары вода очень спала и паром мог сесть на мель. Варнас молчал, но заметно нервничал. В сгущающихся сумерках мы не без труда нашли хутор и стали ждать возвращения хозяев, чтобы попроситься переночевать. Хозяева, как объяснила нам их двенадцатилетняя дочка, отправились в Сантекле на традиционные сельские конноспортивные состязания. Оттуда, из-за реки, доносились звуки духового оркестра. Идти в Сантекле за хозяевами, нарушить их праздник, было неудобно. Наконец, когда мы уже начали изнемогать от голода, вернулись, разгоряченные праздником, хозяева. Хозяйка — веселая и румяная молодая женщина, узнав, что мы так долго ждали, сказала, что приготовит нам коше жемайче — жемайтийскую кашу: традиционное национальное

блюдо, как объяснили мне мои спутники. Тут же приветливо загудела печка. Через двадцать минут коше жемайче была готова и дымилась на столе в тарелках. Я так и не понял, из чего она была сделана. Знаю только, что не без участия сметаны и поджаренного сала. Крижаускас тихонько шепнул мне, когда хозяйка пошла к печке за новой порцией:

— Только не вздумайте предлагать деньги за еду!

— Почему это? — спросил я, недоумевая, так как на других хуторах мы щедро платили за все.

Оказалось, что коше жемайче — не только народное блюдо жемайтийцев, но еще и священное блюдо. За него нельзя брать деньги, и даже предлагать за него деньги — значит обидеть хозяев. Поэтому трудно умереть с голоду в Жемайтии. Эта трогательная народная традиция гостеприимства существует с незапамятных времен.

И снова ночью я не мог долго уснуть — явление для археолога поистине необычное. Лежа на ворохе нового сена, я снова и снова пытался сообразить, куда и зачем уходят мои спутники. Да, выяснить это не легче, чем решить загадку Шапшала. А дважды спрашивать про одно и то же — не к лицу начальнику экспедиции.

Утро началось событием, которое запечатлелось в моей памяти на всю жизнь. Оставив машину на хуторе, мы пошли в лес. Нашим проводником был десятилетний мальчишка, как мы его в шутку звали, понас (господин) Симонс, облаченный в рваные штанишки и рубашку, обутый в деревянные клумпасы. На голову он нахлобучил роскошный когда-то котелок, обшитый по краю полей черной шелковой лентой. Мальчишка завел нас в болото и часа два, как заяц, прыгал по кочкам. Мы вспотели и измучились, едва поспевая за ним. В конце концов перед нами открылась трясина, переходящая в широкое озеро. Мальчишка обернулся, снял котелок, тряхнул льняным хохолком волос и, серьезно сказав: «Кольгриндас!» — вступил прямо в трясину, которая вскоре дошла ему почти до подбородка. Я невольно замешкался, глядя на предательскую, ярко-зеленую траву и черную жижу, которые колыхались вокруг мальчишки. Но понас Симонс бесстрашно шел дальше.

— Идите за мальчиком. Точно повторяйте его путь,— сказал Варнас.

Я так и сделал и вдруг ощутил под ногами не просто твердую почву, а каменную вымостку. Как и почему она оказалась здесь? Но было не до размышлений. Без мальчишки мы, конечно, не только не нашли бы этой вымостки, но даже если бы и нашли, то неминуемо свалились бы с нее в трясину, потому что она шла не прямо, а зигзагами. Так шли мы довольно долго, и вдруг перед нами открылось невиданное зрелище. Один возле другого стояли два высоких крутых холма. Доступ к вершине первого холма был прегражден со стороны леса двумя полукруглыми валами. На плато большого холма находилось какое-то возвышение, видимо остатки цитадели. С вершины открывался широкий вид на леса и болота, на озера и речки, а сам холм весь светился в лучах утреннего солнца.

— Это и есть жемайтийский пильякалнис! — торжественно сказал Басанавичус.— За́мковая гора, городище. А высокий, но более узкий холм рядом — это Алкакалнис, святая гора или парсепил — сторожевой за́мок. А еще такие холмы называют Жертвенная гора — Перкункалнай (Гора Перкунаса), Шаулекалнай(Гора Солнца).

Я пристально, с некоторым недоумением всматривался в городище. Что это? Ведь я впервые вижу пильякалнис, а меня не покидает чувство, что я уже знаком с ним? Какая величественная и выразительная картина! Ах, вот в чем дело! Именно картина! В Каунасе, в Музее имени Чюрлиониса, я видел картину этого замечательного художника, которая так и называлась «Пи́лис» — «За́мок». С необычайной выразительностью, реалистично, в самом высоком смысле этого понятия, передал художник величие жемайтийского пильякалниса, его пропорции, то грандиозное впечатление, которое он производит. Может быть, именно этот пильякалнис послужил натурой для картины. Только у Чюрлиониса на валах видны каменные стены, а на плато городища возвышается грозный замок — цитадель...

Однако пора было приступать к работе. Нужно было обмерить пильякалнис, сфотографировать его, снять план и разрез, заложить шурфы на склонах холма, что-

бы определить: сохранился ли культурный слой и каков он.

Басанавичус кряхтя втащил на плато теодолит и треногу. Я встал с рейкой на первый пост. Варнас уже успел нарубить колышки и вколачивал их по углам будущего шурфа, который разбивали Моравскис и Крижаускас.

Басанавичус установил теодолит и, зажав в руке конец белого трассировочного шнура, бросил мне клубок. Клубок разматывался, катясь по склону. Я, придерживая рукой рейку, поймал его другой конец. Съемка плана продолжалась целый день. Мы с Басанавичусом изрядно устали, десятки раз взбираясь на склоны большого и малого холмов. Все чаще Альфред снимал и протирал платком очки. Каждый раз при этом зрачки у него расширялись и становились круглыми, а веки щурились. Мы называли друг другу величины высот и расстояний, а больше ничего и не говорили. Впрочем, в этом не было особой надобности. Работа привычная, а кроме того, через трассировочный шнур я чувствовал и понимал каждое движение его руки, как и он — каждое мое движение... Что же, Альфред, мы с тобой уже не чужие друг другу люди.

В шурфе, заложенном на большом холме, культурного слоя не оказалось. Это не означало, что его совсем не было. Ведь мы заложили совсем маленький шурф, даже не форточку, а щелочку в древнее поселение. Вероятно, просто не везло. Зато шурф, заложенный на парсепиле глубиной около двух метров, оказался полным древесного угля.

В угле мы нашли несколько обломков глиняных горшков, которые, судя по технике производства, были сделаны в XII—XIII веках нашей эры. Здесь, видимо, долгое время постоянно горел костер.

Варнас, внимательно рассмотрев несколько крупных кусков угля, разломив один из них и даже почему-то понюхав, решительно заявил:

— Это дубовый уголь.

Что же, в лесах Жемайтии и сейчас полно дубов.

...Мы и не заметили, как стало темнеть. Возвращаться на хутор было слишком долго, да и не безопасно брести по болоту по этой чертовой кольгринде. Кроме

того, не хотелось уходить от пильякалниса. Решили заночевать тут же; вот только предстояла возня с ночлегом. Но когда мы спустились с плато городища, то увидели, что Нагявичус и понас Симонс уже поставили три наших палаточки и даже натащили хвороста для костра.

Когда я похвалил Нагявичуса, который за время нашей работы постепенно стал понимать по-русски, он только угрюмо что-то проворчал в ответ.

— Не обращайте на него внимания,— посоветовал мне добряк Моравскис.— Он теперь до самого утра будет злиться, пока снова не увидит свою машину. Его больше ничего в жизни не интересует.

Нагявичус, услышав это, упрямо сдвинул брови и спросил Моравскиса:

— А где же здесь люди жили?

— Да в таких же бревенчатых домах — нумасах, с маленькими оконцами и задвижными деревянными ставнями, как и на хуторе,— улыбнувшись, ответил Моравскис.— И так же жилье, и клеть, и амбар были под одной крышей. Теперь это только традиция, а раньше каждый крестьянский дом должен был быть крепостью — столько врагов угрожало Жемайтии.

Нагявичус, почему-то пожав плечами, присел у кучи хвороста и стал разжигать костер.

После ужина спать не хотелось, и мы, кто как мог, устроились у костра. Я заметил, что Нагявичус то и дело поглядывает на городище. Сейчас, вечером, оно перестало быть для нас объектом работы номер такой-то — оно снова замкнулось в своей грозной тайне, стало казаться еще выше и больше.

За всю жизнь я еще не видел ни одного не любознательного шофера. Нагявичус отнюдь не составлял исключения из этой беспокойной братии. Несмотря на плохое настроение, он, едва кончился ужин, снова стал приставать с расспросами к Моравскису:

— А все-таки, как же здесь люди жили?

Моравскис лениво, но добросовестно объяснил:

— Вокруг пильякалниса внизу жили, наверно, ремесленники и крестьяне. А в пильякалнисе, защищенный крутыми склонами и стенами, находился гарнизон во главе с командиром-конунгом. А на узком холме — парсепиле — был жертвенник. Здесь, возле священной рощи

или одинокого дуба, горел неугасимый огонь в честь Перкунаса. Здесь командовал жрец, у которого была изогнутая палка с набалдашником в виде человеческой головы. Огонь перед изображением Перкунаса поддерживала девушка в белой одежде — вайделотка. Еще могу тебе сказать, что вайделотками становились самые красивые девушки в Литве.

— А когда появились первые пильякалнисы? — не унимался Нагявичус.

— Еще в конце каменного века,— неохотно ответил Моравскис.— Много их сооружалось в течение эпохи бронзы и раннего железа, еще больше в XI—XII веках, когда отдельным Литовским княжествам — Аукштайтии, или Верхней Литве, Жемайтии, или Нижней Литве, и Делтуне — приходилось отбивать набеги морских разбойников — варягов. Но особенно большую роль играли пильякалнисы начиная с XIII века, когда литовцы сражались против немецких рыцарских орденов...

— Ну, вот и расскажи про эту роль.

Но Моравскис, помедлив, ответил:

— А про это тебе расскажет начальник.— Тут он неожиданно обернулся ко мне: — Простите, может, вправду вы расскажете?

По тому, как он это сказал, по тому, как переглянулись между собой Басанавичус и Крижаускас, я понял, что это не обычный разговор, а еще и испытание. Испытание, которое я обязан выдержать. Ладно! Не напрасно нас учили наши профессора готовиться к каждой экспедиции. Попробую. Пусть на этот раз Мефистофель побудет студентом. Я начал нарочито лекторским тоном:

— Это было около семьсот пятидесяти лет назад. Сначала на двадцати трех кораблях во главе банды рыцарей ворвался в устье Двины епископ Альберт из немецкого города Бремена. Рыцари уничтожили местных жителей, основали крепость Ригу. В ней Альберт, с благословения папы римского, учредил орден Меченосцев. Потом такая же банда — Тевтонский орден, разбитая в Палестине арабами, обманным путем проникла в Польшу и через несколько лет начисто уничтожила многочисленные племена пруссов...

— Что же,— прервал меня Нагявичус,— свои своих уничтожали?

— Как это свои своих?

— Пруссы же немцы!

— Нет, не немцы. Пруссы — литовские племена, или, во всяком случае, их близкие родственники. Немцы уничтожили их полностью. От них и осталось только название страны — Пруссия.

Так вот. Вскоре оба рыцарских ордена объединились в один — Ливонский орден. Это была страшная угроза для всех народов Прибалтики, для населения Северо-Западной Руси. Под видом приобщения к христианской вере «братья-рыцари» грабили и убивали людей, сжигали деревни и города, захватывали земли и ценности. «Братья-священники» именем божьим прикрывали эти насилия и преступления. Орден подбирался к границам Литвы. Друг и союзник русского князя Александра Невского — великий литовский князь Миндовг встал во главе объединенного Литовского государства. Это, как и союз с русскими, усилило Литву. Но опасность все еще была очень велика. Рыцари захватили на побережье Балтийского моря литовский город Клайпеду и на его месте построили свою крепость — Мемельсбург — кинжал, направленный в сердце Жемайтии. Нападая по ночам, они полностью уничтожили население Юнигенды, Путеников и других жемайтийских поселений. Жемайтия, или, как ее по-русски называли, Жмудь, оказалась на переднем крае огромного фронта борьбы против крестоносцев. Рыцари, закованные в железные латы, вооруженные до зубов, организованные специально для войны, имели большой боевой опыт, полученный во время походов во многие страны.

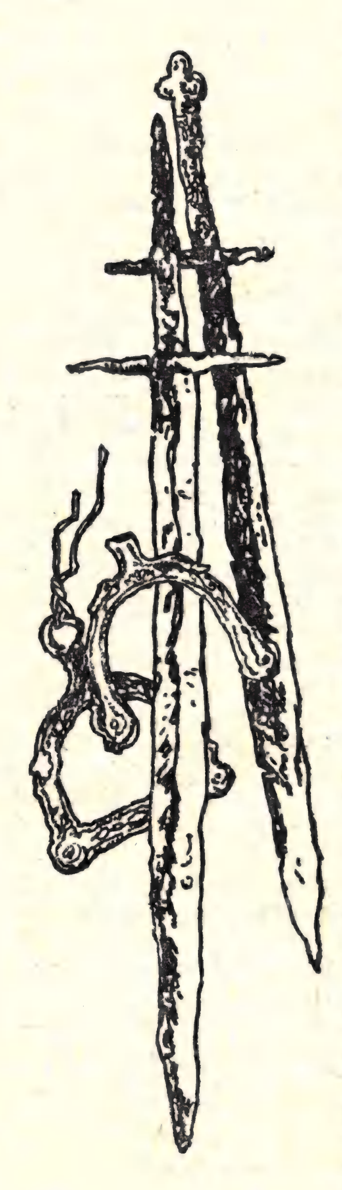
Что могла противопоставить им страна мирных крестьян и ремесленников — Жемайтия? Казалось, судьба ее решена. Как и пруссы, жемайтийцы были обречены на полное уничтожение.

— Сколько же лет сопротивлялась Жемайтия? — прищурив свои голубые глаза, спросил Нагявичус.

— Двести,— ответил я.— Даже больше двухсот лет.

Нагявичус с хрустом сломал ветку, бросил ее в костер и стал смотреть на пламя.

«Ага, подействовало все-таки»,— подумал я, давно уже научившись по малейшим движениям узнавать настроение моих сдержанных и не слишком разговорчивых



спутников... Ну, подожди... И я продолжал рассказывать:

— Произошло чудо. Жемайтия выжила и жива до сих пор. Вот ты сам, Нагявичус, один из потомков жемайтийцев. Это чудо сотворили сами литовцы в союзе с русскими и другими народами Прибалтики. В каждом селе, в каждом хуторе умелые люди стали ковать мечи и копья, стрелы и дротики. Рыцари научились уважать литовское оружие. На всех дорогах, ведущих в глубь Жемайтии, валили вековые дубы, сооружали засеки, устанавливали сторожевые посты. А главное — Жемайтия опоясалась сетью пильякалнисов. Ты видел сегодня один пильякалнис. А их было свыше полутора тысяч. Ими стали все холмы среди болот и лесов. Эти холмы укрепили и насыпали совсем новые. Пильякалнисы строили все. Мужчины носили землю в мешках, женщины — в подолах. На прусской границе по всем путям, ведущим в глубь Жемайтии, пильякалнисы строили на расстоянии пяти-шести километров друг от друга...

...Может быть, эта ночь и темная громада пильякалнисов, у подножия которого мы сидели, подействовали на меня. Может быть, это была та знакомая тесная связь с собеседником, которую я вдруг с радостью почувствовал. А может

быть, это прежние знания, соединившись с реальными приметами прошлого, которые мы открыли, трансформировались, как это бывает у археолога, перешли в новое качество — вйдение истории,— только я уже не играл с Нагявичусом, не пытался завоевать его доверие рассказом. Я видел, отчетливо видел Жемайтию семисотлетней давности и лишь передавал ему то, что видел воочию. И я ощущал, чувствовал, что он видит вместе со мною.

— К пильякалнисам вел каменный пол — кольгринда, извилистая дорога, выложенная на дне реки или болота у подножия холма. В мирное время на всех изгибах кольгринд стояли ветви или жерди — вехи, указывающие путь. А высокие узкие парсепилы — холмы возле пильякалнисов были не только алтарями Перкунаса, но и сигнальными вышками. На них лежали огромные кучи хвороста, день и ночь поддерживался огонь у алтаря Перкунаса. Как только рыцари-крестоносцы переходили границу Жемайтии, так на ближайшем городище зажигали сигнальный костер. Свет его был хорошо заметен на соседнем парсепиле. Там тоже зажигали костер, и огненная цепочка пробегала по всем сторожевым вышкам. А от самых высоких городищ, таких как Шатрия или Медвегалис, свет сигнального костра был виден на десятки километров вокруг. Через час-два вся страна знала о вторжении врага. Тогда убирали вехи с кольгринд. Женщины, дети, старики из поселков, под охраной мужчин, уходили в потаенные места в непроходимых лесах. Отряды крестьянского ополчения взбирались на пильякалнисы, усиливая их гарнизоны. Пока рыцари вели тяжелую осаду каждого пильякалниса, к ставке литовского князя стягивались войска для нанесения сокрушающего удара захватчикам. И такие удары наносились. Ты помнишь Шауляй? Именно под стенами этого города Миндовг наголову разгромил рыцарей. Символом литовцев был вечнозеленый лесной цветок — рута.

После Шауляйского побоища, почти сто лет, Жемайтия успешно отбивала нападения крестоносных разбойников. В тысяча триста сорок первом году, в битве при городе Велюоне, рыцари впервые применили порох и свинец. В этой битве был убит великий литовский князь Гедимин. Городище это навеки связано с его именем...

— Гора Гедимина находится в Вильнюсе,— прервал меня Нагявичус, но это прозвучало лишь как последняя безнадежная контратака перед полной капитуляцией.

— Брось, Стасис! — ответил я, уверенный и в силе своих союзников, и в том, что мой «враг» уже не враг, а друг.— В Вильнюсе на высоком холме сохранились остатки замка Гедимина, а погиб он именно в Жемайтии. После смерти его Литва, снова распавшаяся на отдельные княжества, была ослаблена. К концу XIV века рыцари захватили почти всю Жемайтию. Через год вспыхнуло народное восстание, подавленное крестоносцами с беспощадной жестокостью. Но Жемайтия и тут не покорилась. Уцелевшие после расправы скрылись в непроходимых чащах и болотах. Люди накапливали силы и оружие. Через несколько лет, в тысяча четыреста девятом году разразилось новое восстание, поддержанное великим литовским князем Витовтом. Это восстание не прекращалось до тысяча четыреста десятого года, когда в битве при Грюнвальде соединенными силами литовцев, поляков, русских и чехов был окончательно разгромлен Ливонский орден.

Жемайтия навсегда воссоединилась с остальной Литвой. В тяжелой борьбе с крестоносцами сплотилась единая литовская народность, окрепла древняя дружба со славянами, была завоевана независимость.

Нагявичус встал и, немного отойдя от костра, некоторое время пристально всматривался в пильякалнис.

— Скажите, товарищ начальник, а как же здесь все-таки жили люди? Какие были укрепления, какие стояли гарнизоны. Чем были вооружены?

— Вот, чтобы узнать это, мы и приехали сюда,— ответил я.— В старинных грамотах и хрониках об этом ничего не сказано. Это могут узнать только археологи...

Все давно уснули в своих палатках, а мы с Нагявичусом еще долго молча сидели у потухающего костра. Уже задергивая полог палатки, Нагявичус неожиданно спросил:

— Георгий Борисович, вы помните «Стрельца» Чюрлиониса?

Я кивнул головой. Он не случайно спросил. И именно так — «не знаю ли», а «помню ли» — спросил не случайно. Литовцы не говорят много. Это было обращение

своего к своему. Спасибо, друг! А засыпая, снова, уже в который раз, я отчетливо представил себе эту картину...

Двое в мире. Маленький полуобнаженный человек на крутой темной скале. Широко размахнув мощные крылья, парит над ним огромная хищная птица, спускается все ниже, готовится напасть на человека. Одним ударом острого клюва может раскроить его голову, одним взмахом крыла сбросить его в пропасть. Холодные сиреневые глаза птицы уверенно и безжалостно смотрят на свою жертву. Злобная, сокрушающая сила стихии. Но человек бесстрашно и твердо стоит на скале, выставив вперед ногу, подняв голову навстречу птице. В руках у него тонкий изогнутый лук. Стрела, дрожа на туго натянутой тетиве, направлена прямо в сердце птицы. А из-за скалы, окружая человека светлыми лучами, встает невидимое еще солнце и сияет над ним знак Стрельца. Страшной стихийной силе разрушения и смерти противопоставляет человек, как равный равному, смелость, мужество, свой светлый разум...

Это твоя история, Жемайтия.

...Утро следующего дня, а потом все остальные дни в экспедиции мы занимались разведками пильякалнисов. Ведь до этого археологи еще очень мало их знали. Это была настоящая работа. Мы побывали на десятках городищ, шурфовали эти городища, изучали их культурный слой, возможно более тщательно описывали. За это время мы сблизились, да и мне самому стало легче в привычных условиях напряженной экспедиционной работы. Конечно, многое в наших отношениях оставалось еще неясным, но я не хотел об этом думать. И пока можно было заниматься только работой, я был почти счастлив...

Весь день мы работали на разных городищах, и одно из них было лучше другого. То это был легендарный Джугас — крутой холм, окруженный у подножия петлей реки Дурбинас и связанный с именем богатыря Джугаса, который, как говорила легенда, проходя здесь, остановился на минуту и вытряхнул землю из своего клумпаса, отчего и образовался холм. То величественная Шатрия — «Гора ведьм», на которой раз в год соби-

раются все ведьмы Жемайтии, поют, устраивают танцы и игрища, а потом проводят совещание, на котором намечают, что плохого и что хорошего сделать каждому жемайтийцу. Дубовые леса, заросли дикой малины, брусники, смородины вдруг прерывались широкими и глубокими озерами. Темная вода их пахла горьким запахом дубовых листьев. Эта почти черная вода была тем не менее совершенно прозрачной. Отчетливо виднелись камни на дне, стайки играющих мальков. Среди леса, на развилках дорог, на холмиках, время от времени попадались высокие кресты, увенчанные конусовидными башенками, ажурной резьбой орнамента, часто украшенные гирляндами и венками из свежих дубовых листьев. Этих крестов видимо-невидимо по всей Жемайтии. Если крестьянин находил в земле человеческие кости, то ставил крест, а вокруг сажал молодые деревца. На этом месте уже никто и никогда не копал.

Все здесь было полно лесной и озерной романтики: каждый холм, каждая горка имели свое название и каждое название было связано с легендой. Возвышались мельникаписы — курганы богатырей. На вершинах курганов — многовековые дубы, три-четыре креста и капличка — маленькая церковка. Зловеще чернеет «Гора повешенных». Если кто-нибудь решится подняться на нее, то из леса протягивается огромная рука и вешает смельчака. А недалеко от местечка Плателе, в центре непроходимого болота — остров Блинды — жемайтийского Робин Гуда, Блинды-Мироуравнителя и его верного помощника Стукаса, раздававших бедным награбленное у богачей имущество. Символом Блинды и его соратников тоже была рута.

Жизнь оторвала меня от пильякалнисов неожиданным и страшным событием.

Рабочий день кончился. Наступил ранний светлый вечер, и вместе с ним начались неожиданности. Вот из-за черных обомшелых стволов послышался плеск воды. Мы вышли на небольшую поляну и увидели старую водяную мельницу. Лопасти ее колеса лениво шлепали по воде. Из покосившейся дубовой избы вышел традиционный мельник с бородой, припорошенной мукой и сединой, в длинной домотканой рубахе. Но что это? На ветке дуба сидела большая птица. Птица распустила

веером длинный зеленый с синими глазками хвост, тряхнула султаном. Да, точно: здесь, среди суровых дубрав, возле старой водяной мельницы, сидел павлин. Мельник — добродушный, словоохотливый старик,— накормив нас коше жемайче, объяснил, что раньше богатые помещики держали в своих усадьбах павлинов. Потом помещики разбежались, а павлины остались беспризорными. Никто из крестьян не хотел взять этих, бесполезных в хозяйстве, птиц. А ему жалко стало — пропадут, да и красивые — вот он и взял двух.

Мельник, так гостеприимно встретивший и накормивший нас, вдруг помрачнел и сказал:

— Не обижайтесь, гости дорогие, на ночь я вас приютить не могу.

— В чем дело? — коротко спросил Варнас.

Мельник в ответ пожал плечами.

— Да так-то и ни в чем,— протянул он.— Однако и не совсем бы и следовало. А то и мне и вам может быть и не так уж ладно. Вы вот на машине. Вам что — до села или большого хутора доехать. А то бывает — шалят здесь...

— Когда? — резко прервал его Варнас.

— Да вчера будто бы и наведывались,— помявшись, сказал мельник.

— В машину! — распорядился Варнас.

Видимо, здесь действовали укрывшиеся в лесах фашистские банды. Через несколько минут мы уже выскочили на полевую дорогу, а еще через полчаса, так как начало темнеть, решили остановиться на небольшом повстречавшемся нам хуторе.

На берегу тихой речки стояла одинокая бревенчатая изба с соломенной крышей. За покосившимся плетнем, на высоком столбе виднелась каплычка с восемью оконцами — по два с каждой стороны. В каплычке стояла деревянная скульптура святого Изидора: широкоплечий ангел, идущий за плугом, запряженным парой ленивых волов, и сам святой Изидор — приземистый мужик в круглой деревенской шапке, набрав горсть зерна из висящего на груди лукошка, широким взмахом руки засевает борозду.

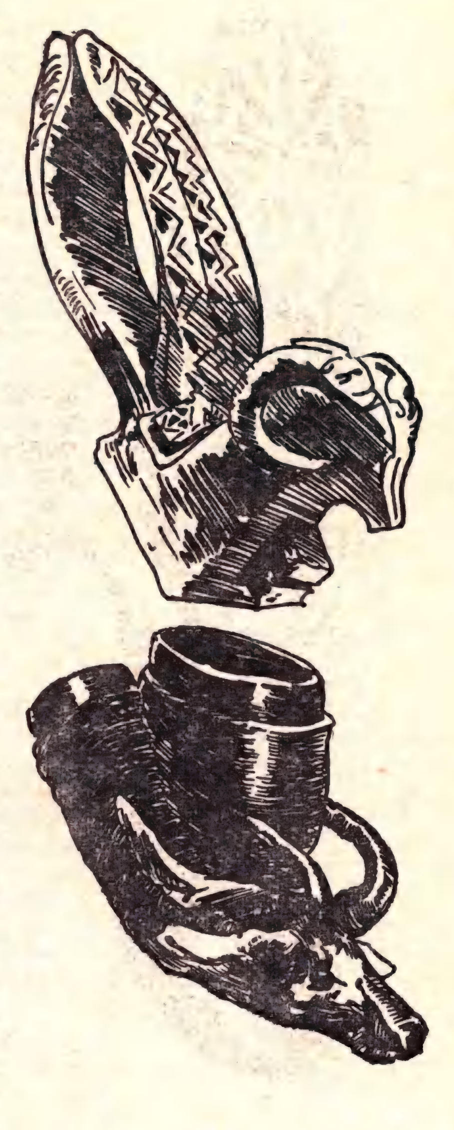
На крыше, в гнезде из старого тележного колеса, важно дремал белый аист. На наш стук никто не ото-



звался. Однако через некоторое время заплескалась вода, и к берегу возле избы причалила лодочка-долбленка, корытце, долбленное из распиленного вдоль бревна. Лодочка имела громкое имя, написанное на борту, — «Лайме» — «Счастье». Из лодки вышла молодая, светловолосая женщина, поразившая нас выражением какой-то отрешенности от всего на свете. Черные круги лежали у нее под глазами. Безучастно пройдя мимо нас и не ответив на приветствия, она вошла в дом, оставив дверь открытой. Пришлось довольствоваться этим, необычным для гостеприимных жемайтийцев, приглашением. Мы вошли вслед за женщиной и уселись вокруг стола. Впрочем, женщина уже возилась у печки, приготовляя огромную яичницу с салом. На столе стояла крынка с молоком, лежал большой каравай хлеба. Женщина молчала, и нам неловко было прерывать ее молчание.

Я осмотрелся. Небогатая изба была от-

делана любовно и тщательно. Еще во дворе я заметил на крыше двух резных коньков, а между ними четырехрукую человеческую фигуру, у которой верхние руки были подняты, а нижние — опущены. Много резных деревянных вещей было в избе. У табуреток ножки сделаны в виде мужских фигур с круглыми головами и широкими улыбающимися губами. Деревянный ковшик, миски, черпаки, дощечка к самопрялке, на которой кудрявилась кудель, — все это было покрыто тончайшей резьбой. Зубчатые линии образовывали разнообразный орнамент: розетки, ритмически расположенные квадраты, круги, ромбы, звездочки. Пламя из печки, падающее на них, создавало мерцающую игру светотеней. На столе, возле поливного кувшина с белыми звездочками-снежинками на синем фоне, лежали резные щипцы для орехов и хорошо обкуренная трубка с изображением оленьей мордочки на чубуке. Висели красиво расшитые ромбами и треугольниками полотенца. Вышивка, при всем богатстве колорита, была не пестрой, а



благородно сдержанной. Видно, в этом небогатом доме жили умелые, понимающие толк в красоте люди.

Продолжая осматриваться, я обратил внимание на солдатскую шинель с невыцветшими прямоугольниками на плечах и удивился. Я уже знал немного обычаи жемайтийцев, которые никуда не ходят вечером. Совсем стемнело, а между тем хозяина все еще не было дома.

— Товарищ Варнас,— попросил я,— узнайте у хозяйки, где ее муж.

В ответ на вопрос Варнаса, женщина, помедлив, присела к столу, сжала руками виски и тихо заговорила. В комнате было совсем темно, только когда вспыхивали дрова в печке, видны были сухие глаза женщины, излучавшие какой-то странный серый свет, и ее белые зубы. Она говорила довольно долго и, наконец кончив, уронила голову на руки, спрятала в них лицо и застыла.

Мои спутники молчали, и я, привыкший за годы дружбы с Варнасом, ко всем оттенкам его молчания, понял: произошло что-то трагическое.

— В чем дело, товарищ Варнас? — спросил я.— Где муж этой женщины?

Варнас помрачнел и ответил:

— У нее нет мужа.

— Это и все, что она вам рассказала в течение получаса,— процедил я, с трудом сдерживая ярость.

— Нет, не все,— вмешался в разговор Басанавичус.— Вы хотите знать все? Ну что ж... Эта женщина всю войну ждала своего жениха. Полгода назад он вернулся. Они поженились. С трудом наладили хозяйство. Были счастливы. Вместе трудились. Она ждет ребенка. Два дня назад к хутору подъехала легковая машина. В ней был майор и три сержанта. После того как они поели, майор спросил: сдал ли хозяин поставки государству. Хозяин ответил, что сдал по молоку и мясу и скоро, как только уберет рожь, сдаст и по хлебу. Майор попросил показать квитанцию. Хозяин показал, сказал, что он человек дисциплинированный, одним из первых в районе сдал. Майор посмотрел квитанции, похвалил: «Молодец!» — а потом, внезапно изменившись в лице, с бешеной злобой прокричал:

— Ах ты сволочь! Советам хлеб даешь! Повесить его!

Сержанты с привычной сноровкой повесили хозяина на двери его же собственного дома и уехали. Прибывшие скоро работники милиции установили, что это были переодетые бандиты из фашистской шайки, терроризировавшей весь район. И ведь это не немцы, а свои — литовцы...

И опять я ночью проклинал судьбу, забросившую меня в эту экспедицию. Мне, как и многим людям моего поколения, приходилось видеть смерть в лицо. Но почему-то история с мужем этой женщины, которого я даже не знаю, произвела на меня особенно страшное впечатление. Я все время видел перед собой дверь дома, любовно расписанную разноцветными ромбами, я представлял себе лицо мужа этой женщины, висящего на двери. Она ждала его всю войну. Наверно, она его очень любила. Она сделала свой выбор не колеблясь, так же как девушка из сказки Шапшала. А теперь он убит...

Разве можно так работать в экспедиции? Наверно, правильнее бросить сейчас все это дело, уехать, прервать разведку. А потом, когда все успокоится, когда созданы будут нужные условия, можно будет начать снова. А так просто невозможно. Что делать?..

Я так ничего и не решил и утром встал раздраженным и измученным. Завтрак, аккуратно приготовленный и поданный хозяйкой, ни мне, ни другим не лез в горло. Трудно было смотреть ей в глаза. Хотелось возможно скорее уехать. Ведь все равно ни я, ни кто другой не могли ничем помочь.

Я встал, чтобы готовиться к отъезду, и вдруг заметил, что не все сотрудники экспедиции на месте.

— Где Варнас и Моравскис? — спросил я у Басанавичуса.

Альфред замялся и пробормотал:

— Они скоро вернутся.

Не знаю, может быть, сказалось нервное напряжение, в котором я находился уже много дней, и эта ужасная история на хуторе, но я вспылил и стал кричать, что мне надоели все эти тайны, что я начальник экспедиции и требую, чтобы со мной считались и ничего не предпринимали без моего разрешения. Это было очень глупо, вся эта выходка, но я ничего не мог с собой поделать.

Мои спутники молчали. Вне себя я выскочил из избы и пошел куда глаза глядят. Немного успокоившись, я увидел, что отошел довольно далеко от дома и нахожусь в ржаном поле. И тут я увидел Варнаса и Моравскиса. Обнаженные до пояса, они размашисто шагали почти рядом, и лучи утреннего солнца вспыхивали на клинках их кос, и ровными рядами ложилась у их ног скошенная рожь. Я долго смотрел на них, и даже сознание собственной глупости не могло побороть во мне светлого чувства гордости за моих товарищей, за людей. А еще обидно было, что я сам не умею косить...

Вскоре после нашего выезда пошел сильный дождь, и, в поисках укрытия, мы заехали в имение графа Огинского, одного из богатых и знатных магнатов Речи Посполитой.

Дворец был разрушен во время минувшей войны. От него сохранилась только двухэтажная коробка с колоннами да несколько скульптур с отбитыми головами на крыше. Мы укрылись под огромным развесистым кленом, который склонился над рябым от дождя озером.

Моравскис, скорчив печальную мину, замогильным голосом заявил:

— Вот именно здесь капитулировал его высочество. Бедняга навсегда остался с пустым кошельком и разбитым сердцем.

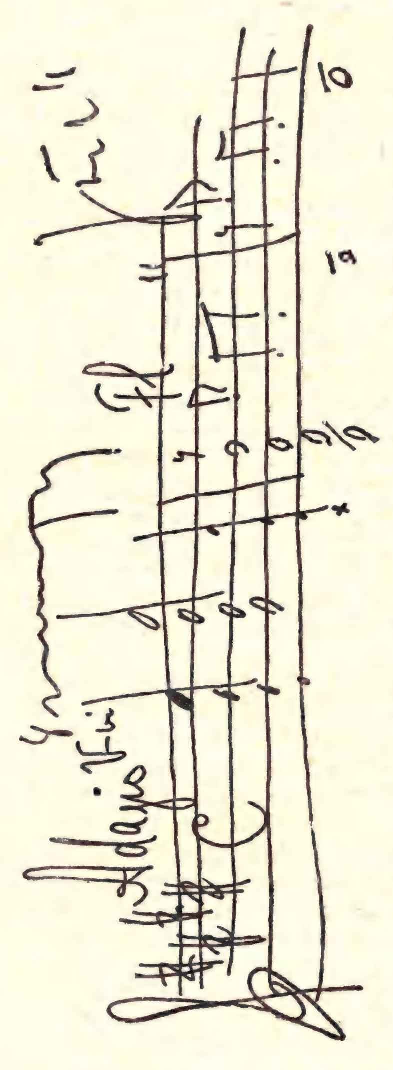
— Какое еще высочество? — спросил я.

— Один промотавшийся немецкий герцог,— ответил, улыбаясь, Моравскис.— Он обольстил единственную дочку Огинского. Старому графу пришлось дать согласие на брак. Тогда наш канцлер Сапега, сообразив, что брак может привести к онемечиванию половины Литвы, которой владели Огинские, запретил это дело. Герцог вызвал в имение войска. Сапега попросил помощи у своего друга Петра Великого. Русские гвардейцы быстро вышибли из Литвы и герцога, и его наемных головорезов.

Я посмотрел на круглое добродушное лицо Моравскиса, на его близорукие голубые глаза и вдруг отчетливо понял, что он, да и не только он, в экспедиции уже давно для меня не чужой. Этот деликатный, не слишком разговорчивый, как почти все литовцы, чело-

век никогда не имел ни одной дурной мысли. Просто мы не все знаем друг о друге, не все понимаем...

Дождь кончился. Мы решили немного побродить по запущенному великолепному парку. Многовековые кряжистые дубы, высокие мачтовые сосны, тонкие лиственницы с нежными, почти пушистыми ветвями время от времени расступались перед клумбами и кустарником. В прямых аллеях царил зеленоватый полусвет, и лишь изредка на песке лежали пятна солнечных лучей, прорвавшихся сквозь густую листву. Беседки, шатры, амфитеатры из деревьев. Здесь умели создавать из деревьев любые причудливые композиции. По этим аллеям бродил когда-то Чюрлионис, служивший музыкантом в домашнем оркестре Огинских. Я отчетливо представил себе очередной бал во дворце в честь какого-нибудь титулованного ничтожества, вроде того немецкого герцога. Под звуки бесконечных вальсов и мазурок кружатся в танце раскрасневшиеся, нарядные люди, беспечно и кокетливо болтают женщины, военные, сверкая эполетами, со значительным и самодовольным видом несут светскую чепуху. Высоко, под самым потолком, на душной и полутемной галерее всю ночь напролет играет оркестр. А утром, после того как угомонились наконец лихие танцоры, по пустынным аллеям парка бредет Чюрлионис — художник и композитор, гордость своего народа, наемный музыкант, нищий и бесправный Чюрлионис. Он в черном сюртуке, с галстуком-бантом и высоким крахмальным воротником. Темные, добрые, измученные глаза оттеняют бледность лица, утомленного бессонной и бессмысленной ночью. Он бредет, иногда спотыкаясь, почти ничего не видя вокруг, назойливо звучат в ушах пошлые, затасканные танцевальные мотивы... Но постепенно их звуки вытесняются другими, все более властно проникающими в душу. Вольно и тревожно зашумели листья на старых дубах, из-за реки донеслись звуки канклеса и пастушеского рога, задумчиво и грустно лилась дайна — крестьянская песня, звенели птичьи голоса в просыпающемся лесу... И вот появились, созданные для людей, симфонические поэмы Чюрлиониса — первые литовские симфонические поэмы — «Море» и «В лесу», чудесные обработки народных песен. Их узнали и полюбили многие люди. Но



композитор не смог порадоваться этому. Нищенское унизительное существование, постоянное перенапряжение в работе привели к страшной болезни — умопомешательству. Микалоюс Константинас Чюрлионис скончался в 1911 году в возрасте тридцати шести лет.

...В Советской Литве, в Каунасе, в Государственном музее имени Чюрлиониса собраны и тщательно сохраняются картины этого замечательного художника, лучшие музыканты Литвы исполняют его произведения.

Соратник и биограф художника профессор Галауне подарил мне монографию о Чюрлионисе с репродукциями всех его картин. На титульном листе этой монографии мой друг литовский композитор Балис Дварионас написал несколько первых музыкальных фраз из симфонии Чюрлиониса «Море»...

Уехав из поместья Огинских, мы остановились в глухом лесу для небольших раскопок средневекового могильника.

На крутом склоне высокого холма, под дерновым покровом, на желтой глине отчетливо чернели прямоугольники могильных ям

воинов и их боевых коней. Возле скелетов рослых мужчин лежали тяжелые железные наконечники копий, большие, слегка изогнутые ножи, медные пряжки и массивные перстни. В могилах с погребениями коней было поразительно богатое убранство: инкрустированные серебром стремена, медные и серебряные бляшки от узды с рельефными изображениями звериных голов, даже хвосты лошадей были украшены огромными спиральными медными браслетами.

С раннего утра целыми днями мы копали, расчищали, описывали погребения и найденные вещи, а по вечерам спорили о том, как датировать вещи, о том, для чего они предназначались. Мы говорили почти только об одной археологии — для всего остального просто не хватало времени, но только и во всем этом «остальном» мы были уже совсем не чужими друг другу.

Работе мешал дождь, ботинки и брюки до колен были вымазаны жидкой глиной и часто насквозь мокрые. Зато раскопки оказались удачными. Мы увидели оружие, боевое снаряжение и останки тех, кто когда-то защищал пильякалнисы от крестоносных рыцарей, кто отстоял свободу Жемайтии.

Когда раскопки уже подходили к концу, как-то Варнас ушел в разведку. Он вернулся часа через три и пригласил Крижаускаса и Моравскиса пойти с ним на какой-то хутор.

— Там целый этнографический музей,— пояснил он.

— Я тоже пойду,— сказал я.

Варнас, помолчав немного, ответил:

— Не обижайтесь, но вам идти не стоит.

— Нет, пойду! — упрямо повторил я, заинтересованный и в то же время рассерженный какими-то, как казалось, рецидивами прежних отношений. Только тут я заметил, что Варнас, сощурившись, смотрит куда-то поверх головы, что всегда служило у него признаком сильного волнения. Но это не остановило, а еще больше раззадорило меня.

Вчетвером мы отправились в путь и вскоре дошли до очень живописного хутора. Ветви яблонь склонялись в усадьбе под тяжестью желтых матовых яблок, в поле стояли скирды ржи. Во дворе лежала разная утварь: плетеные верши, корзины, берестяные туески. На кольях



плетня висели перевернутые вверх дном поливные кувшины с изображением розеток и крестов. Возле длинного низкого амбара с расписанной многоугольниками дверью висела растянутая на огромной рогатине, высохшая шкура барана, стояли деревянные лопаты с железной оковкой штыков, большие ушаты с носиками, как у чайников, старая телега — кардес.

Мы вошли в бревенчатый дом с высокой соломенной крышей. Вдоль стен виднелись расписанные цветами и птицами лари. На столе стояли тарелки с кашей, резная солонка, кувшин. На одном из стульев лежало полинявшее детское платьице. На стенах, на специальных вешалках, в виде резных портальчиков и теремков, висели вышитые полотенца.

Мои товарищи сняли с прялки челнок, на концах которого были вырезаны ужиные головки, стали складывать в рюкзак прорезную ажурную дощечку к прялке, ковши, забавный резной предмет, на одном конце которого была ложка, а на другом — вилка, и другие интересные вещи.

Несколько минут понаблюдав за ними, я с удивлением и возмущением воскликнул:

— Да вы что, друзья, с ума сошли?! Как же можно входить в дом и брать все без спроса? Что же будет, когда хозяева вернутся?

— Они не вернутся,— тихо сказал Басанавичус.

— Почему?

Басанавичус молчал, опустив голову.

Тогда за него ответил Варнас, медленно, с усилием подбирая слова:

— Эта семья выслана в Сибирь по обвинению в сотрудничестве с бандитами.

— Тогда что же вы так помрачнели? — с невольным вызовом сказал я.— Может быть, они сотрудничали как раз с убийцами мужа той женщины с хутора.

Варнас побледнел и так же медленно проговорил:

— Нет. Не сотрудничали. Я хорошо знал эту семью. Это честные, добрые люди. Глава семьи — старый школьный учитель. Я сам учился у него в школе. Их выслали по ложному доносу. Все знают это. Суда не было. Просто вокруг того места, где бандиты что-нибудь натворили, всех высылают. Этим людям не дали возможности оправдываться, и никто не доказал их вины. А та, которая носила это платьице,— он указал на детское платьице, лежавшее на стуле,— та уж, во всяком случае, ни с какими бандитами не сотрудничала...

Я подошел к столу и увидел, что он покрыт толстым слоем пыли, а каша в деревянных тарелках зацвела и затянулась черно-зеленой, нефтяного цвета, пленкой.

Как и мои товарищи, я опустил голову и машинальным движением снял свою соломенную шляпу...

Мы возвращались с хутора молча. Стемнело. Только луна бросала свой неверный свет на наш лагерь. Мы остались вдвоем с Варнасом. Он сидел на каком-то чурбаке. Я видел только его силуэт. Внезапно он заговорил:

— Вместе с вами мы дрались против фашистов за наш Советский Союз, за нашу Литву. Что же происходит, Юргис? Этот учитель — честный человек. Он ни в чем не виноват. Может быть, ты думаешь, что это неизбежно. Лес рубят — щепки летят. Есть такая поговорка.

— Не знаю.— Наверно, я ответил ему так же медленно и с таким же усилием, как говорил обычно он

сам.— Нет, Володя. По отношению к судьбе даже одного-единственного человека эта поговорка — преступление. Русский народ неповинен в этом. Правда все равно придет к твоему учителю. Неужели ты не понимаешь?

— Если бы я не понимал,— спокойно ответил Владас,— я был бы не здесь, с тобой, а там.— И он показал рукой в сторону болотистых чащ.— Но рута принадлежит не им, а нам. Пойдем.

Мы вышли. На берегу озера, положив друг другу руки на плечи, стояли полукругом мои товарищи и негромко пели. Мы подошли, полукруг разомкнулся, освобождая для нас место. Мы с Владасом встали и тоже положили руки на плечи товарищей. Полукруг снова сомкнулся и снова полилась песня — задумчивая, величавая, грустная, светлая:

Летуна мано, бранги тевине...

По-русски ее первый куплет звучит так:

Литва моя, моя любимая родина!
В твоей земле спят богатыри.
Ты прекрасна своим синим небом,
Прекрасна потому, что много
Перенесла невзгод.
И поэтому я особенно
Сильно люблю тебя...

...Утром Моравскис предложил:

— Юргис, посмотрим место, где жил Дионизас Пошка? Это недалеко отсюда, в Таурегском уезде.

Я охотно согласился. Я знал, что Пошка — первый литовский археолог и этнограф, крупный поэт и просветитель — значительную часть своей долгой жизни провел в каком-то романтическом месте в глуши Жемайтии. Мы долго пробирались лесными дорогами до чистенькой усадьбы школьно-музейного вида. В центре ее, на каменном постаменте, стоял огромный дуб, срезанный и накрытый сверху многоугольной крышей — грибом. Пошка нашел этот дуб с пустой сердцевиной, сделал в нем двухстворчатое окно, навесил дверь и поселился в этом своеобразном жилище. На двери дуба — стихи, сочиненные и собственноручно написанные Пошка. В русском переводе они звучат так:

Дуб мой любимый, дуб мой милый,
Мне твои стены милее, чем дворцовые.
Ты в дымке мечты — одна радость.
Я весел только тогда,
Когда бываю под твоей крышей.

Возле дуба стоял большой старинный жернов, росли молодые деревца. Романтически-сентиментальное жилище было вместе с тем музеем и лабораторией ученого.

— Пошка очень любил людей,— сказал Крижаускас,— и он им много помогал. Лечил, как умел, писал за них прошения разным властям, учил. Поэтому ему охотно приносили изделия лучших деревенских мастеров...

Мы зашли внутрь дуба, и действительно там был настоящий этнографический музей: скалились «страшные» святочные маски — горбоносые или монголоидные лица, висели и лежали старинные сабли, деревянные цепы, дрели, скалки, коромысла, светильники, клумпасы, сплошь покрытые выразительной, строгой и вместе с тем нарядной резьбой.

В память Пошка возле дуба насыпан огромный курган, на вершине которого поставлен монумент. Пошка умер в 1830 году, и с тех пор, как народная святыня, почитается этот дуб, а коллекции его постоянно пополняются добровольными приношениями. Здесь же во дворе сооружен курган в память пятисотлетия со дня смерти князя Витовта.

Потом мы спустились с Жемайтийской возвышенности в приморскую низменность. Мы находились еще километрах в пятнадцати от моря. Вокруг простирались густые дубовые леса, замшелые болота. Ничто, казалось, не говорило о близости моря. Но оно уже угадывалось в той глубокой, играющей, живой синеве неба, которая, может быть, создается отражением огромного водного зеркала, да в свежем, солоноватом ветре, порывы которого вдруг налетали неизвестно откуда...

Здесь, в Кретингском уезде, мы решили произвести небольшие раскопки на курганной группе Курмайчай.

Самый большой курган в этой группе был уже раскопан. По преданию, раскопал его совсем не археолог, а один нищий, решивший, что в кургане спрятано золото. Два дня в неделю он просил милостыню, а остальные



пять дней копал курган. Потратил он на это занятие более двух лет. Нищий безрезультатно прокопал всю насыпь, потом еще на четыре метра в глубь земли и, ничего не найдя, сошел с ума. Мы копали с бо́льшим успехом. Наш курган имел в основании венец, выложенный из крупных камней, а в центре — грубый лепной горшок, в котором находились остатки пережженных кальцинированных человеческих костей. Там был и бронзовый браслет. Судя по всему, курган относился к рубежу бронзового и железного веков.

Мы жили на тихом маленьком хуторе, хозяйка которого уехала погостить к сестре, а хозяин, видимо, очень скучал и обрадовался нежданным гостям. И вдруг заболел Нагявичус. Я уже давно успел полюбить этого порывистого, то угрюмого, то веселого, но всегда искреннего парня и отличного шофера. О недоразумении, которое произошло у нас в первый день работы, мы не вспоминали. Как-то я увидел, что Нагявичус читает на отдыхе толстую книгу, под названием «Психология». Немного удивленный, я спросил его, почему он этим интересуется.

— Дорога одинаковая, стекло всегда перед глазами, а вокруг все меняется,— весьма наивно объяснил Нагяви-

чус.— Вот и начинаешь думать, что к чему и отчего.

Болел Стась так, как болеют очень крепкие люди: крайне неумело, бурно, неорганизованно. Он сильно простудился во время дождя, но продолжал сидеть за рулем и принимать самое деятельное участие во всех делах экспедиции. Вот и добился, что температура подскочила до сорока. Он лежал на сеновале. Губы пересохли и покрылись белой пленкой, а тело тряс озноб. Он то по-детски стонал, то яростно скрежетал зубами, прикрывая свои голубые глаза. Лицо его еще больше заострилось, и сходство с Мефистофелем еще больше увеличилось. Больной гриппом Мефистофель!



Я накрыл его своим одеялом и пичкал разными лекарствами. Раскопки кончились, и мы ждали выздоровления Нагявичуса.

— Юргис,— сказал мне как-то Моравскис,— мы пойдем за богами, а ты побудь с Нагявичусом. Хорошо?

— За какими еще богами? — спросил я, увидев за плечами Варнаса знакомый пустой рюкзак.

Тут разъяснилась последняя «тайна» экспедиции. На кладбищах, на перекрестках дорог, в усадьбах многих жемайтийцев стоят на высо-

ких столбах каплички, то простые, как скворечники, то вычурные, как драгоценные ларцы. Внутри находятся деревянные резные изображения католических святых. Их изготовляют деревенские резчики на свой лад, по своему образу и подобию. Мотивы скульптур религиозные, а исполнение чисто народное и по образам, и по тонкому чувству юмора, и по наивной яркости и выразительности. Для истории народного искусства изучение этой деревянной скульптуры представляет большой интерес. В бурные военные и послевоенные годы многие каплички со скульптурами, иногда столетней давности, погибли. Они гибли, к несчастью, и в то время, когда работала наша экспедиция. Необходимо было собрать и сохранить для науки эти замечательные образцы народного искусства. Но это было не так просто.

«Боги», «боженьки», «девуляй», как называют их жемайтийцы, не продаются. В подарок тоже неуместно преподносить «бога». У моих товарищей оставался единственный выход — красть «богов». Добыча «богов» производилась без меня. А так как неизвестно было, как я к этому не слишком легальному занятию отнесусь, то мои товарищи и не решались рассказать мне раньше об этом.

Варнас открыл большой ящик, стоявший в кузове машины, и я увидел, что там собран уже целый Олимп деревенских «богов». Вот святой Винцент с круглым лицом, стриженный «под горшок», держит за хвост бессильно поднявшего кверху руки пузатого черта; вот Иисус Христос — приземистый, бородатый литовский крестьянин присел отдохнуть на камень после долгого трудового дня, подперев рукой голову; вот божья матерь — широколицая литовская крестьянка в шерстяных чулках и с натруженными руками; вот добрый молодец — святой Георгий — сует вилы в пасть лежащего под копытами его коня дракона, а рядом — для наглядности — стоит девушка в национальном литовском венке — святая Елена, спасенная героем; вот жалкий и смешной жемайтийский черт с длинной и узкой бородой, с большими грустными глазами, с наполовину выбитыми зубами, с горбатым носом и в трусиках, чтобы не оскорблять целомудренных взглядов.

Уже по возвращении в Вильнюс, когда собранная

во время экспедиции коллекция заняла свое место в музее Литовской академии, я получил в подарок своего патрона — святого Юргиса — Георгия, один из замечательных образцов народной скульптуры.

Какая огромная разница между этими талантливыми, смешными и трогательными жемайтийскими скульптурами и официальной католической символикой! В Вильнюсе я видел одну из главных католических святынь Прибалтики — Остра Браму. В нише, под островерхой башней с воротами, висит великолепная икона богоматери. Икона XII века и, судя по стилю, написана кем-то из новгородских мастеров. Неизвестно, как она попала сюда. Тонкое печальное лицо с опущенными глазами, с прямым византийским носом и крыльями высоких бровей. Икона заключена в огромный пышный серебряный оклад. Голова склонилась под тяжестью двух царских венцов оклада. Острые лучи сияния за



головой как винтовочные штыки торчат во все стороны и кажутся в этом сочетании особенно ненужными и зловещими. Руки богоматери, сложенные накрест на груди, как кандалами скованы в кистях обводами оклада. Как не подходит весь этот тяжкий, торжественный и грозный оклад к этому милому, кроткому лицу. На стенах возле иконы — тысячи маленьких серебряных ручек, ножек, сердец... Это люди, исцеленные якобы при помощи иконы, покупают изображения того, что она «исцелила» и вешают в благодарность на стене. Но вся эта нелепая и безвкусная выставка — смесь невежества, суеверия и грязной коммерции — не может до конца испортить впечатление от печального и прекрасного лица — шедевра неведомого художника.

На пыльной и грязной мостовой перед Остра Брамой целый день стояли на коленях старики и старухи, гимназистки, какие-то солидные люди с портфелями... Чего они ждали среди этой грязи и пыли, зачем нужно это унижение им самим и святой Марии?

Тут же шла бойкая торговля серебряными сердцами, иконами, четками, евангелиями; причем, цены за все святые отцы заламывали отнюдь не божеские...

Нагявичус поправился на третий день, без всякого вмешательства небесных сил. Обреченные на безделье до возвращения товарищей, мы охотно приняли приглашение Пранаса — нашего добродушного и медлительного хозяина — половить раков и отправились к ближайшей речке с удочками и сачками. На конец удилища привязывается дохлая лягушка. Потом удилище опускают в прозрачную воду и осторожно подводят к раку. Лягушку то пододвигают к раку, то немного отодвигают, слегка покачивая. Когда возалкавший рак вцепляется изо всех сил в лягушку, удилище поднимают, подводят под рака сачок и быстро выбрасывают его на берег. Пранас ловил раков сам, а мы с Нагявичусом организовали коллективное хозяйство: он орудовал сачком, а я — удилищем. Раки явно предпочитали социалистический сектор индивидуальному. Мы наловили больше сотни раков, а Пранас — только восемь.

— Вот видишь, Пране, — сказал хозяину Нагяви-

чус,— даже раки показывают, что колхоз выгоднее. Давай вступай, пока не поздно.

Как это ни странно, шутливое замечание Нагявичуса произвело на Пранаса сильное впечатление. Он долго еще стоял на берегу реки и задумчиво смотрел на воду. Коллективизация только-только начиналась в Жемайтии, и, видно, Пранас всерьез обдумывал вопрос о том, как ему к этому относиться. Это был типичный жемайтиец — светловолосый, кряжистый, молчаливый и очень осторожный. Из поколения в поколение, как и многие жемайтийцы, род Пранаса соблюдал традиции. Некоторые из них имели многовековую давность. Вот, например, Литва приняла христианство в 1387 году, а Пранас, как и его многочисленные предки, согласно еще языческим обычаям, почитал змей. Каждый день выставлял он для змей под кривым дубом тарелку с молоком. Змеи пили молоко и никогда не жалили Пранаса. Этих змей он и называл не обычным именем — «ангис», а особым старинным наименованием для священных змей — «гивате», а слово это, наряду с обозначением священной змеи, существует и в значении «жизнь».

Пранас почти ничего не говорил в утвердительном смысле. Я как-то спросил:

— Пранас, у тебя лошадь хорошая?

Поразмыслив, Пранас ответил:

— Понимаешь, Юргис, нельзя сказать, чтобы лошадь была так уж плоха.

Уже зная характер жемайтийцев, я понял, что лошадь очень хорошая. Потом так и оказалось, что я не ошибся.

В Литве 71 город. В этих городах живет всего 23% населения и то, главным образом, в Аукшайтии. Горожане из Аукшайтии посмеиваются над медлительностью, осторожностью и чудачествами жемайтийцев, но любят их и гордятся ими за их честность, упорство, талантливость во всех видах народного искусства...

Рано утром мы выехали из Курмайчай к очередному пильякалнису, затерянному в глуши лесов и болот. Это был последний день работы экспедиции. У меня сильно разболелась голова. Оказалось, что я тоже простудил-

ся и у меня высокая температура. Мы решили, что я останусь в машине, на лесной дороге, пока остальные пойдут к болоту до городища и обследуют его. Все ушли. Дождь кончился. Пригрело солнце, и я задремал. Очнулся от сна потому, что кто-то тряс меня за плечо и спрашивал:

— Кур важойем? (Куда едем?)

Не открывая глаз, я пробормотал:

— Ин Кретинга.

Последовал новый вопрос:

— Кодел? (Зачем?)

Я открыл глаза и ужаснулся: передо мной стояли пятеро хорошо вооруженных мужчин в штатском. У них были мрачные лица. У одного виднелся свежий розовый шрам на виске. У двух других перекрещивались на груди пулеметные ленты.

«Бандиты»,— пронеслось у меня в голове. Вот это номер! Последний день работы... Вокруг такой чудесный лес... Солнышко светит... Птички поют... Вот уж совершенно излишняя встреча!

Между тем один из пятерых со спутанной русой бородой, видимо старший, потребовал:

— Документы!

Пришлось дать. Он посмотрел, удивился:

— Вы русский?

— Да,— ответил я.

— Что вы здесь делаете?

— Занимаюсь археологией.

— Что такое археология?

Пришлось мне в этой удивительно неподходящей ситуации прочесть краткую популярную лекцию по археологии. Неблагодарные слушатели нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

— Вот что,— сурово сказал бородатый,— здесь не место заниматься вашей археологией.

— Почему? — спросил я, обрадованный, что можно хотя бы поспорить.

— А потому! — так же сурово ответил бородатый.— Здесь война идет настоящая. Вот сегодня бандиты убили двух местных активистов.

У меня отлегло от сердца. Сами бандиты обычно называют себя по-другому.

— А вы что здесь делаете? — повеселев, спросил я.

— Мы истребители. Прибыли, чтобы поймать и уничтожить этих бандитов.

— Ну, и как? Удачно?

— Да,— важно ответил бородатый.— Мы их засекли и обстреляли. Они залегли. Но их там много. Вот подойдет подкрепление — мы их уничтожим.

— А где же вы их засекли? — с понятным интересом спросил я.

— Вон на той горе! — И бородатый указал рукой на видневшуюся вдали вершину пильякалниса.

— Да вы что, с ума сошли! — закричал я вне себя.— Какие же там бандиты! Там мои товарищи по экспедиции!

— Это точно? — смутившись, спросил бородатый.

— Конечно, точно! — ответил я, задыхаясь от волнения.

— Ну, извините,— мрачно отозвался бородатый.— А вы с вашей экспедицией все-таки уезжайте отсюда, да поскорее.

Истребители ушли. Через некоторое время я увидел, как к дороге, по кочкам, бегут мои товарищи. Я лихорадочно пересчитал их — все налицо. Слава богу! Впереди всех бежал, размахивая руками, Варнас и кричал мне:

— Юргис! Я сорок минут лежал в большая яма!

Мои сдержанные литовские друзья были, кажется, смущены той горячностью, с которой я обнял каждого из них. Оказалось, что едва они успели обмерить городище, как снизу загремели автоматные очереди и пули засвистели среди листьев. Вот и пришлось прятаться кто куда.

Рассказав друг другу о наших впечатлениях, посмеявшись и порадовавшись благополучному исходу нежданного «нападения», мы поехали к морю.

Мы вырвались из узких и душных лесных проселков на широкое бетонированное шоссе. Вдоль шоссе стояли полуразбитые во время войны каменные дома с островерхими черепичными крышами, готические кирпичные костелы с грубо размалеванными толстыми фигурами святых.

Пообедать мы остановились в местечке Шилуте,

в только что организованном совхозе — бывшем имении господина доктора Шеу — генерала и шафтдиректора. В помпезном особняке повсюду висели портреты генерала, стояли его бюсты, правда, первые продырявленные во многих местах, а вторые — с отбитыми носами. Генерал — типичный пруссак. Его мрачная библиотека полна жизнеописаниями кайзеров, немецкой шовинистической литературы. Есть и специальные издания, восхваляющие богатство имения и добродетели генерала. С портретов глядело тупое, надменное лицо с нафабренными усами. С потолков, между аляповатой позолоченной лепниной, свешивались толстые амуры с открытыми ртами. Повсюду масса оленьих рогов и фотографий оленей, удостоившихся быть подстреленными собственноручно генералом. Но, наряду с этой чепухой, есть и большой гербарий, много местных и привозных археологических и этнографических предметов, которые собирал генерал. Впрочем, и среди них встречается разная ерунда, вроде псевдополинезийских пальмовых вееров, набедренных повязок из кожаных шнурков, разноцветного бисера и мелких ракушек. Но есть и подлинные египетские статуэтки — модели сфинкса, мумия, скарабеи... Странное сочетание тупого пруссачества и интереса к истории и этнографии.

Внук генерала — последний владелец имения — исчез после разгрома гитлеровцев и освобождения Прибалтики.

А вот совхоз организовали здесь отличный...

После обеда мы быстро пронеслись через фешенебельный приморский курорт Планагос, только на полчаса остановившись посмотреть грот, в котором, по преданию, находился главный алтарь Перкунаса. Неугасимый огонь перед алтарем поддерживали здесь когда-то облаченные в белые одежды вайделотки — красивейшие девушки Литвы, давшие обет безбрачия и служения божеству. Одна из них, по имени Бируте, полюбив доблестного полководца, борца против крестоносцев, князя Кейстута, нарушила обет ради этой любви, бежала с Кейстутом и вышла за него замуж. От этого брака и родился князь Витовт.

...Мы въехали в Клайпеду еще днем. Город был разрушен фашистами. Развалины домов поросли сорной травой, иван-чаем. Великолепный клайпедский порт, в котором довелось мне побывать еще до войны, разбит до основания. И все-таки мы решили совершить небольшое морское путешествие.

Метрах в двухстах от берега проходит по морю длинная песчаная коса, отделяющая залив Куршумаре от Балтики. На этой косе, как сказал Варнас, встречаются древние янтарные изделия, многие из них относятся еще к концу каменного века.

Не без труда раздобыли мы ржавую железную шаланду, настелили поверх толстые доски. Но оказалось, что шаланду невозможно подвести к берегу, а все причалы разбиты. Тогда мы, с помощью каких-то довольно подозрительных и полупьяных личностей, предложивших свои услуги, стали сами строить из досок временный причал. Опыта у нас в строительстве такого рода не было никакого, но работа продвигалась быстро.

Только здесь, в Клайпеде, я обратил внимание на то, как мы все здорово изменились за время экспедиции. Рубашки и брюки от бесконечных скитаний по лесным тропинкам и болотам порвались и выцвели, сохранившиеся у Варнаса и Нагявичуса кожаные ботинки были в плачевном состоянии, а деревянные клумпасы остальных, такие удобные и естественные в лесах Жемайтии, имели довольно нелепый вид на разбитой бетонированной набережной. Зато мы все загорели и окрепли. Впрочем, изменения были далеко не только внешними...

Когда кончилось строительство причала, стало уже смеркаться. Мы подвели шаланду к причалу, и тут оказалось, что мы допустили при строительстве ошибку. Борт шаланды не подходил к концу причала ближе, чем метра на полтора. Но отступать не хотелось. Мы настелили между причалом и бортом шаланды две толстые доски — одну для правых, а другую для левых колес машины. Помогавшие нам личности взялись за концы, привязанные к носу и корме шаланды, чтобы удержать ее на месте. Мы с боков поддерживали обе доски. Нагявичус, озабоченно поцокав языком, сел за баранку и начал осторожно продвигать машину по доскам. И в тот момент, когда передние колеса машины уже въеха-

ли на шаланду, она покачнулась, осела, и личности, державшие концы, выпустили их.

Шаланда медленно стала отходить от берега.

— Держи концы! — закричал я.

Мы выскочили наверх, вцепились и остановили шаланду. Но доски уже полетели в воду. Наши «помощники» разбежались. Положение было трудное. Передние колеса машины находились на шаланде. Задние — на причале. Между ними образовался просвет около двух метров, в котором плескалась вода. Мы не могли подтянуть шаланду к причалу. Этому мешала тяжело нагруженная машина. Доски, которые мы вытащили из воды, едва касались концами шаланды и причала.

Погубить экспедиционную машину, нашу «Кольгринду», как стал называть ее Нагявичус, да еще после конца работы, было бы особенно тяжко и глупо. Но я уже знал, что это не случится.

Басанавичус и Нагявичус прибили края досок к причалу, а другие их концы, едва касавшиеся шаланды, мы, как могли, закрепили тросами. Остальные в это время крепко держали носовой и кормовой канаты. Нагявичус через кузов влез в машину, завел мотор, прогрел его, дал страшный газ и с криком: «Перкунас!» — включил заднюю скорость. Машина рванулась назад. Доски почти тут же полетели в воду. Передние колеса повисли в воздухе, но почти вся машина уже находилась на причале.

Экскурсия на песчаную косу не состоялась, но это не так уж важно. Зато удалось главное — и я в этом еще раз убедился...

Мы подъезжали к Вильнюсу ярким, солнечным днем. Мы сидели в кузове, положив друг другу руки на плечи, и пели, а Нагявичус подпевал нам из своей кабины...

И вот снова мы трое — Сергей Маркович, старина Варнас и я — сидим в уютном кабинете, под бронзовой дамасской люстрой, пьем крепчайший душистый кофе и едим ак-алву, белую халву, которую по караимскому обычаю подают на стол во время радостных событий.

После того как я подробно рассказал о работе экспедиции, о Жемайтии, Сергей Маркович, улыбнувшись, сказал:

— Помните, друзья, легенду, которую я не успел досказать вам перед отъездом? Что же, теперь у нас есть время. Я скажу вам, кто же по праву должен был стать мужем девушки...

— Сергей Маркович,— прервал я Шапшала.— Мы со стариной во время экспедиции не раз вспоминали эту легенду. И мне кажется, что мы знаем, кто имеет бесспорное право стать мужем. Позвольте нам досказать?

— Да, конечно! — отозвался Шапшал и снова улыбнулся своей наивной и мудрой улыбкой.

— Тот,— сказал я и за Владаса и за себя,— кто оставался с ней, кто не покинул ее ни живой, ни мертвой. Потому что если бы он покинул девушку, то коршуны и шакалы разорвали бы ее. Тогда нечему было бы оставаться нетленным и некого было бы воскрешать. Так ведь? Спасибо вам за все!



ПРОПАВШИЙ МОГИЛЬНИК

В Молдавии, в самый разгар полевых археологических работ, мы получили сообщение, что возле села Боканы, Фалештского района, при разработке песчаного карьера найдены человеческие кости и какой-то горшок. Взяв с собой двух своих учеников — Георге Чеботару и Володю Андриана, я выехал в Боканы.

Тент экспедиционного фургона был откинут. Мы си-

дели в кузове. Упругий, душистый степной ветер бил в лицо. Сверкнув на солнце рыжей, с сильной проседью шевелюрой, экспедиционный шофер Гармаш наполовину высунулся из кабины и, повернувшись к нам, подмигнул Георге:

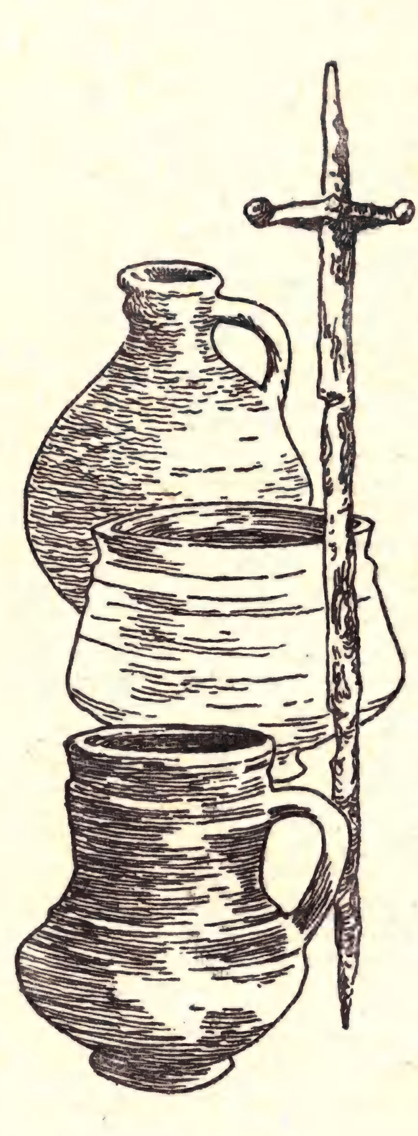
— Маэстро, Коломбина просит серенады!

Коломбиной он называл нашу видавшую виды экспедиционную машину.

Георге, который во всех случаях, когда ему предоставлялась возможность проявить свои таланты, не заставил себя уговаривать. Он запел, и мы подхватили песню. Впереди нас ждало какое-то новое, может быть, очень важное и интересное открытие, и мы были полны этим ожиданием, полны нетерпением и радостным предчувствием. Кто хоть раз бывал в экспедиции, поймет меня. Мы пели, болтали о разных пустяках, но, по неписаному экспедиционному правилу, ни словом не обмолвились о новостях из Бокан. Это мудрое, стоящее правило. Пока в руках нет еще материалов, пока еще ничего толком не известно, бесплодно и даже опасно строить какие-нибудь гипотезы и догадки. То, что ищешь, впервые нужно увидеть без всяких предвзятых мыслей и предположений...

Сделав крутой вираж, машина въехала на вершину большого пологого холма у околицы села и замерла. Мы выскочили и осмотрелись. Изрезанное кривыми линиями карьера, желтело песком подножие одного из склонов холма. Там копошились люди с лопатами, чего-то ждали несколько груженых подвод.

Георге, Володя и Гармаш спустились вниз, чтобы поговорить с рабочими в карьере, а я обошел холм. На склоне его, противоположном тому, где находился карьер, виднелись слабые следы древнего поселения. Кое-где попадались мелкие фрагменты древней керамики — горшков и других сосудов. Они отличались весьма малой выразительностью — эти обломки серых, лощенных снаружи сосудов, сформованных на гончарном круге. Такие серолощенные сосуды были широко распространены в первые века нашей эры на огромной территории всего Северного и Западного Причерноморья. Всего несколько поселений того времени было открыто до сих пор в Молдавии (в 1953 году), но ни



одно из них еще не раскапывали. А могильники первых веков нашей эры и вообще еще не встречались в Молдавии. Если найденные человеческие кости — остатки могильника, связанного с этим поселением, то открытие очень важное.

Мои размышления прервали Георге и Володя. Георге подробно расспросил рабочих и на основании их рассказов уже сделал на листке, вырванном из планшета, схематический чертеж того, что они нашли. На глубине полутора метров с вытянутыми руками и ногами лежал человеческий скелет. У ног его стоял горшок, у правой руки находилась железная сабля. Так рассказали рабочие. Георге совершенно правильно решил, что это — древнее погребение и что здесь должен находиться могильник.

Володя после долгих раздумий произнес только одно слово: «Язычник».

Что же, и это правильно. Если вместе с умершим положили саблю и горшок, значит, это погребение языческое: христианская церковь запрещала хоронить людей с вещами.

Георге выкопал и упаковал человеческие кости, выброшенные рабочими на откос. После этого мы с ним и с Володей отправились к школьному учителю, который взял себе на сохранение горшок и саблю, а Гармаш пошел договариваться насчет обеда. Учитель, который и сообщил в Академию наук о находке, очень обрадовался нам и выложил найденные вещи на стол. То, что рабочие называли саблей, оказалось длинным и узким железным мечом с прямым перекрестьем рукоятки, а горшок — невысоким одноручным кувшином, покрытым вертикальными линиями лощения на плечиках.

Георге радостно закричал:

— Погребение сарматского воина второго-третьего века нашей эры!

Володя, насупившись, ответил:

— То, что второй-третий век,— правильно, но только это погребение не сармата, а гета!

Георге вознегодовал и, размахивая перед носом Володи мечом, словно собирался проколоть его, закричал:

— Сарматское!

Володя отвечал односложно, но упрямо:

— Нет, гетское.

Георге обратился за поддержкой ко мне:

— Георгий Борисович, поглядите! Он еще спорит. Это ведь типичный сарматский меч, такие и на Украине в сарматских погребениях найдены!

— Правильно, Георге,— ответил я.

— Типичный гетский кувшин,— сказал Володя,— таких сколько угодно найдено в Румынии, в центре гетского царства.

— Ну и что же, что кувшин гетский? — не сдавался Георге.— Воин-сармат купил его у какого-нибудь гета.

— А зачем нужно было покупать горшок? Горшки и так все умели делать! А вот мечи умели делать немногие. Это гет, который купил меч у сармата!

— Подождите, друзья,— прервал я обоих,— дело серьезное, не будем спешить с выводами.

Но Георге, не выносивший, если поле боя оставалось не за ним, куда-то убежал. А подумать было над чем. Действительно, ведь очень странно, что в одной могиле нашлись и типичный сарматский меч, и типичный гетский кувшин. В чем дело? Почему?

Историческая обстановка на территории Молдавии во II — начале III века нашей эры была сложной и запутанной. Об этом свидетельствовали древние авторы — греческие и римские путешественники и историки, которые либо побывали здесь в то время сами, либо описывали эти места со слов современников-очевидцев. На Балканском полуострове, в Северном и Западном Причерноморье издавна обитали фракийские племена. Два племени — геты и даки — еще в III веке до нашей эры создали могущественное объединение. Центр его находился на территории Трансильвании, ныне входящей в состав Румынской Народной Республики. Это объединение постепенно превратилось в сильное, имевшее дело со многими племенами государство. В те же времена происходило великое переселение азиатских и европейских народов. Из недр Средней Азии, от границ Индии и Китая двигались на запад по широкому степному коридору через прикаспийские, придонские, приднепровские, приднестровские степи бесчисленные кочевые племена. Уже во II веке до нашей эры вся Восточная Европа до Дуная, включая, естественно, и территорию Молдавии, заселенную гетами, стала называться Европейской Сарматией.

В конце II века нашей эры от берегов Балтики двинулись на юг к Черному морю по Днепру, Днестру и Дунаю тяжеловооруженные дружины германских племен — готов. Где-то в Северном Причерноморье вступили в борьбу с готами славянские племена. Сложными и противоречивыми были взаимоотношения гетов — коренного населения Молдавии — со всеми этими племенами. Но главная опасность угрожала гетам с юго-запада.

В 102 году нашей эры, идя на север из глубины Балканского полуострова, перешла Дунай и выступила огромная римская армия во главе с императором Ульпием Траяном. Это была наиболее сильная, наиболее боеспособная, наиболее опытная и закаленная в боях армия в мире. Легионы Рима к этому времени уже подчинили его власти Англию и Испанию, Францию и Египет — словом, все страны, находившиеся в пределах досягаемости римского меча. Одно мощное гето-дакийское царство оказало им упорнейшее сопротивление.

Война продолжалась долго. В жестоких боях приходилось римлянам завоевывать каждую пядь земли. Только через семь лет кровавой резни они захватили, наконец, столицу царства — Сармицегетузу. Вождь гето-даков Децебал покончил с собой. Гето-дакийские города и крепости были разрушены, сотни тысяч людей убиты или обращены в рабство. Но всех земель гето-даков римляне так и не сумели захватить. В высокогорных районах Трансильвании, на территории Молдавии, кое-где еще продолжали вести с римлянами жестокую партизанскую борьбу свободные, непокорные племена.

Судя по сообщениям римских историков, вместе с гето-даками вели борьбу против римлян и конные отряды сарматов. В сценах из гето-дакийской войны на каменных рельефах гигантского монумента, возведенного римлянами в честь победы, некоторые ученые видят наряду с изображением даков и гетов также славянских и германских воинов. Это предположение совершенно естественно. В борьбе против Рима, который нес рабство и смерть покоренным народам, гетам и дакам, скорее всего, помогали и другие племена. Но о жизни их мы знаем очень мало, да и то лишь со слов их поработителей — римлян. Понятно поэтому, как ценно было бы открыть могильники людей, населявших Молдавию во II—III веках нашей эры.

Однако здесь, в первом же погребении, мы увидели нечто странное и непонятное: в одну и ту же могилу, вместе с одним и тем же покойником были положены и сарматская, и гетская вещи, хотя каждое из древних племен имело свои, только ему присущие оружие, украшения и утварь. В чем дело?

Выйдя из гостеприимного дома учителя на улицу, я сразу же увидел, что на вершине холма уже была укреплена мачта, на которой развевался флаг нашей экспедиции. А надо вам сказать, что флаг поднимают лишь в тех местах, где экспедиция ведет работы постоянные, стационарные. Это, конечно, Георге уже постарался. Сразу поняв, на какой важный памятник древности мы наткнулись, он, как человек действия, не стал медлить.

Итак, флаг боканского отряда экспедиции был поднят. Однако, кроме флага да одного погребения, разрушенного колхозниками в карьере, ничего больше пока

не было. А положение у меня создалось затруднительное. Дело в том, что на севере Молдавии, в Кодрах, мы вели раскопки древнего славянского городища. Работы там велись в большом масштабе, требовали предельного напряжения всех сил экспедиции, силы же эти были не слишком велики. У сотрудников экспедиции не хватало ни знаний, ни опыта. Это теперь они уже умелые археологи, работники Молдавской Академии наук, а тогда они еще только учились в университете и, ведя раскопки, познавали азы. В этих условиях я ни одного человека не мог больше снять с раскопок городища, чтобы перебросить в Боканы. Ведь отъезд Георге и Володи и так увеличил громадную нагрузку оставшихся. Сам я тоже должен был оставаться на городище.

Итак, раскопки первого в Молдавии могильника эпохи великого переселения народов приходилось доверять двум студентам, из которых Георге всего четыре года работал в экспедиции, а Володя и того меньше. Кроме того, каждый из них, помимо достоинств, обладал еще и существенными недостатками. Я долго не мог решить, кого же из них произвести в начальники отряда. В конце концов решил, что лучше, если будет начальником неторопливый Володя. Георге же, как более опытному, я присвоил весьма неопределенное, но почетное звание научного консультанта.

Георге вступил на свой пост с достоинством и явным удовольствием.

Воспользовавшись тем, что Володя принимал отрядное имущество — лопатки, приборы, палатки, вьючные ящики, я отозвал Георге в сторону.

— Послушай, Юра, — сказал я, — Володя очень добросовестный и хороший работник, но ты знаешь, как он медлителен. Ты должен обеспечить, чтобы работы велись оперативно, энергично. Я на тебя полагаюсь.

— А я вам говорю, Георгий Борисович, — отозвался Георге, как будто я с ним спорил, — я здесь такие разверну работы, что всем покойникам жарко станет!

Получив такие значительные, хотя и немного смутившие меня заверения, я пошел к Володе и сказал ему:

— Володя! Помни, что ты начальник отряда. Юра все делает быстро и энергично, но он не всегда внимателен к деталям. А ты ведь знаешь, какое значение

имеют при раскопках детали. Так вот: могильник должен быть раскопан по всем правилам, и отвечаешь за это ты.

Из главного лагеря экспедиции сразу же по приезде туда я отправил боканскому отряду необходимые им материалы. Отвез их Гармаш. Через несколько дней он вернулся с подробным письменным отчетом о работе отряда, который составили совместно Георге и Володя. Работы развернуты и идут полным ходом. Открыто еще семь погребений, мужских и женских. В каждом погребении, как и в первом, встречаются и сарматские и гетские вещи.

Археологи, работавшие на городище, долго гадали вместе со мной: что же значит это странное сочетание? Но объяснений не находилось. Во всяком случае, раскопки продолжались, а пока что это было самое главное.

Вдруг, дней через десять после начала работ на могильнике, я получил срочную телеграмму из Бокан: «Могильник пропал тчк Работы остановлены тчк Что делать много тчк Георге тчк».

Таинственные слова «много тчк», конечно, должны были передать, ввиду отсутствия в телеграфной передаче восклицательных и вопросительных знаков, душевное смятение Георге. Однако это было все, что я понял. Как это: могильник пропал? Куда пропал? Ну и Георге...

Впрочем, раздумывать не приходилось: следовало немедленно выезжать в Боканы. Так я и поступил. Сдал дела на городище своему заместителю, показал Гармашу телеграмму Георге и добавил ему только одно:

— Семен Абрамович, сам понимаешь, как важно добраться поскорее.

— Будьте спокойны,— ответил невозмутимый Гармаш.— У нас будет все как в цирке. И даже лучше!

Гармаш не торопясь осмотрел машину, не торопясь вывел ее на дорогу, разогнал, перевел рычаг на четвертую скорость. Машина рванулась вперед.

Зная характер Гармаша, я вцепился в железный поручень на переднем щитке, чтобы не слишком больно ударяться о потолок и двери кабины.

Это было своевременно. Наша верная Коломбина летела по ночной Молдавии. Она то перепрыгивала через

горбатые мостики, едва не делая сальто, то взлетала под самый купол звездного неба, на вершину огромного скифского кургана, через который лежал проселок, то ныряла вниз, к зеленому ковру долины, так что замирало дыхание, то чиркала лучами фар по крапчатой сетке леса. Передний и задний края тента хлопали, как бичи укротителя. Не хватало только аплодисментов, но в них мы, впрочем, меньше всего нуждались.

Через три часа наш «ГАЗ-63» пересек всю Молдавию, проделав путь в двести семьдесят километров, и затормозил у черных острых силуэтов палаток боканского отряда.

В отряде все спали. Я убедился в этом по храпу, несущемуся из жилой палатки. Войдя в нее, я зажег фонарь. Володя, раскинувшись, спал на ящиках с находками, накрытых брезентом. Кровать же Георге, как всегда аккуратно заправленная, была, однако, пуста и даже не примята.

Разбудил Володю:

— А где Георге?

— На эмтээф,— сумрачно ответил еще сонный Володя.— У него там много знакомых.

Из деликатности я не стал расспрашивать о подробностях.

Однако не успели мы с Володей развернуть находки и чертежи, как откуда-то появился и Георге. Вид у него был очень деловой. Правда, вслед за ним тихо вошел в палатку и пристроился на ящиках Гармаш.

— Сначала покажите все находки,— сказал я, хотя мне и не терпелось узнать, что это за пропажа могильника.

Всего было вскрыто семь погребений: три мужских и четыре женских. Во всех случаях скелеты лежали на спине, с вытянутыми ногами и руками, головой на север или северо-запад. Остатков гробов, колод, кожаных или берестяных покровов, в которые завертывали покойников, не обнаружили нигде. Мужские скелеты принадлежали рослым, сильным воинам. Фаланги пальцев их правых рук покоились на рукоятках длинных железных сарматских мечей. В ногах или возле головы стояли гетские горшки и кувшины.

В могилах с женскими погребениями встречались го-

лубой и зеленый сарматский бисер, бронзовые круглые сарматские зеркала, гетская посуда, гетские пряжки и гетские же фигурные застежки — фибулы.

Георге, усиленно обращавший мое внимание на каждую сарматскую вещь, с торжеством вытащил из ящика три человеческих черепа и сказал:

— Вот бинтовая деформация!

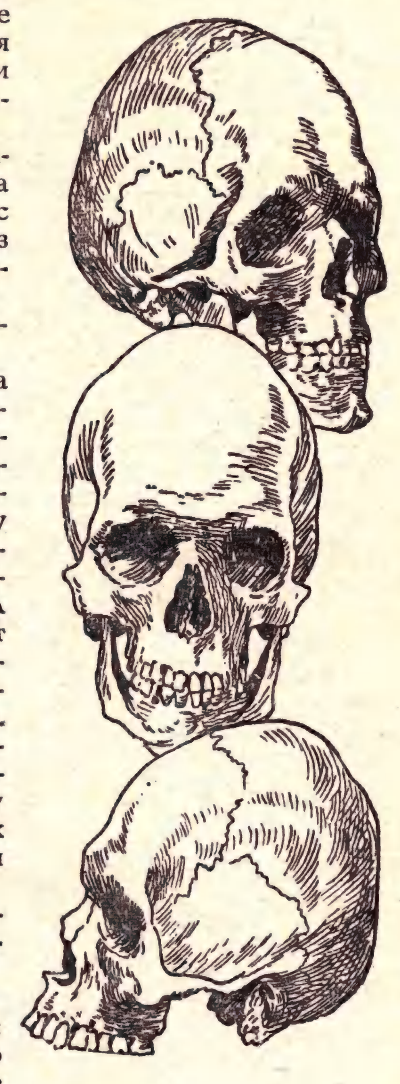
Правота Георге была очевидна: все три черепа отличались вытянутой яйцевидной формой. Черепа были деформированы искусственно. Грудному ребенку с еще неокрепшими костями бинтовали голову, и череп постепенно принимал вытянутую форму. Может быть, это отвечало эстетическим, а может быть, ритуальным воззрениям сарматов. Во всяком случае, искусственная деформация черепов хорошо прослежена у сарматов — например, в их погребениях того времени в Поволжье.

Володя, до того показывавший вещи молча, негромко сказал:

— Счет: три — четыре!

Георге сразу же вскипел:

— Ну и что же, что остальные четыре черепа не деформированы. Здесь все перемешано.



— В этом-то и дело! — отозвался Володя.

Мне тоже начинало казаться, что дело именно в этом. Но требовался еще материал, чтобы делать какие-либо выводы.

Пока шел спор, осмотр черепов и вещей, рассвело, и мы отправились к раскопкам.

— А теперь скажите, Юра: куда же пропал могильник? — обратился я к Чеботару.

— Сам не знаю,— развел руками Георге.— Сначала все шло хорошо, нашли семь погребений, а потом они вдруг прекратились.

— Вы хорошо искали? Может, могильник был уже давно уничтожен карьером, только нам не сообщали об этом?

— Нет,— сказал Володя,— в карьере ничего больше не было найдено. Да и не могли найти. Карьер врезался в могильник только одним отсеком, на изгибе холма, и разрушил всего одно погребение. Все проверено.

Мы подошли к могильнику. Возле того отсека карьера, где было найдено первое погребение, виднелся большой прямоугольник раскопа, а от него через изгиб холма расходились под острым углом, как стойки рогатки, две большие длинные траншеи. Одна вела к самой вершине холма, другая — вниз, к карьеру.

— Почему ваши разведочные траншеи имеют У-образную форму? — спросил я.

— Сарматы, как и другие кочевники, хоронили своих умерших на вершинах холмов,— запальчиво ответил Георге.— Вот я и заложил траншею по направлению к вершине.

— Геты, как и другие земледельцы, устраивали могильники либо на совсем ровном месте, либо на пологих склонах,— упрямо отозвался Володя,— поэтому я заложил свою траншею понизу.

— Да, но ведь ты сам сказал, что здесь все перемешано,— ответил я Володе. И приказал Георге принести трассировочный шнур, буссоли, колышки, чертежи всех погребений, их сводный план и вызвать рабочих.

Георге умчался, а мы с Володей еще раз осмотрели стенки карьера, а также профили и пол раскопа и разведочных траншей. Никаких следов могильных ям или каких-либо других перекопов! Это был, как называют

его археологи, материк — почва, которой никогда раньше не касалась рука человека.

Георге прибежал через несколько минут и принес все, о чем я его просил. Вернее, не совсем все: оказалось, что друзья, увлеченные каждый своей теорией, не вели сводного плана погребений. Правда, сводный план, если есть точные координаты всех погребений, можно составить и по окончании работ, но все же рекомендуется составлять его в процессе раскопок. И рекомендуется не зря. Когда на листе миллиметровки мы составили в масштабе план всех восьми погребений — одного разрушенного в карьере и семи раскопанных нами,— то четко обозначились два ряда могил. В одном ряду было открыто пять погребений, в другом — три. Ряды были параллельны друг другу и шли между разведочными траншеями. Все было ясно.

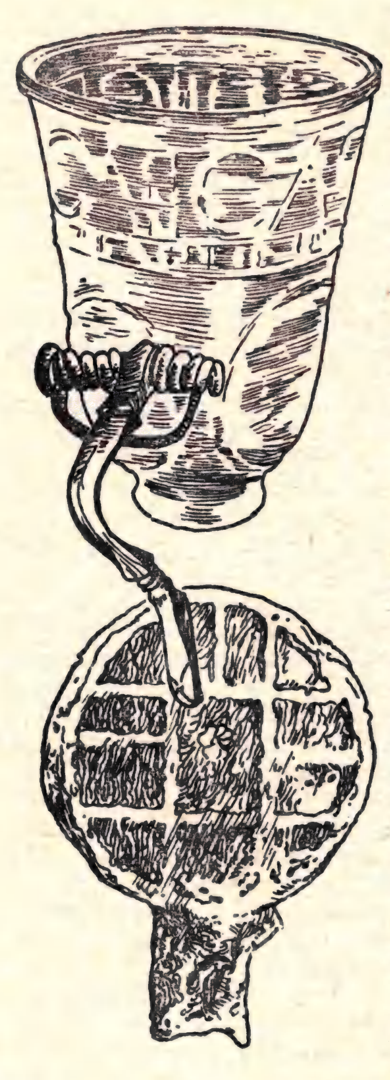
— Не нужно новых траншей,— обратился я к Георге,— разбивай прямо раскопы.

Георге только кивнул головой. Белый трассировочный шнур уже отделял на холме широкие полосы раскопов, разбитых примерно посередине склона — точно, как продолжение направления рядов вскрытых погребений.

И через два часа после начала работ в раскопах появилось сразу три новых погребения. Их встретили криками «ура». Могильник опять нашелся! Хотя его расположение не было типичным ни для сарматских, ни для гетских могильников, но он был расположен именно так. И в новых погребениях, как в каждой могиле, всякий раз снова встречались и сарматские и гетские вещи.

Но это уже не мучило нас. Мы начинали понимать, в чем дело. Пока мы с Георге расчищали вновь открытые могилы, Володя шурфовал поселение, расположенное на другом склоне холма. Культурный слой оказался там довольно мощным. Это свидетельствовало, что поселение было обитаемо долго. И в слое, как в могильнике, опять-таки сарматские и гетские вещи выходили наружу вперемежку.

Володя закончил шурфовку и сделал совершенно правильный вывод: в этом поселении обитали сарматы, но они уже перестали быть кочевниками, осели на зем-



ле, начали заниматься земледелием. Георге из походной библиотечки Володи, с которой тот никогда не расставался, вытащил сочинение знаменитого римского историка Тацита «Германия». Описывая племена, жившие в Западном Причерноморье, Тацит, между прочим, сообщал, что местные жители изменились, огрубели в результате смешанных браков с сарматами. Тацит жил в I веке и писал об областях, которые находились несколько западнее Молдавии, но ясно, что и во II веке на территории Молдавии происходил тот же процесс перемешивания местного населения с оседавшими на земле сарматами, и мы нашли реальные вещественные и антропологические доказательства этому! Если древние авторы сообщали, что сарматы и геты объединялись в борьбе с общим противником — рабовладельческим Римом, то теперь мы видели, что это объединение зашло очень далеко и что сарматы и геты, тесно перемешиваясь друг с другом, перенимали также обычаи и изделия друг у друга! Поэтому так

необычно был расположен и могильник. Даже в его расположении отразился процесс смешивания между сарматами и гетами.

Каждое вновь открытое погребение подтверждало нашу гипотезу, и от этого особенно радостно и интересно было работать. А находки были замечательными. На раскопе у Георге открыли необычайно богатое женское погребение: три с половиной тысячи разноцветных стеклянных бусин, четыре бронзовых зеркала, кувшинчик, покрытый красным лаком, несколько фибул, бронзовые перстни и браслеты. Бусины нашли не только на груди, но и на кистях рук умершей, и на щиколотках. Возле головы откопали совершенно целый стеклянный римский флакончик для благовоний — круглый, с невысоким горлышком, с двумя ручками в виде лебедей с запрокинутыми головками. Стекло покрылось налетом времени — патиной, и кувшинчик отливал всеми цветами радуги.



Георге любовно расчищал это погребение сам, орудуя скальпелем, тонкими кистями, пульверизатором. Он никого не подпускал к могиле. Даже когда его верный друг Гармаш, давно уже шнырявший с лопатой по раскопам, попытался приблизиться к погребению, Георге замахнулся на него планшетом:

— Говорю тебе — не подходи! Это что — твоя невеста?! Ты ее выкопал?

Дело в том, что, судя по антропологическим данным, умершей было не более двадцати лет, и Георге, исходя из ее молодости и богатства ее одежды, решил, что она умерла накануне свадьбы и похоронена в подвенечном уборе. Переубедить его в этом было совершенно невозможно, да я и не старался, потому что так и вправду могло быть. Кроме того, я вспомнил, как много лет назад, еще когда я сам был студентом, я производил свои первые раскопки.

Исследование могильника подходило к концу. Нужно было уже думать о засыпке пустых раскопов. Гармаш предложил вызвать бульдозер из соседней МТС, но Георге, обретший свою обычную форму, надменно отказался. Он заявил, что при помощи некоторых технических приспособлений мы сами в два счета закопаем раскопы нашей машиной.

После этого он достал на МТФ кусок старой железной ограды с двумя стержнями, отходившими от нее под прямым углом, привязал ограду за стержни к переднему бамперу машины и закрепил на ограде доски. Перед машиной оказалась как бы огромная лопата, возвышавшаяся над землей сантиметров на пятнадцать.

Я довольно скептически смотрел на все это сооружение. Но Георге потребовал, чтобы Гармаш спустился на машине в карьер и для пробы попытался смести этим приспособлением небольшую кучку песка на дне карьера.

Гармаш, возмущенный тем, что изуродовали его Коломбину, хлопнул дверью кабины и моментально отшвырнул кучку песка. Тогда и я уверовал в технический гений Георге и даже сказал укоризненно Гармашу:

— Вот видишь, Семен Абрамович! А ты говорил — бульдозер!

Но Гармаш мне ничего не ответил и только пожал плечами.

Работы были завершены. Флаг экспедиции спущен. На засыпку раскопов собралось чуть ли не полдеревни. По команде Георге Гармаш разогнал машину и направил ее прямо на одну из высоких куч, выброшенную из раскопов.

Однако огромная лопата не подняла эту землю, а лишь скользнула поверх кучи и бесславно задралась кверху. Среди собравшихся поглазеть на засыпку раскопов раздался сдержанный смех. Георге на минуту смутился, но тут же воспрянул духом.

— Просто она мало весит,— заявил он, после чего влез на один конец ее сам, на другой уговорил встать Володю. Гармашу велел сильнее разогнать машину и ехать прямо на кучу.

Гармаш отъехал подальше и сильно разогнал машину. Стройный Георге, подбоченясь, гордо стоял на конце лопаты. Его внешность особенно выигрывала по сравнению с маленьким, тщедушным Володей, который откровенно был озабочен лишь тем, чтобы не упасть. Лопата со скрежетом врезалась в кучу земли, машина рванулась и встала: задние колеса забуксовали. От сильного толчка и Георге и Володя полетели головой вниз в пустой раскоп.

Вылезли они оттуда красные, помятые, смущенные и молчаливые. Впрочем, Володя смущался лишь за компанию — не он же был изобретателем этого самодельного бульдозера.

Гармаш с отвращением отвязал ограду от бампера и негромко, но внятно сказал, обращаясь к радиатору своей Коломбины:

— Когда ребята-студенты валяют дурака на потеху людям, это еще туда-сюда. Но, когда взрослый человек, начальник экспедиции, их поддерживает,— это...— и от избытка чувств пожал плечами.

Коломбина благородно молчала. Володе, Георге и мне тоже как-то не хотелось вмешиваться в этот разговор.

К счастью, из-за холма показался заблаговременно вызванный Гармашем бульдозер.

— Куда ты едешь?! — снова принялся командовать

воспрянувший духом Георге.— Я тебе говорю, заезжай с этого бока.

Машинист бульдозера покорно повернул, бульдозер своим сверкающим ножом прорезал кучу, и первые комки слежавшейся земли с глухим шумом упали на дно пустого раскопа...

А на другой день отряд разведки, который по моему распоряжению уже две недели работал в бассейне Прута, сообщил, что в сорока километрах от Бокан, в селе Малаешты, Рышканского района, открыт могильник несколько более позднего времени, чем Боканский,— IV или, может быть, начала V века нашей эры. Появилась возможность заглянуть в еще одну, пока не прочитанную страницу истории Молдавии. И, несмотря на неудачу с засыпкой раскопов, я спокойно доверил раскопки этого могильника бывшему боканскому отряду...



«ВЕЧНО ЖИВИ, ПРЕКРАСНЫЙ!»

В могиле лежал скелет. Это был рослый, сильный мужчина лет сорока—сорока пяти. Так установили наши антропологи. Фаланги пальцев его правой руки покоились на рукоятке длинного железного меча. Грудь когда-то прикрывал щит. От него сохранилась бронзовая оковка и железный умбон — коническая бляха, которая набивалась в центр щита и служила для отражения прямых

колющих ударов. На плече лежала бронзовая фибула — фигурная застежка для плаща. Она имела форму полукруга и ромба, соединенных выгнутой дужкой. В ногах и в изголовье стояли сосуды. Вот сосуд для вина — красная амфора с двумя высокими ручками и изящной ножкой. А вот тусклым металлическим блеском отсвечивают острые ребра высокого кувшина. Но он сделан не из металла, а из глины. Это только подражание в глине металлической посуде. Местная работа. А рядом — миски, чашки, вазы... Но что это? Внутри самой большой миски что-то вдруг блеснуло, засветилось зеленовато-оливковым светом с нежным перламутровым переливом.

Это совершенно целый стеклянный конический кубок.

Вот так удача!

Не будем торопиться. Часа три ушло на расчистку кубка кисточками, скальпелем, пульверизатором. Наконец очищенный даже от самой малой пылинки, кубок вынут и стоит на столе внутри брезентовой палатки.

Как совершенна и изящна форма кубка! Как строг и выразителен орнамент, покрывающий его стенки, — ни одной лишней детали, все просто и лаконично. Внизу — четыре больших выпуклых зашлифованных овала. Над ними — выпуклые кружки с ободками, а на самом верху, между двумя врезными полосками, надпись. Да, да, именно так — надпись.

Вот это уж удача из удач. Мы обязательно прочтем надпись. Мы услышим живой голос человека, жившего более полутора тысяч лет тому назад.

Даже беглого взгляда на кубок достаточно, чтобы определить, что он сделан в лучших традициях позднего античного искусства.

Но что же гласит надпись?

Нет, нельзя торопиться. Надо прежде всего специальными химическими препаратами скрепить, законсервировать этот кубок. Если этого не сделать сразу же, возможно несчастье, даже катастрофа. Вещь, пролежавшая сотни лет глубоко в земле без доступа воздуха, при постоянной температуре, извлеченная на свет, кажется несокрушимой. Но иногда это лишь обманчивое

впечатление: вскоре она становится хрупкой и одно неосторожное движение может превратить ее в прах.

С горечью вспоминаю я один из таких случаев.

Девушка-лаборантка, впервые попавшая на раскопки, увидела только что отрытый бокал из рубинового стекла и в восторге схватила его в руки. Бокал рассыпался в стеклянную крошку. Счастье, что до этого его успели хотя бы сфотографировать...

С трудом заставив себя не смотреть на кубок, я попросил нашего реставратора:

— Юра, тщательно изучи кубок, законсервируй его так, чтобы не было никакой опасности,— и, не в силах сдержать нетерпения, добавил: — Как ты думаешь, когда он будет готов?

— К вечеру все будет в порядке,— заверил Юра.

В эту тихую долину, где теперь велись раскопки, наш маленький отряд попал не случайно.

Во время разведок в северо-западной Молдавии на вершине крутого холма, поросшего жесткой травой и колючками, мы увидели статую из серого гранита. Грубо высеченная фигура изображала бородатого мужчину с мечом у пояса. Гранит потрескался, и в щелях его ютились тысячи божьих коровок. Когда днем они вылезали на солнце погреться, казалось, что вся статуя покрыта кровавыми пятнами.

Судя по стилю, статуя была сделана во времена раннего средневековья. Но это и все, что можно о ней сказать. А нам всем очень хотелось узнать побольше.

Мы начали расспрашивать жителей деревень, расположенных у подножия холма, и наткнулись на старика, который рассказал такую легенду, связанную со статуей:

— Когда-то всей этой землей правил могучий князь. Пришли полчища врагов, и князь со своим войском вышел им навстречу. Но слишком неравны были силы. В жестоком бою войско князя было разбито наголову. Князь, израненный, бежал. Он добрался уже до вершины холма. Осталось только спуститься на другую сторону, переплыть Прут — и он оказался бы в безопасности. За рекой начинались владения другого властителя, а с ним пришельцы тогда еще не воевали. Стоя на вершине холма, князь обернулся, чтобы бросить послед-

ний взгляд на родную землю. Но такой страшный был у нее вид, так полыхала она пожарами, так была залита кровью, что князь от горя окаменел. Подскакали враги и начали рубить князя саблями. Но сабли ломались о гранит, и враги уехали ни с чем...

Конечно, легенда — не показания магнитометра, фиксирующего скопление железа в древней могиле.

И все же она так поразила наше воображение, что мы дали слово не уходить из этих мест, пока не найдем следов битвы.

Шаг за шагом, методически обследовали мы вокруг холма все места, где могли находиться древние могильники. И в конце концов нашли. Правда, нашли с помощью колхозников: они начали копать котлован в одной из долин и наткнулись на человеческие кости...

Недалеко от реки Прут расположен хутор Мартени. На берегу небольшого ручья стоят три белых домика. На хуторе всего двадцать жителей.

Но вот появились и новые поселенцы. Приехали большие запыленные фургоны археологической экспедиции. За два часа возле беленых хат вырос целый городок. Ровными рядами встали зеленые палатки. Под брезентовым навесом расположились чертежники и художники с большими досками. На равнину вышли люди с теодолитами и рейками, с блокнотами и лопатами.

Хутор стоит посередине небольшой зеленой равнины. Со всех сторон обступили эту равнину пологие спокойные холмы.

В день приезда нас прежде всего поразила мирная, необыкновенная тишина. Кажется, тысячи лет никто не нарушал эту тишину, никто не мешал труду людей этой равнины, все грозные и величественные события мировой истории проходили где-то далеко в стороне, и даже отдаленное эхо их не доносило сюда...

Это впечатление оказалось обманчивым.

Во время раскопок мы нашли остатки древнего поселения и могильника. Люди жили здесь очень давно: в III, IV, может быть, в начале V века нашей эры — более полутора тысяч лет тому назад. Это был поселок земледельцев и ремесленников. Но в те времена мирным людям угрожало много врагов. Сражались между

собой племена славян и готов. Яростные орды степных кочевников-гуннов, появившиеся в этих местах в конце IV века, носились на маленьких мохнатых лошадях, меча тучи стрел, сметая и сжигая все на своем пути. Уже дряхлеющий, но все еще страшный в своем величии исполин — Римская империя — нес рабство и смерть покоренным народам...

И вот на древнем кладбище в припрутской степи вместе с могилами крестьян и ремесленников появились и могилы тяжеловооруженных воинов. Чтобы жить мирным трудом, нужно было уметь охранять этот труд...

Значит, легенда, рассказанная стариком, в основе имела подлинные события. Здесь жили воины, здесь были битвы...

Одна за другой стали открываться могилы воинов и их оружие — тяжелые граненые копья, длинные узкие мечи, кривые ножи...

А сегодня в только что открытой могиле воина обнаружился этот кубок.

Вечером, когда все археологи собрались у стола в большой палатке, Юра торжественно поставил кубок на стол и заявил:

— Ну вот, теперь он крепче, чем новый.— И тут же честно добавил: — Правда, он таким и был. Удивительная работа и удивительная сохранность.

Но Юру уже никто не слушал. Все склонились над кубком.

Судя по форме, технике выделки, стилю орнамента, кубок был сделан в знаменитых стеклорезных мастерских в римской колонии Агриппины, которая находилась там, где сейчас расположен город Кельн. Эта колония получила свое имя в честь Агриппины — жены императора Клавдия и матери Нерона, которая родилась там, когда это был еще просто военный лагерь. Потом лагерь превратился в цветущий город, в нем были широко развиты различные ремесла, в том числе и художественные. Именно из его стеклорезных мастерских и вышел наш кубок. Но вместе с тем город был и главной твердыней римского владычества на Рейне, местом, откуда постоянно совершались и направлялись грабительские походы для захвата рабов, скота и дру-

гих ценностей. Замечательные мастера и художники, работавшие в колонии: ткачи, кузнецы, гранильщики драгоценных камней, золотых дел мастера, стеклорезы, чеканщики по серебру и другие — были бесправными рабами. В конце IV века город был взят племенем франков. В ожесточении битвы погибали многие художественные и культурные ценности, были разрушены великолепные, веками сложившиеся традиции высокого мастерства.

Погибла и замечательная стеклорезная мастерская в колонии Агриппины. Это произошло в конце IV века. Наш кубок, судя по всему, был сделан перед самой гибелью мастерской. Об этом говорят и вещи, найденные в могиле вместе с кубком, и некоторые особенности стиля кубка.

Удивительно изящен его орнамент и надпись, которая идет по самому верху между двумя резными полосками.

Надпись гласит: «Вечно живи, прекрасный!»

Эта надпись служит и верхним орнаментальным фризом кубка.

Мы не знаем, к кому была обращена надпись — к самому кубку или к тому, для кого он предназначался. Но если надпись была обращена к самому кубку, то пожелание его творца сбылось, хотя это и может показаться невероятным.

В тот вечер в экспедиционном лагере мы наполнили этот кубок молодым молдавским вином и по очереди отпили из него.

Конечно, это не соответствовало правилам строгой науки, но просто невозможно было удержаться.



ТАЙНА ЧЕРНОГО ГОРОДА

Сразу, как только мы переехали мост, ухабистая дорога резко и круто, под углом градусов в тридцать, взмыла кверху. Наш новый шофер остановил машину и с недоумением посмотрел на меня.

— Давай, Саша! — донесся из кузова голос Павла. — Включай передок. Не стесняйся!

Саша машинально завел мотор, а потом, спохватившись, опасливо спросил:

— А еще покруче дороги нет?

— Это единственная. Мы по ней не первый год ездим. А что, страшно?

— Да нет,— с достоинством ответил Саша.— Просто на дорогу не похожа.

Он и в самом деле включил дополнительную передачу, и наш «ГАЗ-63», рыча, полез по узкой, пробитой в коренном берегу дороге все выше и выше, все круче и круче. А вокруг, раздвигая каменный занавес оврага, разворачивалась никогда не надоедавшая нам панорама: медное, извивающееся тело Днестра, рассеченное узким лезвием моста, белоснежные громады известкового карьера, под которыми висят серые облака взрывов, просвечивающие сквозь густую зелень синие и белые коробочки домов, тонкая блестящая нитка железной дороги на дне оврага.

Но вот машина тяжело перевалила через последнюю кручу. Четырехсотметровый подъем остался позади, и мы въехали на коренной берег.

Саша заметно повеселел, да и машина легко и быстро покатила по ровному плато среди кукурузных и табачных полей.

Затем ландшафт снова изменился. Низкие, пологие холмы, узкие лощины, разбегающиеся в разные стороны и снова сливающиеся друг с другом. Слева показался темно-зеленый Алчедарский лес. Он плавно спускался с холмов к полевой дороге. Видна была густая тень под кронами вековых дубов и буков. От этого, казалось, стало прохладнее. Повеяло свежестью и острым, горьким запахом опавшей листвы. Даже сам воздух, такой безжизненно раскаленный, пыльный, нейтральный на берегу, стал пахучим, плотным и емким.

Неяркая, неброская красота. Мягкие переливы зелени от светлых тонов молодой кукурузы, изумрудных виноградных кустов до чеканной темной дубовой листвы.

Городище возникло внезапно. На мысу у слияния двух лощин показался крутой изгиб вала, мощным кольцом огибавший плато. Оно сразу преобразило все вокруг. Оно наполнило эту тихую долину гордой памятью тысячелетий, придало смысл всему окружающему.

Машина почти у самого подножия городища резко свернула влево и вверх к лесу. Здесь, среди молодых деревьев опушки, у высокой мачты с флагом экспедиции, раскинулись палатки, под навесом дымила лагерная кухня, стояли алюминиевые столы архитекторов и чертежников, длинный обеденный дощатый стол, окруженный брезентовыми стульями и лавками...

Такая знакомая до мельчайших деталей картина, и все же каждый раз, когда я возвращался в Алчедарский лагерь, радостное предчувствие охватывало меня.

Лагерь жил обычной жизнью. Пока Витя и Павел разгружали бутыли с муравьиной, серной и соляной кислотами, банки с едким натром и другие припасы для нашей походной лаборатории, я пошел к городищу посмотреть, что нового на раскопках. У подножия вала тонкой струей лилась и лилась чистая, холодная родниковая вода. Она лилась так, наверное, уже много сотен лет, и древние обитатели городища, как и мы сейчас, пили эту воду. Только тогда вода не была заключена в железную трубу да не стоял возле родника монумент из красного гранита с надписью: «Славянское городище Алчедар. Находится под охраной государства». Впрочем, монумент был поставлен только два года назад, когда наши раскопки позволили определить, какой это ценный памятник.

Возле родника две девушки мыли обломки древней керамики. Вымытые фрагменты сушились в тени на листах фанеры. Я поздоровался.

Русоволосая Ленуца, с притворной скромностью опустив глаза, спросила:

— Георгий Борисович, почему у Павла Петровича сегодня такая плохая керамика?

— Чем плохая, Ленуца?

— А вот раньше на всех раскопах была красивая с полосочками, и у Павла Петровича тоже. А сегодня у него какие-то кособокие горшки, толстые. Прямо мыть не хочется. Все в трещинах. А обожжены-то как! Будто их не гончар, а пьяный орарь в печке жег!

Соня, проворно мывшая керамику рядом с Ленуцей, прыснула, покраснела и закрыла лицо руками. А Ленуца сохраняла невозмутимую серьезность. Я осмотрел черепки и ответил:

— Да ты прямо открытие сделала! Эти горшки действительно изготовил не гончар, а простой крестьянин. Только не пьяный, а неумелый. Он лепил их руками, а не формовал на круге. И обжигал действительно в обычной печке, а не в горне. Это потому, что, когда он жил, еще не было гончаров. Выходит, что люди здесь поселились лет на двести—триста раньше, чем построили городище. Вот в десятом веке, когда городище построили, тогда уже всю посуду делали гончары. Это ты молодец, что заметила разницу в посуде.

Когда я поднимался по крутому склону вала, только что кончился пятиминутный перерыв. На гребне показался Георге. Вытянув вперед правую руку, он крикнул: «Сус!» («Наверх!») По этой команде человек тридцать обнаженных по пояс, загорелых здоровяков поднялись на насыпь вала и стали на квадраты.

— Георгий Борисович! — увидев меня, закричал Георге.— Вал прорезан на глубину почти пять метров. Скоро подойдем к основанию насыпи.

— Что в насыпи?

— Пока никаких конструкций. Вообще почти ничего нет. Только отдельные фрагменты древнерусской керамики.

— Сейчас особенно важен каждый фрагмент,— сказал я, поднявшись на гребень.— По фрагментам, которые будут найдены в нижней части основания насыпи, можно будет определить время сооружения вала.

— А я вам говорю,— запальчиво отозвался Георге,— сейчас каждый фрагмент нужно смотреть. По тем, которые найдем в подошве, будем знать, когда городище построено!

— Да, да! — поспешно ответил я.— Ты совершенно прав.

Удовлетворенный, Георге спросил:

— Сколько человек могло жить на городище?

— Трудно сказать. Судя по размерам плато и по открытым жилищам — человек двести — триста, не больше.

— Ну и пришлось же им попотеть, чтобы такой вал насыпать. Да еще вокруг ров выкопать! Вот мы уже два месяца роем, а все никак узенькую траншею не пробьем!

Это и в самом деле было странным. Чтобы с техникой IX—X веков соорудить такой вал и ров, нужны были не десятки, а тысячи рабочих рук. Неужели все ближайшие славянские поселения, открытые нами, находились на расстоянии шести—восьми километров от городища?

Допустим, что вал возводили жители этих поселений. Но тогда в случае нападения врагов им не удалось бы воспользоваться плодами своих трудов. Пока они добирались бы к городищу под защиту вала, враг настиг бы их десятки раз. Кто же строил? Основным тружеником в то время был свободный общинник... Но тогда... где они жили?

С гребня вала хорошо были видны большие прямоугольники раскопов, разбитых колышками на квадраты.

Павел Петрович Барня уже успел встать на свой раскоп.

— Смотрите, Георгий Борисович,— сказал он, разворачивая пакеты с находками,— пока мы с вами ездили, Таня тут такое открыла! Угадайте что?

Таня, помощница Павла,— студентка третьего курса, застенчивая тоненькая девушка — бросила на своего начальника неодобрительный взгляд и покраснела. Я для пущего эффекта выждал несколько секунд, изображая мучительное раздумье, и наконец сказал:

— Сдается мне, что Таня открыла лепную славянскую керамику шестого—седьмого веков. Значит, славяне поселились здесь еще задолго до сооружения городища. Так?

— Так! — с изумлением ответил Павел.— А откуда вы узнали?

— Плохо подбираете кадры, товарищ Барня,— ответил я.— Среди ваших рабочих завелись предатели. Ленуца Цуркан заметила, что изменилась керамика, и очень точно описала лепные горшки. Так-то вот. А ты обрати внимание на эту девушку. Она очень наблюдательна. Может археолог получиться.

— Один — ноль в вашу пользу,— приуныв, ответил Павел, но тут же воспрянул духом.— Тогда посмотрите, что мы еще нашли в этом слое.

И, взяв у Тани планшет, показал мне план пласта. На нем среди других названий я увидел название уди-

вительной находки: византийская бронзовая монета VI века. Глубина 168 сантиметров. Вот это да! Монета даст возможность определить время всего слоя с точностью до нескольких десятков лет. Эта монета чеканена, видимо, при императоре Юстиниане. Она мало потерта. Ну, некоторое количество лет могло пройти, прежде чем она попала из Византии в Алчедар. А все же это произошло именно в VI веке. Вряд ли бронзовую монету могли специально беречь столетиями. А кроме того, это хотя и единичное, но указание на связи жителей Поднестровья с Византией уже в VI веке!

Ну что ж, посмотрим, что будет дальше в этом слое...

Стенки раскопа Иона Георгиевича Друцу безупречно вертикальны, дно ровное, как паркет. На дне зачищена полоса из грубо обитых известняковых камней, ограничивающая замкнутый прямоугольник площадью метров в двадцать. Возле одной его стороны продолжалась расчистка груды обожженных камней и глины — остатков печи. Ион Георгиевич поздоровался, протянул мне наковаленку, молоточек, клещи, несколько пробойников, зубильца. Все они были удивительно маленькие, как игрушечные.

— Набор инструментов ювелира,— спокойно сказал Ион.— И дата точная. Судя по керамике — десятый век.

Еще два года назад мы нашли на городище мастерскую тоже с набором таких же миниатюрных инструментов, да еще с тигельком для плавки серебра и бронзы, нашли серебряную проволоку, несколько готовых и еще не законченных браслетов и другие украшения. Вот и второй ювелир на городище...

Когда я уходил с раскопа, Ион вместе со своими рабочими, среди которых было много еще совсем юных школьников и школьниц из окрестных сел, саперными лопатками, ножами и кистями расчищали каменную отмостку стен мастерской ювелира. И он короткими, точными движениями снимал тоненькие пластики земли и одновременно что-то говорил помогавшему ему рабочему Пéтре — вихрастому пареньку в синей рубашке с белыми горошинами.

Что же, Ион, ты сам начинал так. Ты сам учился в этой же сельской школе, может быть, сидел именно за той изрезанной, облупленной партой, за которой теперь

сидит Петре. И может быть, Петре, как ты сейчас, пройдя долгий и трудный путь, станет кандидатом исторических наук, одним из лучших археологов Молдавской академии и нашей экспедиции...

После обеда Витя дал мне очищенную византийскую монету. Она теперь блестела как новенькая, изображения и надписи были отлично видны. Да, это фоллис Юстиниана, чеканенный в 536 году вторым монетным двором в Константинополе.

— Нормально! — похвалил я Витю.— Очень важная находка, и ты как нужно ее очистил.

— Да. Очень важная,— как-то странно ответил Витя.

— Что с тобой? — удивленно спросил я.

— Да так, ничего,— махнул рукой Витя,— просто едким натром в лаборатории надышался. Железа много варил.

— Может, полежишь?

— Да нет, перебьюсь,— все так же странно ответил Витя.

Я знал этого удивительно правдивого веселого юношу еще с того времени, когда он учеником шестого класса впервые пришел в нашу экспедицию и стал рабочим. Знал и студентом и теперь, когда он уже



археолог с высшим образованием, работаю с ним вместе. Мне всегда казалось, что мы с ним очень близки и откровенны. А тут вдруг появилась у него какая-то отчужденность, чуть ли не враждебность. С трудом подавив желание расспросить, в чем дело (сам расскажет), я сказал:

— Пойдем к столу. Есть интересное сообщение.

Все археологи отряда, а также наши архитекторы, художники и другие сотрудники уже сидели за длинным столом.

— Сегодня обсуждение полевых дневников, чертежей и находок отменяется. Обсудим завтра,— начал я.— Дело в том, что Президиум Молдавской академии утвердил наше совещание с румынскими археологами. Оно начнется через две недели — восемнадцатого августа, здесь в Алчедарском лагере. Предложено провести его не просто как совещание, а как первый советско-румынский семинар по археологии.

Георге радостно воскликнул:

— Вот это здорово! Международный семинар в нашем лагере!

— В семинаре примут участие все румынские товарищи, работающие у нас в экспедиции,— продолжал я,— пригласим сотрудников кишиневских и одесских музеев. Пригласительные билеты, отпечатанные в типографии академии, уже готовы.

— Почему же их так много? — удивленно спросил Павел.— Тут сотни две, не меньше!

— Да так, отпечатали с запасом.

— Зачем пропадать билетам? — вмешался Георге.— Давайте разошлем их в разные археологические учреждения и музеи. Чем больше приедет людей, тем интереснее.

— А что, если все приедут? — осторожно спросил Ион.

— А я тебе говорю, что не приедут,— тут же завелся Георге.— Сейчас август — разгар полевого сезона. Все на раскопках. А билеты разошлем для информации и в знак уважения к нашим коллегам.

Большинство поддержало его. Решили разослать все билеты. Выбрали докладчиков. Наметили программу подготовки к семинару.

Все последующие дни, помимо работы по раскопкам, готовились к докладам.

И вдруг начало происходить нечто в высшей степени неожиданное. Из различных городов в ответ на разосланные нами приглашения стали приходить благодарственные телеграммы с сообщениями о приезде. Сначала мы очень обрадовались — семинар обещал быть весьма представительным. Когда телеграмм оказалось тридцать, стали беспокоиться, а когда количество их перевалило за восемьдесят, пришли в ужас.

Я срочно вызвал всех начальников отрядов, и совет экспедиции стал бурно обсуждать создавшееся положение. А положение было незавидным. Мы подсчитали, что вместе с сотрудниками экспедиции, археологами из Румынской Академии наук, работавшими в наших отрядах, и принявшими наши приглашения лицами на семинаре окажется около полутораста археологов. Палаточный Алчедарский лагерь, раскинутый в лесу, не был приспособлен для такого количества людей. О перенесении семинара в Кишинев нечего было и думать. Для этого у экспедиции не было средств. Георге, командированный нами в Кишинев с просьбой о помощи, привез оттуда молдавское и румынское знамена и с десяток художественно выполненных на кумаче лозунгов на русском и румынском языках, вроде: «Бине аць венит!» — «Добро пожаловать!» Знамена подняли на импровизированных флагштоках рядом с экспедиционным флагом, лозунги развесили на территории лагеря между деревьями. Но от этого наше положение не стало более легким.

Отступать было некуда. В Алчедарский лагерь были вызваны все отряды экспедиции вместе со своими поварами, стянуты все автомашины. Повара под руководством нашего старейшего шофера Гармаша трудились, сооружая дополнительные печи, и колдовали над «международным» меню. Таня, Витя и Павел привезли из ближайшего интерната (благо были каникулы) сто кроватей, одеяла, простыни, подушки. Ион из той самой сельской школы, где он когда-то учился, добыл столы, стулья, скамейки, грифельные доски, которые мы решили использовать под стенды. Поставили пятьдесят палаток. Георге из районного центра вернулся во главе

целого каравана. За его машиной катили на передвижных автолавках, удивленно обозревая будущее поле деятельности, продавцы и буфетчики.

А раскопки городища не прекращались. Окончательно была расчищена мастерская ювелира. Там было найдено много изделий, куски медной и серебряной проволоки. На новом раскопе у Павла показались остатки мастерской оружейника, в которой были найдены различные стрелы, еще недоработанный до конца меч, пластины от железного доспеха, инструменты...

Как могли, подготовились мы и к открытию семинара.

И вот наступил вечер перед открытием. После того как были отданы последние распоряжения, проведена последняя проверка, я поднялся на вал городища и присел отдохнуть. На противоположном склоне лощины, где находился лагерь, зажигали фонари и лампы. Между острыми, геометрически точными силуэтами палаток и причудливо изогнутыми деревьями то здесь, то там мелькали огоньки. Вечерний туман рассеивался, на вольный разлив алчедарской долины мягко спускалась спокойная тишина...

Первый раз я увидел эту долину много лет назад, в 1950 году. Этому предшествовали и к этому привели долгие раздумья и поиски...

В древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», составленной в XII веке в столице древнерусского государства — Киеве, перечисляются четырнадцать восточнославянских племен, из которых образовалась древнерусская народность. Совершенно ясно, как важно изучить каждое из этих племен — то слагаемое, из которых была создана Русь, ее государственность и культура. В летописях о каждом из этих племен сказано немного, но изучены они почти все относительно неплохо. Важнейшую роль в этом изучении сыграла археология. Так как летописец обычно связывал места поселения племен с определенной рекой, то нам, археологам, было от чего оттолкнуться в начале своих поисков. И вот удалось открыть поселения и могильники восточнославянских племен, установить, что летопись совершенно правильно указывала районы размещения, что для каждого племени были характерны только ему

присущие формы женских украшений и некоторых других изделий, изучить их культуру, проследить процесс слияния этих племенных культур в одну общерусскую. Это удалось сделать почти для всех восточнославянских племен.

Почти для всех, но не для всех. Поселения и могильники самого западного из них — тиверцев, несмотря на многие усилия, которые предпринимались еще с 1837 года, открыты не были. И в летописи о них почти ничего не сказано. Летописец сообщал, что поселения тиверцев простирались по Днестру, доходя на запад до Дуная, а на юг — до Черного моря, что вместе с киевскими князьями тиверцы совершали дальние походы на столицу Византийской империи — Константинополь. У них, как писал летописец, «и до сего дне», то есть до начала XII века, когда составлялась «Повесть временных лет», имелись города. Но это и все. А ведь изучить тиверцев было особенно важно. Они были юго-западным форпостом Древней Руси, через их земли проходили пути, связывающие Русь и с Византией, и с западными и южными славянами, и с другими юго-западными соседями.

Где, когда и как они жили, какова была их культура, их историческая судьба? Какое отношение имеют они к теперешнему населению большей части Поднестровья — молдаванам? На все эти и другие интереснейшие вопросы ответа не было.

Почти каждый русский историк, писавший о времени образования древнерусского государства, говорил о том, как важно найти археологические памятники тиверцев. Однако все поиски неизменно оказывались неудачными. В трудах ученых стали проявляться сомнения и скептицизм. Одни утверждали, что летописец ошибся, что тиверцы либо вообще не жили на Днестре, либо были здесь лишь кратковременными пришельцами, не оставившими никакого следа. Другие почему-то утверждали, что тиверцы были скифами, тюрками, даже немцами-тюрингами, конгломератом различных племен — словом, кем угодно, но только не славянами. Бесплодные споры о тиверцах в Российской императорской Академии наук даже послужили известному поэту Аполлону Майкову материалом для острой и злой сатиры.

В конце концов за тиверцами в науке прочно закре-

пился эпитет «загадочные», поиски были прекращены, а вся проблема тиверцев отнесена к разряду интересных, важных, но практически неразрешимых...

Мысль о том, что эта проблема все-таки разрешима, появилась у меня не случайно. Когда археологи имели возможность проверить показания летописца о расселении того или иного славянского племени, эти показания оказывались удивительно и неизменно точными. Почему же свыше десяти раз они были точны, а только для тиверцев не точны? Кроме того, эти сведения, хотя и очень краткие, были вполне определенны. И район поселения их указывается совершенно ясно, и в походе князя Олега в начале X века на Константинополь тиверцы, по сообщению летописца, принимали участие лишь как союзники киевского князя, а в походе его преемника князя Игоря в середине X века — уже как часть основного русского войска. О городах тиверцев в летописи тоже говорится вполне определенно.

Да и не только в русской летописи.

Факты накапливались медленно, но они не противоречили друг другу, а подтверждали друг друга.

Во второй половине IX века безвестный монах одного из баварских католических монастырей составил описание европейских племен и народов. Его труд чудом сохранился до наших дней. Ныне он находится в Мюнхене. Из кельи своего монастыря, расположенного где-нибудь на лесистом горном склоне, монах смотрел зорко и видел далеко. Упоминая различные племена и народы, мюнхенский аноним давал им краткую, но очень выразительную характеристику. Впрочем, ему, ревностному католику, все люди, не признающие власти папы, представлялись врагами и исчадиями ада. Среди других упоминает монах и славянское племя тиверцев. На своей варварской латыни он называет тиверцев «популюс фероциссимус» — «свирепейший народ» и говорит, что у них было сто сорок восемь городов.

На сто лет позже, в середине X века, Византийская империя переживала последний период своего блестящего расцвета при императорах Македонской династии. Но третий император этой династии — Константин Багрянородный, вступивший на престол еще шестилетним мальчиком, до конца своей долгой жизни практически

не занимался управлением государством. Борьбу с многочисленными и могущественными врагами империи — болгарами, руссами, арабами, корсарами, германцами, дикими ордами печенегов — он передоверил решительному и смелому воину Роману Лекапину. А держать в узде разноплеменное, разноязычное население империи, состоявшее из двадцати национальностей, объединенных только одним зыбким принципом — «один император, одна вера», он поручил побочному сыну Лекапина — камергеру Василию. Сам император, облеченный божественной властью, ничем не ограниченный владыка мировой империи, совсем в другом видел свое призвание. Суетным треволнениям власти, почестей и интриг он предпочел занятия наукой, служению которой посвятил всю свою сознательную жизнь. По его инициативе была создана гигантская «Византийская энциклопедия», состоявшая из пятидесяти трех томов; его собственные работы, посвященные различным этапам истории страны, до сих пор служат ценнейшим источником знаний для всех историков Византии. Самый знаменитый труд Багрянородного — его трактат «Об управлении государством».

Военной мощи империи не хватало, чтобы отражать нападения могущественных и разнообразных врагов. Византийцы, как никто другой, умели лавировать между многочисленными народами, окружавшими империю, натравливать их друг на друга, предавать вчерашних союзников и подкупать врагов, побеждая в равной мере и силой оружия, и хитросплетениями непревзойденной дипломатии.

Но, чтобы побеждать соседние народы, их прежде всего нужно было знать, и знать хорошо. Багрянородный их знал. Он хотел передать свои знания и свое искусство своему сыну Роману — преемнику на троне. В трактате «Об управлении государством» тонкие и умные советы дипломатического, военного и административного характера перемежаются с точным описанием различных народов и племен, которые входили в круг интересов империи.

«Многолюбимый сын», как называл его Константин, не воспользовался отцовской мудростью. Бездарный прожигатель жизни, Роман во время своего недолгого четы-

рехлетнего правления предавался только безделью и кутежам. Но труд Багрянородного не пропал даром. Уже свыше тысячи лет историки многих стран изучают трактат «Об управлении государством», находя в нем все новые и новые интереснейшие данные.

Среди других племен в нем упоминаются и тиверцы — славянское племя, подвластное великому князю киевскому — главе государства руссов. Кроме того, Багрянородный сообщает, что на правом берегу Днестра в его низовьях, в пределах территории, захваченной недавно печенегами, имеется шесть опустевших городов, в которых жили христиане, по его мнению, возможно, ромеи — византийцы.

В начале XII века о тиверцах и их городах на Днестре сообщал русский летописец. Около ста лет отделяют сочинение безвестного баварского монаха от трактата блестящего византийского императора.

И снова славянские племена тиверцев, и снова города... Нет. Это не случайно!

Сохранился и другой замечательный документ — «Список городов русских дальних и ближних», составленный в XIV веке.

Четырнадцатый век... Некогда могущественное древнерусское государство давно уже распалось на отдельные феодальные княжества. Русь, окровавленная, ограбленная, униженная беспросветным столетием татарского ига, тяжко страдающая от иноземных захватчиков, от княжеских междоусобиц. Не только окраинные, но и многие центральные районы ее, даже сам Киев, отторгнуты.

Но в памяти народа, в умах лучших сынов его жила мысль о былом единстве и могуществе Руси. Один из таких людей, имени которого не сохранила история, и составил «Список городов русских дальних и ближних». Среди десятков этих городов упоминаются и такие, которые к XIV веку уже не существовали или были захвачены иноземцами.

На Днестре автор «Списка» помещает три древнерусских города: Белый город, или Белгород, в низовьях Днестра на юге (это и поныне существующий Белгород-Днестровский), Хотин — в верховьях Днестра на севере (он также существует и поныне), а между ними —

Черн, или Черный город. Но ведь в XIV веке территория между Хотином и Белгородом уже давно была оторвана от Руси. Значит, Черный город, Черн, во всяком случае как русский город, существовал до XIV века, может быть, во времена тиверцев, и безусловно на их территории. Где же он? Уже десятки лет его ищут ученые, о его местоположении высказано множество гипотез. Например, что Черн — это нынешние Черновицы. Но эта гипотеза не годится. Во-первых, Черновицы расположены не на Днестре, а на Пруте, а во-вторых, не между Белгородом и Хотином, а выше Хотина. Черн находится где-то в Молдавии, на древней земле тиверцев. Но где? Во всяком случае, он существовал, и память о нем, как о русском городе, сохранялась и в XIV веке.

Почему же безуспешными были поиски поселений тиверцев? А как их искали? Чтобы выяснить это, пришлось прочесть много опубликованных работ, изучить много архивов, в том числе архив бессарабского генерал-губернатора за 1837 год, когда впервые была сделана на территории Молдавии попытка отыскать славянские древности.

Вот какой получился вывод: тиверские поселения искали там, где их никогда не было и не могло быть.

Выражение летописца «седяху по Днестру» завораживало ищущих. Его понимали буквально — на самых берегах Днестра. Однако высокие берега Днестра, во многих местах скалистые и при современной технике не везде пригодны для земледелия, а тогда — много сотен лет назад — и подавно. А славяне, сколько их знает история,— исконные земледельцы. Зачем же они стали бы здесь селиться? Кроме того, пойма Днестра служила более или менее удобной, во всяком случае, наиболее удобной в Среднем Поднестровье, среди густых лесов, дорогой для кавалерии кочевников. А ведь именно с конца IX — начала X века и начался напор кочевников от причерноморских степей на север, вверх по Днестру.

Да, выражение летописи «седяху по Днестру» следует понимать не буквально — на Днестре, а так, как подобные выражения понимаются и сейчас,— в Поднестровье, как, скажем, «на Волге» значит «в Поволжье».

И искать поселения тиверцев — мирных земледель-

цев — следует в местах, обладающих лучшими условиями для естественной защищенности и маскировки, для земледелия и скотоводства. Изучение исторической географии Поднестровья показало, что такие места находятся на территории современной Молдавии, в лесостепной полосе, на мелких и мельчайших притоках Днестра, среди лесов и холмов, в пересеченной местности, в центральных и северных районах республики.

Поиски славянских тиверских древностей в Поднестровье следовало снова внести в план научно-исследовательской работы. Но это оказалось не так просто. Я с благодарностью вспоминаю старших товарищей, поддержавших меня, и прежде всего выдающегося слависта-археолога Петра Николаевича Третьякова. Теперь уже со спокойной улыбкой вспоминаю и скептиков, обвинявших меня в попытке затеять безнадежное предприятие, в авантюре.

Это была нелегкая борьба. Скептицизм настолько укоренился, что даже два славянских поселения, открытые на территории Молдавии, не связывались с летописными тиверцами и не изучались.

Наконец я получил право сделать попытку отыскать тиверские поселения, небольшую сумму денег на разведочную экспедицию и автомашину.

Я отчетливо представлял себе, чем может кончиться для всей этой проблемы и для меня неудача...

Я вспомнил, как, переправившись через Днестр и впервые попав на территорию Молдавии, я с ужасом переглянулся с Ростиком, моим товарищем по экспедиции, старым другом, который был со мной в этом рискованном предприятии. Я ужаснулся оттого, что не понимал археологического ландшафта и рельефа. Попав в совершенно непривычную обстановку, я не мог понять, где здесь тысячу лет назад могли жить люди, что легко определял на территории многих областей России. Но отступать было глупо, да и незачем. Я вспомнил, как были открыты первые из сорока трех, в этом сезоне тиверских поселений на мелких и мельчайших притоках Днестра, как с понятным волнением рассматривал я тиверскую посуду и другие изделия, точно такие же, как и в центральных районах древнерусского государства...

Сидя на валу Алчедарского городища, я, наверное, сильно углубился в воспоминания, потому что не заметил, как рядом со мной оказался Павел, и увидел его только тогда, когда он положил мне руку на плечо и спросил:

— Не спится, Георгий Борисович?

— Да. И тебе не спится?

Павел ответил не сразу:

— Знаете, о чем я сейчас думал? О нашем первом Алчедарском лагере. Три маленькие двухместные палаточки под ветвями вон того дуба — и первые славянские вещи, найденные на городище. Такие неказистые, поржавевшие. А у нас при виде этих находок дух захватило. А помните нас, ваших учеников, тогда? Я и Юра уже студентами были, а Витя и другие — еще школьниками?

— Как же, помню,— прервал я его насмешливо.— Помню и твой первый дневник. В нем было указано как ориентир: городище находится возле одинокой груши, к которой привязана коза.

— Ах, вот как! — парировал Павел.— А ваше полцарства за городище?..

— Мне сегодня об этом Георге напомнил, а я ему помянул его шпионско-диверсионную деятельность...

Это тоже случилось в первый год. По только что открытым древнерусским поселениям мы уже установили, что укрепленные городища обычно находятся в центре целого гнезда неукрепленных поселений. И вот мы нашли группу таких неукрепленных тиверских поселений, но никак не могли найти городище. Самым тщательным образом, концентрическими кругами прошли мы разведкой вокруг того села, где остановились. А городище все не находилось. Это было очень обидно и непонятно. Скрывая досаду, я объявил, что премирую того, кто найдет городище. Георге осведомился, какая будет премия. Я в шутку ответил:

«Полцарства за городище».

Через пару дней, как-то утречком, Георге неожиданно сказал мне:

«Полцарства — это слишком много и неопределенно. А пол-литра дадите за городище?»

«Дам, дам,— сердито ответил я.— Ты раньше найди».

Георге тут же встал, повел меня за собой и у самой окраины села показал мне открытое им городище. Пришлось выполнить условие. Но главное, обидно было, что городище-то находилось под самым носом, а мне это и в голову не приходило. И еще обидно было, что Георге меня так ловко провел. Я решил отомстить, и скоро случай представился.

Однажды, когда мы разбили лагерь на берегу Днестра, Георге отправился на другой берег в разведку. Он был облачен и снаряжен так, как, по его тогдашнему представлению, следовало быть облаченным и снаряженным истинному археологу: полувоенный костюм со множеством застежек-молний, оплечь желтый кожаный планшет, полевая сумка, фотоаппарат, на груди — полевой бинокль, на поясе — финка.

Прошло часа три-четыре после его ухода, как вдруг Павел, который пошел на Днестр за водой, прибежал с довольно озадаченной физиономией и закричал:

— Георгий Борисович, идите скорее на берег! Вас Юра зовет!

— Что случилось? Почему он сам не идет?

— Да его не пускают! — давясь от смеха, сказал Павел.

Я поспешил к Днестру и увидел на другом берегу Георге, по обе стороны которого стояли два дюжих молодца. Увидев меня, Георге закричал:

— Подумайте, Георгий Борисович! Эти дураки — сторожа с баштана — меня за диверсанта приняли! Объясните им, кто я такой.

Ага, вот в чем дело! Газеты тогда часто сообщали о поимке разных шпионов. Недавно такое сообщение было и в молдавских газетах. А пышное снаряжение Георге и навело сторожей на мысль, что он диверсант. Ну и поделом — не будь пижоном!

— Что же вы не отвечаете?! — надрывался Георге.

— А может быть, ты и вправду шпион, Георге? — прокричал я.

— Что?! Что?! — возопил не поверивший своим ушам Георге.

— Мо-жет быть, ты и впра-вду шпи-он! — раздельно повторил я. — Зна-ешь, в на-ше вре-мя ни за кого нельзя ручать-ся!

— Да как вам не стыдно! Это же безобразие! — возмущенно кричал Георге.

— Не слышу! Не понимаю, что за слово ты сказал. Повтори по буквам! — ответил я.

— Безобразие! Борис, Елена, Зоя, Ольга!..— не своим голосом завизжал через реку Георге и вдруг, обернувшись, махнул рукой и показал мне кулак.

Дело в том, что как только мы начали переговариваться, сторожа, смущенно помявшись, тут же молча ушли, а Георге в азарте нашей полемики этого и не заметил.

Мы с Павлом посмеялись над забавными происшествиями первого сезона работы экспедиции, а потом вспомнили следующий сезон и раскопки Екимауц — небольшого, хорошо укрепленного городища, прикрывавшего доступ к Алчедару с юга, со стороны причерноморских степей. Это были удивительные раскопки. Когда мы сняли верхний дерновый покров, то на всем плато увидели уголь, золу, развалины сожженных жилищ, скелеты людей и лошадей в самых неестественных позах. Из позвонков их мы вынимали застрявшие там железные наконечники копий и стрел. Скелеты лежали и под развалинами сгоревших деревянных срубов — городен, кольцом окружавших плато городища по гребню вала. Перед нами открылась картина мирного труда, внезапно нарушенного нападением врагов, картина гибели в огне пожара и неравной битве жителей этого городища. О силе огня, бушевавшего в последние часы жизни на городище, свидетельствовало многое, например растрескавшиеся от нестерпимого жара огромные известняковые жернова и миниатюрные изящные сердоликовые бусины; об ожесточении битвы — скелеты погибших людей, которые мы находили не только на валу и плато городища, но и среди развалин жилищ, а также сотни стрел, копья, боевые топоры, кистени, сабли, булавы и другое оружие.

Вот у входа в жилище и мастерскую кузнеца лежит скелет мужчины с подогнутой под спину левой рукой. Череп его раздроблен. Рядом — железный боевой топор с узким и острым лезвием. В самом жилище — женский и детский скелеты. Здесь погибла семья кузнеца. Внутри жилища мы нашли наковальню, молот, клещи, на-

пильник, зубило и другие орудия труда кузнеца, железный нож от плуга — чересло, еще не законченные, не откованные полностью ведерные дужки. Уцелел даже горшок с просяной кашей. Каша обуглилась в огне пожара и потому сохранилась до наших дней.

Серебряный продолговатый слиток, русская монета — гривенка и серебряные среднеазиатские монеты — диргемы, бывшие тогда в большом ходу на Руси, позволили точно определить, что роковая для жителей городища битва произошла в первой половине XI века. По типам стрел и другого оружия мы установили, что на городище напали кочевники-печенеги, продвигавшиеся тогда из Поднепровья к Дунаю. Богатый, развитой ремесленный и торговый город перестал существовать в течение нескольких часов. Ничто или почти ничто из него не было вынесено, все осталось на тех самых местах, на которых находилось, когда разразилась катастрофа.

Трагедия, разыгравшаяся на этом городище девятьсот лет назад, была величайшей удачей для археологов. Мы получили бесценный по своей разносторонности и выразительности материал, по которому можно было судить обо всей материальной культуре и хозяйстве древнерусского населения Поднестровья. Мы имели в своих руках все орудия труда, от тяжелых молотов до волочила — сложного инструмента для изготовления проволоки из серебра и бронзы, все виды оружия и бытовых предметов, все типы украшений — от изящных наборных серебряных серег в виде виноградной грозди до различного вида бронзовых перстней, браслетов и стеклянных бусин. Мы могли воочию увидеть и тот общерусский характер, который имела культура славян Поднестровья, и те ее черты, которые были характерны именно для тиверцев. Это были удивительные раскопки, которые определили для многих принимавших в них участие студентов дальнейший жизненный путь.

А теперь восемь отрядов экспедиции изучают археологические памятники Молдавии от времен античности до позднего средневековья, а бывшие рабочие и практиканты стали настоящими археологами, умелыми руководителями отрядов, и Павел Барня далеко не последний из них...

— Пора спать, Павел,— с трудом оторвавшись от воспоминаний, сказал я.— Завтра утром начнется большой день.

Павел встал и спросил:

— А вы?

— Я еще посижу. Хочу подумать о своем докладе.

После ухода Павла я действительно стал обдумывать доклад на семинаре. Уже несколько лет как Алчедарское городище — один из главных, если не главный объект работы экспедиции. Естественно, что доклад, посвященный итогам его раскопок, будут ждать с большим интересом. А то, что семинар будет работать у самого подножия городища, еще больше подогреет этот интерес. Доклад должен не обмануть ожиданий. А готов ли я к этому? Не как статистик, не как полевой археолог, сообщающий отчетные данные, а как историк, умеющий на основе анализа тысячи фактов воссоздать реальную картину жизни давно ушедших людей, понять законы развития этой жизни, ее основы? Раскопана уже значительная часть городища, а далеко не все еще ясно. Я попытался представить себе, как сотни лет назад в эту же ночную пору здесь, на валу, стоял за дубовым забором часовой. За его спиной только маленькая горсточка людей. И вокруг непроглядная темень, из которой каждую минуту могут нагрянуть непрошеные гости. На помощь надежда плохая — пока еще подоспеют люди, живущие за десятки верст отсюда, в деревнях... Да, нелегко ему было...

Впрочем, и у меня не все просто. Столько сделано замечательных находок, а все вместе как-то не складывается. Непонятно даже, что же это в общем за городище? Неужели и русский летописец, и баварский аноним называли именно эти маленькие укрепленные поселения городами? Но, может быть, мне это кажется странным только из-за невольного сопоставления с современными городами? Город... А ведь и таинственный Черн, Черный город, потерянный сотни лет назад, тоже должен находиться где-то здесь, поблизости. Уж не сижу ли я на его валу? Для этого есть некоторые основания. Впрочем, хватит фантазировать. Это маленькое, сто метров в диаметре городище — скорее всего, просто одно из пограничных укреплений древнерусского государ-

ства. Ну хорошо. Допустим, что так. Но не излишняя ли тогда роскошь на маленьком пятачке, где все должно быть подчинено обороне, заводить две ювелирные мастерские? Да, далеко еще не все ясно.

Вдруг совсем близко я услышал негромкие знакомые голоса. Что за черт! Оказывается, далеко не я один не сплю в эту ночь.

— Ваня, я хочу уйти! — пробормотал Витя.

— Куда, на озеро, что ли, искупаться? — лениво спросил Ион.

— Нет. Ты меня не понял. Совсем уйти из экспедиции. Пойду работать на завод. Кем угодно. Чернорабочим.

После довольно долгого молчания Ион спросил:

— Почему?

В ответ послышалась страстная, бессвязная речь Вити:

— Понимаешь, это очень здорово — то, что мы делаем. Это черт знает как интересно — открывать все время новое и новое. Но жизнь, настоящая жизнь проходит мимо. Что мы ей даем, этой жизни? Люди строят дома и спутники, люди готовятся к полету на Луну, люди пишут книги о нашем времени, снимают фильмы. А мы что? Для нас все это только в свободное время. Мы только зрители нашего времени, нашей собственной жизни!

— Ты что же? Восьмой год работаешь в экспедиции, а до сих пор не знаешь зачем? — с недоумением спросил Ион.

— Только не вздумай читать мне лекцию о значении археологии,— раздраженно отозвался Витя.— Это все я и без тебя знаю. А вот лучше подумай: мы изучаем Алчедарское городище. А ведь его могли изучать сто лет назад, могли бы, если бы не мы, изучать и еще через сто лет. Не к спеху. Все равно ничего б не изменилось. А вокруг спешат, стараются сказать, сделать то, что сейчас, именно сейчас до зарезу нужно людям. Понял?

— Вот ты о чем,— протянул Ион.— Ну, тогда ответь. Нужно было вообще изучать Алчедарское городище?

— Вообще-то, конечно, нужно. Все представление о

средневековой истории Молдавии изменилось из-за этого. Но я же не об этом. Ты что, нарочно, что ли, не хочешь понять?

Но Ион [illegible]руцу, не отвечая на вопрос, тихо сказал:

— А как ты думаешь, если то, что нужно было сделать сто лет назад, нужно сейчас, нужно будет через сто лет, мы с тобой сделали именно теперь, то чему мы служим? Какому времени, каким людям?

На городище стало совсем тихо, только слышна была рассыпчатая дробь кузнечиков в траве.

— Что ж, молчишь? — после бесконечной, казалось, паузы спросил снова Ион.

— Думаю,— каким-то бесцветным голосом ответил Витя.

— Ну, думай, думай,— с легкой насмешкой сказал Ион.— Только не проспи подъем. Сам знаешь — начальнику раскопа опаздывать не к лицу.

Голоса затихли, и я увидел два силуэта: высокий, стройный — Иона и приземистый, широкий — Вити, спускавшихся с вала.

Да... Вот тебе и сильный коллектив! Нет, еще совсем не время заниматься воспоминаниями... Еще рановато подводить итоги. Ну что ж, утро вечера мудренее. А Ион дал правильный совет. Он относится не только к начальникам раскопов. Начальнику экспедиции тем более не годится опаздывать к подъему...

Утро было солнечным и теплым. На флагштоках развевались знамена. Лагерь стал нарядным. С самого рассвета на открытие семинара потянулись зрители — жители окрестных сел, которые за годы работы экспедиции успели заинтересоваться археологией. Стали прибывать из Кишинева и первые машины с участниками семинара. Я развешивал на стендах чертежи и рисунки, когда ко мне подошел Витя и спросил:

— Георгий Борисович, можно мне и во время семинара продолжать работу на раскопе? Я могу вести раскоп Павлика. А на вечерних заседаниях буду. Ладно?

— А зачем, Витя?

— Да ведь каждый час раскопок приносит все новое и новое. Разве вы не понимаете, как важно узнать скорее все, что только можно, об истории этого города.

— Ладно, ладно. Веди раскоп,— ответил я.— Только не вздумай читать мне лекцию о значении археологии.

Витя пристально посмотрел мне в глаза, но, так ничего и не определив, молча пошел на городище.

А гости и сотрудники экспедиции всё прибывали и прибывали.

Со своими отрядами приехал мой заместитель Георгий Дмитриевич, Лазарь Львович, Исаак Александрович, Володя Андриан...

Румынские коллеги и мои товарищи по экспедиции очень хотели, чтобы в работе семинара принял участие известный ученый Монгайт, мой старый, еще со студенческих лет друг — Шура. За несколько лет до этого он опубликовал свой объемистый труд о советской археологии. Эта стоящая книга, написанная обычным для Шуры лаконичным, упругим языком, пользовалась большим успехом и у нас и за рубежом. Она была переведена и издана многими иностранными издательствами, в том числе знаменитым английским «Пингвином».

Что же, участие такого ученого в семинаре — явная польза для дела. Да и мне хотелось повидаться с Шурой. Я написал ему в Москву с просьбой приехать. «Старик» притащился на своем потрепанном «Москвиче», ругая на чем свет стоит и меня, и пыльные, ухабистые проселки, и немыслимый подъем, который ему пришлось преодолеть, чтобы добраться до Алчедарского лагеря.

Когда, поседевший и грузный, вылез он из кабины, в своей обычной, ворчливо-иронической манере отвечая на приветствия сбежавшихся к машине членов экспедиции, я почувствовал, как что-то кольнуло в сердце... Да, далеко ушло то время, когда мы впервые взяли в руки лопаты археологов. Ну, да ничего. Как говорил Остап Бендер, заседание продолжается. А вернее сказать — заседание только начинается. Первое заседание нашего семинара, его открытие.

Так много важных докладов нужно было послушать и обсудить, что семинар, вместо запланированных трех дней, растянулся на целую неделю. Ведь история Румынии и Юго-Запада СССР с глубокой древности связаны между собой.

На городище Витя уже заканчивал свой раскоп.

Участники семинара ежедневно рассматривали только что открытые и очищенные от земли вещи.

...Было утро 23 августа — день освобождения Румынии от фашизма. Мы приготовились торжественно отметить этот славный праздник. Распорядителем его взялся быть Георге. Вечером, у костра, мы хотели приветствовать наших румынских товарищей. Запасли для них подарки, которые должны были вручить во время праздничного ужина. Георге настаивал даже на торжественном ружейном салюте. И вдруг пошел сильный затяжной дождь, совершенно неожиданный для Молдавии в августе. Это была катастрофа. К лагерям археологических экспедиций обычно не ведут бетонированные автострады. Наш лесной лагерь не был исключением. Благодатный, плодородный чернозем за полчаса стал непреодолим даже для вездеходов. Весь наш автотранспорт прочно стал на якорь. Героические попытки шоферов во главе с Гармашем прорваться к ближайшей деревне кончились плачевно. Разумеется, никаких продовольственных запасов на полторы сотни человек в лагере не было, да в такую жаркую летнюю пору их и невозможно было сохранять.

А дождь все шел и шел.

Кое-как хватило припасов на скудный завтрак и обед. А как же быть с торжественным ужином? К вечеру археологи, обычно отличающиеся хорошим аппетитом, щелкали зубами от голода после урезанных порций завтрака и обеда.

Втайне от гостей руководство экспедиции пересмотрело запасы. В лагере оставался только рис, ни куска хлеба, ни щепотки соли. Правда, был еще спирт, который мы обычно используем для технических целей. Но сейчас решено было все, что можно, пустить на ужин. Наступил вечер. К счастью, дождь прекратился, но дороги были так размыты, что отправиться в деревню и думать было нечего. Мы разожгли огромный костер, вокруг которого уселись участники семинара. Я произнес приветственную речь. Раздали подарки. Георге с командой волонтеров учинил эффектный ружейный салют. Подняли бокалы с разведенным спиртом в честь наших друзей. Мгновенно исчезли микроскопические порции рисовой каши.

Мы с некоторым страхом думали о том, что делать дальше.

Помощь пришла неожиданно: поднялся со своего места профессор Ясского университета Адриан Флореску. Он сообщил, что у себя в университете дирижирует студенческим хором, и предложил желающим записаться в хор. Успех этой затеи превзошел, как говорится, самые смелые ожидания. В хор записалось все без исключения население лагеря.

Под умелым руководством Адриана Флореску спевка прошла быстро, и хор начал свое первое публичное выступление. Увы, слушатели отсутствовали. Все были исполнителями, а Георге и Павел даже несколько раз солировали.

Это была довольно фантастическая картина. Теплая южная ночь, яркие звезды над темными кронами деревьев, огромный костер и полтораста очень здоровых и очень голодных людей, с большим воодушевлением исполняющих песни на румынском, русском и украинском языках. Особенным успехом пользовалась студенческая румынская песня с лихим припевом:

Юпайдия, юпайда,
Юпайдия, драгостя...

В ней, кстати сказать, трактовалось о преимуществе духовной пищи над пищей телесной. Концерт затянулся далеко за полночь. А под утро грунтовые дороги подсохли, и машины одна за другой выехали в села за продуктами. На другой день семинар возобновился. Пришлось, правда, начать заседание на час позже, чтобы как следует накормить его участников. Для экспедиции в целом трудности с семинаром остались позади. Но меня ждала новая, и на этот раз непреодолимая трудность. Подошел день моего доклада об итогах раскопок Алчедарского городища. К этому времени я едва успел свести воедино материалы, полученные за годы предыдущих раскопок и раскопок этого сезона. Большая часть плато была уже раскопана, и казалось, было о чем доложить собравшимся. И все-таки меня одолевали сомнения. В последние дни были обнаружены замечательные находки: мастерская оружейника, мастерская ювелира с полным набором украшений, и среди них массивная

серебряная шейная гривна, украшенная сканью — узором из перевитой серебряной проволоки. Такая гривна служила знаком богатства и власти. Все это были интересные и хорошие находки. Судя по ним, на городище жила знать, воины и ремесленники высоких обрабатывающих специальностей — ювелиры и оружейники. А где же жили те, кто кормил их, кто плавил и ковал для них железо, обжигал горшки?

Выходит, что наше городище — голова без туловища. Нет, тут что-то не так. Невозможно представить себе, что все продукты, все жизненно важные изделия обитателям городища откуда-то привозили. Да мы и теперь, в XX веке, на собственном примере убедились, что это не так-то просто. Я поделился своими сомнениями с Шурой и Ионом. Мы решили просить об отмене моего доклада. Не настало еще время подводить итоги.

Семинар закончился. Он дал немало ценных и интересных материалов. Многие доклады, прочитанные на нем, были потом опубликованы и у нас, и в Румынии. А семинары стали традиционными.

В 1962 году в Бухаресте состоялся уже четвертый советско-румынский археологический семинар. Но нам, конечно, приятно вспомнить, что первый работал именно в Алчедарском лагере нашей экспедиции...

Гости разъехались по домам, сотрудники экспедиции — по отрядам, а алчедарский отряд с удвоенной энергией приступил к продолжению разведок и раскопок.

Теперь нам стало ясно, что городище — только укрепленный центр поселения. Вокруг него должны были жить крестьяне и гончары, металлурги и кузнецы. Но как их найти? Одна сторона лощины занята вековым лесом, другая — под посадками кукурузы, табака, капусты. Конечно, если бы мы знали точно, где искать следы этой неукрепленной части Алчедарского поселения, можно было бы получить разрешение и на корчевку леса, и на уничтожение посадок. Но в том-то и дело, что мы не знали, где именно искать. Витя проделал во время этих поисков просто невероятную работу. На обоих склонах Алчедарской долины он в десятках мест брал щупом пробу почвы на фосфор и производил анализы, что в нашей полевой лаборатории было не так-то

просто. Вообще этот способ определения мест древних поселений и могильников часто дает хорошие результаты. Дело в том, что в любой почве имеется определенное количество нерастворимых примесей фосфора. Но там, где скапливается много органических остатков, то есть на месте древних поселений, содержание фосфора в почве повышается в десятки раз. По количеству содержания фосфора в почве было открыто не одно древнее поселение. Но у нас все пробы и анализы дали отрицательные результаты. Это было, конечно, очень обидно, но не катастрофично. Ведь жилища и другие сооружения на неукрепленной части поселения могли находиться далеко друг от друга, да и неизвестно, где именно они находились. Витя мог пройти мимо них.

На немногих свободных от посадок и леса местах мы заложили разведочные траншеи и шурфы. В некоторых из них нам попадались древесные угли, отдельные куски глиняной обмазки и древней посуды. Это были следы поселения, но какие слабые и невыразительные следы!

Мы знали, верили, что поселение где-то здесь, поблизости, но все поиски его оказывались тщетными. Это отражалось на всей нашей жизни. Все реже вечерами пели у костра молдавские песни, все меньше шуток и смеха раздавалось в лагере. Мы все превратились в разведчиков, но в разведчиков-неудачников. И каждый переживал это по-своему. Молча, упорно, методично вели разведку Ион и Витя. Откровенно выходил из себя, стал раздражительным и крикливым Георге. Павел возымел привычку вечерами уходить из лагеря и просиживать часами где-нибудь на лесной поляне. Я же не особенно хорошо спал последние ночи. Впрочем, может быть, в этом был повинен непрерывный шум тракторов. Колхоз после уборки урожая круглые сутки производил осеннюю вспашку в нашей долине.

Ранним утром, еще до завтрака, когда я вышел из лагеря, чтобы пройтись лишний раз по долине, ко мне подошел старый знакомый — дед Кирилл, сторож с соседнего виноградника.

— Вот вы, Георгий Борисович, всюду черепки ищете,— сказал он весело,— а плуги их за ночь знаете сколько наворотили!

— Где?

— А вон на том склоне, напротив Четауци (так дед называл городище). Пойдемте, покажу.

Но мне не нужно было показывать. Едва поднявшись на склон, я замер. Такого мне еще не приходилось видеть! На огромной площади, более двадцати гектаров, плуги за ночь сняли верхний покров почвы. И на всей этой площади на желто-сером фоне суглинка четко проступали прямоугольные черные пятна. Их было девяносто три. Они располагались гнездами по три—пять в каждом. В почве в большом количестве встречались фрагменты древнерусской керамики, такой же, как на городище, глиняные пряслица для веретен, обломки серпов, железные крюки, стержни. Это были остатки жилищ или мастерских. Тех самых, которые мы искали. А вокруг них находились темные пятна поменьше — круглые и овальные. Что это такое, нам еще предстояло выяснить. Вспашка почти ничего не разрушила...

Я вернулся в лагерь, когда завтрак уже кончился и все собрались на работу.

Подойдя к Георге, спросил нарочито безразличным тоном:

— Юра, а что ты дашь за открытие поселения — полцарства?

Георге хмуро ответил:

— А я вам говорю, Георгий Борисович, теперь не до шуток. И вообще, у меня уже ноги болят от этих разведок.

— Ну, а все-таки, что бы ты дал?

Георге, бросив на меня негодующий взгляд, проворчал:

— Да что хотите, хоть все царство.

Я не мог больше терпеть, все рассказал, и через несколько минут все население лагеря собралось на склоне долины.

После тщательного осмотра всех пятен, после сбора обломков посуды и вещей с поверхности каждого пятна, радостные и возбужденные, мы возвращались в лагерь за инструментами.

Я спросил Георге:

— Так как же, Георге? Хочу с тебя должок получить — царство.

Но Георге, который находился в прекрасном расположении духа, уже не так легко было подловить.

— Это же не мы открыли, Георгий Борисович, это пахота — чистая случайность!

— Нет! — зло сказал Павел.— Вот и врешь. Это не случайность. Случайно, что колхозники именно теперь вспахали этот склон. Но не случайно мы искали это поселение и не случайно оказались здесь. Мы бы все равно нашли, открыли его дневную поверхность. Да, момент открытия поселения случаен. Так часто бывает. Зато сам факт открытия закономерен. Быть не могло, чтобы мы не открыли!..

С колхозом, на территории которого уже ряд лет ведутся археологические работы, нетрудно было договориться. По нашей просьбе сельскохозяйственные работы на склоне долины были приостановлены. Колхоз помог нам всем, что было в его силах. Мы начали раскопки, причем, как только другие отряды экспедиции заканчивали работу на своих объектах, они вливались в Алчедарский лагерь. Нужно было торопиться. Тем более, что председатель колхоза велел втащить на вершину холма плантажный плуг и его сверкающий лемех на протяжении всех раскопок висел над нами, как дамоклов меч. Впрочем, мы и сами все понимали и не нуждались в этих деликатных намеках.

Один за другим черные прямоугольники раскопов покрывали склон, одно за другим выступали на дневную поверхность, проявляясь до мельчайших деталей, все новые и новые жилища, мастерские, зерновые ямы и производственные сооружения.

Обитатели неукрепленной части поселения жили в небольших полуземлянках с каменными печами. Они занимались земледелием и скотоводством. Мы находили в жилищах и возле них железные серпы, косы, лемехи для плугов, каменные жернова ручных мельниц, кости коров и других домашних животных, ямы с обугленными, а потому сохранившимися зернами пшеницы, ржи, проса, гороха...

Кроме того, жители поселения охотились, ловили рыбу, собирали мед. Мы находили кости кабана, косули, различных рыб, охотничьи стрелы — срезни с тупым концом, чтобы не попортить шкуру, рыболовные крюч-

ки и блесны для ловли крупной хищной рыбы, медорезные ножи с их характерной широкой лопаточкой лезвия и изогнутой коленом рукояткой. Все это мы, собственно, и ожидали найти. Но потом пошли находки совершенно неожиданные.



...Рабочий день уже заканчивался, когда с объекта № 67, с раскопа Георге, за мной пришел в лагерь Тиника — мальчишка из села Трибужены, не первый год работавший в экспедиции.

— Георге Феоктистович сказал, чтобы вы сейчас шли к нему! — скороговоркой выпалил он.

— А что там такое? — спросил я по пути к раскопу.

Тиника пожал плечами:

— Сам не знаю. Такая дырка в земле, как будто большой крот сделал, а потом пожар был и крот убежал. А Георге Феоктистович говорит: «Купьтор де фер». Чудно́.

— Ну, ты еще мало на свете видел,— довольно сердито сказал я.— Тебе еще не раз чудно́ будет.

На раскопе все рабочие стояли наверху у отвала, опустив лопаты, а начальника вообще не

было видно. Только подойдя к самому раскопу, я увидел Георге, который стоял на коленях посередине довольно большого пятна и что-то усиленно расчищал ножом.

— Правда домница? — с нетерпением спросил я.

— Смотрите сами! — отозвался Георге, не отрываясь от расчистки.

Я спустился. Никаких сомнений быть не могло. Из материковой глины выходил на поверхность колошник небольшой доменной печи — домницы. В изломе хорошо были видны четыре слоя глиняной обмазки ее толстых стен. Георге ножом вынимал из домницы уголь и куски железного шлака. Стенки расширялись книзу, дно было слегка вогнутое. Сбоку небольшое полукруглое топочное отверстие с горизонтальным кирпичиком — лотком. В это отверстие входили четыре глиняные трубки. Концы их, обращенные к внутренности печи, к шихте, были забиты застывшим шлаком. Это были сопла, через которые мехами во время выплавки нагнетался в домницу воздух. Ведь даже для получения тестообразного, губчатого железа нужно было достигнуть температуры немногим ниже полутора тысяч градусов...

Маленькая, высотой всего около метра печка, но это безусловно домница — далекая предшественница современных доменных печей, служившая для тех же самых целей, что и гигантские домны XX века! Вот это находка! О такой мы и мечтать не смели. Раньше весь доменный процесс древности, конечно существенно отличавшийся по технологии от современного, восстанавливался только по шлакам и железу да по этнографическим аналогиям. А теперь здесь, на Алчедарском поселении, мы впервые увидели древнерусскую домницу в натуре, совершенно целую, если не считать слегка поврежденной верхушки — колошника...

Весь лагерь собрался у объекта № 67. Но Георге, категорически отказавшийся от какой-либо помощи, сам уже поздним вечером закончил расчистку. В продолжение двух последующих дней домница сохла, чертежники делали чертежи в разных ракурсах, художники зарисовали ее, а Георге описывал и фотографировал с разных сторон. Эту, первую в Молдавии, древнерусскую домницу мы решили в целости и сохранности взять и

перевезти в музей. Но оказалось, что это не так-то просто. Да, конечно, по сравнению с современными домнами это малютка, а вот для перевозки — целая махина. Многослойные стенки ее имеют в толщину сантиметров двадцать. Тяжелая, да при этом еще, того и гляди, развалится. Почти тысячу лет была погребена домница в земле. Стенки и дно ее стали расслаиваться, глина приобрела хрупкость. Дня два домница должна была обсыхать. Но дальше нельзя было ждать ни одного дня. Если бы глина пересохла, стенки стали бы трескаться и крошиться. Георге предложил пропитать домницу жидким пятипроцентным раствором клея БФ-4 на спирте. Расчет был правильным. Такой жидкий раствор мог проникнуть глубоко в толщу стенок. Потом спирт улетучился бы, а клей остался, цементируя и скрепляя глину. Для этого нужно было впрыскивать раствор под давлением. И тут выяснилось, что, не рассчитывая ни на что подобное, мы не взяли с собой пульверизатор. Но Георге уже ничем нельзя было остановить. В сельской больнице он в два счета раздобыл несколько резиновых груш, и они с успехом заменили пульверизаторы. Когда стенки, пропитанные раствором БФ-4, затвердели, мы подрыли под домницу прочный щит из досок, прибили к щиту ручки и на этих импровизированных носилках торжественно перенесли домницу в лагерь.

Оказалось, что не охота, не промысел и даже не земледелие и скотоводство были основным занятием жителей неукрепленной части города. На всей площади этой части поселения в огромном количестве встречались куски железного шлака, руды, кричного железа, а иногда и целые крицы — выпуклые с одной стороны и плоские с другой железные лепешки. А потом мы нашли и другие домницы. Возле них валялись сотни обломков глиняных сопел.

Здесь же находились и каменные площадки для дробления железной руды, и большие печи с многослойным каменным подом, конденсирующим тепло. В таких печах руда, предварительно раздробленная, сушилась и обогащалась перед закладкой в домницу вместе с углем. Мы нашли груды древесного угля, возле домниц ямы с железным шлаком, оставшимся после плавки.

Иногда одна домница помещалась возле жилища,

иногда по пять-шесть домниц находилось в центре небольшого гнезда жилищ.

Это было поселение металлургов. Железа, которое они выплавляли, было достаточно не только для нужд ремесленников, живших на городище, но и для населения всех окрестных деревень. А потом мы нашли и мастерские литейщиков и гончаров. Но металлурги преобладали на поселении. Само же Алчедарское городище было только цитаделью, замком, где жила знать, воины и обслуживавшие их оружейники и ювелиры. Эта цитадель находилась в центре огромного поселения, раскинувшегося, как показали дальнейшие разведки и раскопки, на площади около ста гектаров!

Яркие, живые черты истории раскрывались перед нами шаг за шагом. В этой неукрепленной части поселения совершенно иным, чем на городище, был уровень жизни, даже другая вера. Здесь не нашли мы роскошных серебряных с позолотой украшений, сделанных при помощи самых совершенных приемов ювелирного мастерства, а только самые простые медные кольца и серьги — грубые литые копии с наборных серебряных украшений. На городище были найдены нательные кресты — значит, жители его были христианами. А в неукрепленной части поселения крестов не было, зато много языческих амулетов: просверленные медвежьи и кабаньи клыки. А возле домниц нашли мы даже маленькие глиняные человекоподобные статуэтки — идольчики, изображавшие славянского языческого бога Сварога, покровителя кузнецов и плавщиков железа.

В те далекие времена христианство было религией господствующих классов. Простые люди неохотно принимали его, предпочитая сохранять старые языческие обряды и верования...

Перед нами было не просто поселение, а феодальный город, в котором было четкое разделение между людьми и по роду занятий, и по социальному положению; город, где основным занятием населения было ремесленное производство, то есть производство на рынок, товарное производство. Об этом говорили не только вещественные остатки специализированных ремесел, но и найденные на поселении денежные знаки: русская гривенка-слиток, византийские и восточные монеты.

Что же это за город? Неужели он не оставил никаких следов в памяти потомков, после того как в середине XII века население покинуло его из-за непрерывных нападений кочевников?

Этот самый большой древнерусский город в Молдавии находился на Днестре между Белгородом и Хотином. Именно там, где помещал древнерусский летописец город Черн в «Списке городов русских». Этот город черной металлургии лежит возле притока Днестра — реки Черны. Многие названия, например названия сел, часто меняются. Но названия рек очень стойкие — они сохраняются столетиями.

Древнерусский город, лежащий в Поднестровье между Белгородом и Хотином на реке Черне, и есть летописный Черн. Так была раскрыта тайна Черного города, многие десятилетия волновавшая умы ученых.

...Однажды, ясной осенней ночью, поднялся я на вал Алчедарского городища. В лагере еще горели фонари и лампы. Между острыми, геометрически правильными силуэтами палаток и причудливо изогнутыми силуэтами деревьев то здесь, то там мелькали огоньки. Я попытался представить себе, как много сотен лет назад в эту же ночную пору стоял здесь, на гребне вала за деревянным забором, часовой. Вот он мерно прохаживается вдоль стены, всматриваясь в даль. А перед ним со всех сторон раскинулся город.

Судя по открытым нами жилищам, в городе жило не менее двух с половиной — трех тысяч человек.

Многие его жители уже засыпали, как засыпает сейчас Алчедарский лагерь. Но металлурги и ночью творили свое великое таинство. Часовой видел, как полыхало пламя из домниц, как медленно остывали, покрываясь темной шапкой, груды железного шлака...

Но нет! Чего-то еще недостает в этой картине. Мы еще не знали точно размеров города, еще не нашли тогда могильников, в которых погребали жители города своих умерших. А ведь это очень важно — в могильниках многие вещи сохраняются совершенно целыми, много можно узнать по обряду погребений; по черепам наши антропологи смогут восстановить облик древнерусских людей того времени...

Эти задачи тоже были решены в свое время, но на

место их вставали новые и новые. Раскопки Алчедарского поселения продолжаются и сейчас, и каждый сезон работ позволяет все глубже проникнуть в тайны Черного города, все полнее и ярче представить себе жизнь и судьбу наших далеких предков...

Уже несколько лет и много других раскопанных археологических памятников отделяют меня от времени открытия Черна.

Пятнадцать лет жизни посвящено археологическим исследованиям в Молдавии. Волнение, радости и горести поисков тиверских поселений, раскопок Екимауц, разгадки Черна... С каким удовольствием я бы согласился пережить это опять, если бы не одно обстоятельство: экспедиция продолжает работу. Моих товарищей и меня ждут новые, еще не изученные древние поселения, новые, еще не разгаданные загадки истории...



ЖИВАЯ ВОДА

Молодой человек в прошитых белыми нитками джинсах и рубашке навыпуск легко перепрыгнул через забор и подошел ко мне.

— Это база археологической экспедиции? — непринужденно спросил он.

— Да, садитесь.

Молодой человек бросил на стол тощую сумку авиа-

ционного агентства «Сабена» и сел рядом со мной на один из брезентовых стульев, стоящих под деревьями возле нашего склада.

— Можно видеть начальника экспедиции? — также непринужденно спросил он.

— Я начальник.

— Видите ли,— серьезно сказал молодой человек,— я ветеринар и нахожусь здесь на отдыхе. С детства интересуюсь археологией. Хочу принести посильную пользу. Может, у вас тут коровка заболела или лошадка, так я вылечу.

— Нет. У нас нет ни коровок, ни лошадок. Но вот наши куры страдают мигренью, и это отражается на их вкусовых качествах. Если накормите их пирамидоном, сделаете большой вклад в науку.— Молодой человек отер пот со лба шелковым клетчатым платком и, улыбаясь, заявил: — Да, вижу, что вас бесполезно разыгрывать. Я корреспондент (тут он назвал известный московский журнал) Григорий Турчанинов,— и показал удостоверение.— Приехал к вам, чтобы поработать в экспедиции и собрать материал для очерка. Какую работу вы мне можете предложить?

— Что ж,— покорно согласился я,— есть работа. Нам нужны здоровые рабочие руки. Вон видите — там на бугре стоит высокий человек в очках? Это наш старший архитектор Барабанов. Скажите ему, что вы зачислены рабочим-землекопом. Он вам даст работу.

— А какие условия? — насторожившись, спросил Турчанинов.

— Восемь часов землекопной работы. Оплата рубль двадцать копеек в день. Воскресенье не оплачивается. Жилье и питание дает экспедиция.

— А другой работы, более квалифицированной, для меня не найдется? — осторожно спросил Турчанинов.

— Для другой надо быть археологом.

Турчанинов пожал плечами и отправился к Барабанову. Саша Барабанов не любил пижонов. Оглядев Турчанинова и выслушав его, он угрюмо сказал:

— Возьми лопату. В двух метрах от забора, вон у того кола, выкопай яму — метр на метр, глубиной два с половиной метра. Чтоб к обеду была готова. Покажи ладони.

Турчанинов показал.

— Хм,— удивленно буркнул Саша,— греблей, что ли, занимался? Все равно бинтуй.

Турчанинов, уже во второй раз пожав плечами, бинтовать не захотел и, положив на плечо лопату, отправился к колу. Он аккуратно повесил на забор рубашку и джинсы и, оставшись в одних трусах, стал копать. Непривычка и жаркое молдавское солнце вскоре взяли свое. Чтобы пот не заливал глаза, Турчанинов повязал лоб шелковым платком, что стоило ему еще одного презрительного взгляда Барабанова.

Я уехал по делам в Кишинев, а когда часа через три-четыре вернулся, Турчанинов все еще копал. Яма была уже такая глубокая, что Турчанинов умещался в ней целиком. Видны были только его руки и лопата, выбрасывающая на поверхность землю. Да из глубины доносился его приглушенный страстный голос, распевающий цыганские романсы. Время от времени Саша Барабанов подходил к яме и придирчиво промерял длинной рейкой отвесность стенок и глубину. Наконец Турчанинов, отсалютовав лопатой, доложил Барабанову:

— Товарищ начальник, работа закончена!

Саша, еще раз промерив яму рейкой, сказал:

— Вон видишь то сооружение из камыша? Перетащи-ка его сюда и поставь над ямой, а то старая уже отслужила.

— Вы, кажется, имеете в виду ватерклозет? — дрогнувшим голосом спросил Турчанинов.

— Вот именно, ватер! — злорадно отбрил Саша.

«А, черт бы побрал этого Саньку,— с досадой подумал я.— Что за штучки с новичками. А впрочем, дело-то ведь нужное. Все равно кому-нибудь надо его делать».

Турчанинов между тем, подойдя к сооружению, кряхтя стал вытягивать опорные колья. Это, однако, оказалось не так легко. Тогда белобрысая Зина, студентка-практикантка, которая умудрялась одновременно окать и якать, оторвалась от описи керамики, которую она вела. Подойдя к сооружению, Зина стала окапывать лопатой один из опорных кольев и пробормотала:

— Ты все сам хочешь сделать, как лорд Байрон?

Несколько озадаченный, Турчанинов раскланялся:

— Сударыня, вы достойны вдыхать все ароматы Аравии, но не этот. Эта работа не для вас.

Однако Зину не так-то легко было сбить с толку, и она тут же изрекла:

— Над плохим бурдюком не смейся, не зная, что в нем находится.

Турчанинов сквозь приступ смеха проговорил:

— Господи! Почему бурдюк!

— Это такая черкесская поговорка,— авторитетно заявила Зинка, наморщив свой и без того курносый нос.

Георге, который вместе со мной приехал из Кишинева и наблюдал эту сцену, не мог оставаться пассивным. Вскочив из-за стола, он подбежал к Зине и Турчанинову и закричал:

— А я вам говорю — нечего тут возиться. Сейчас обвяжем веревкой и вытянем.

Он действительно достал из полевой сумки крепкую тонкую нейлоновую веревку и принялся обвязывать сооружение. В это время подошел Саша Барабанов. Молча растолкав собравшихся, он, без видимого усилия, взвалил на свои широченные плечи шаткую конструкцию и перенес ее на новое место. Остальные плелись за ним в почтительном молчании и лишь слегка поддерживали сзади.

«Что же,— подумал я,— может быть, таким, несколько странным способом и начал формироваться коллектив злосчастного корчедарского отряда». Все остальные отряды экспедиции уже давно работали. А вот корчедарский не был еще даже сформирован. Дело в том, что раскопки в Корчедаре велись уже 14 лет. Они составили целую эпоху в работе экспедиции и дали огромные материалы. Были открыты мастерские литейщиков и гончаров, металлургов и ювелиров, оружейников и косторезов, множество жилищ, всевозможных сооружений, могильник. Почти вся доступная для раскопок площадь этого огромного древнерусского поселения была уже раскопана. Конечно, раскопана почти целиком была и цитадель — городище, окруженное высоким валом и глубоким рвом.

Мы оставили на городище небольшую площадку для археологов будущего, которые смогут копать более совершенными способами, а так почти все плато было рас-

копано. Почти все, но не все. В нижней части плато городища находилась круглая западина метров 20 в диаметре. Еще в 1950 году в маленьком шурфе, заложенном нами в центре западины, были обнаружены илистые отложения. Кроме того, на другом таком же древнерусском городище в Молдавии такая же западина и в наше время была полна водой. Почти наверняка это был водоем для жителей городища, особенно необходимый во время осады. Почти наверняка, но все-таки закон археологии гласит, что нужно докапывать любое сооружение, любой слой, который начал раскапывать, до материка — до почвы, в которой нет следов человеческой деятельности. Только тогда можно уверенно судить о том, что раскопал. Вот для этих-то контрольных раскопок, да еще и для уточнения конструкции вала, и должен был провести последний сезон полевых работ корчедарский отряд. Никто не спорил — нужно так нужно, но кому хочется потратить хотя бы часть сезона на бесперспективные раскопки, особенно когда остальные отряды ведут работы на совершенно новых, неизученных объектах, где каждый день может принести что-нибудь новое, интересное. Потому и было каверзным делом формирование корчедарского отряда.

— Ну вот, Юра,— бодро сказал я, когда Георге вернулся к столу,— видишь, коллектив отряда уже создается. Тебе сам бог велел быть начальником — ведь это ты своими руками в тысяча девятьсот пятидесятом году выкопал шурф в западине. Ты начал, ты и кончай. А коллектив у тебя прекрасный. Зина — энергичный, умелый археолог...

— Да,— хмуро прервал меня Георге.— Студентка, всего второй год в экспедиции.

— Ничего-ничего, зато какой напор. Саня Барабанов — прекрасный архитектор и художник.

— Грубиян,— все так же хмуро отрезал Георге.

— Какие люди, ей-богу, даже завидно! — убеждал я, стараясь не сбиться с тона.— Ты подумай, у тебя даже рабочим-землекопом будет корреспондент столичного журнала, интеллигентный человек!

— Землекоп должен землю копать, а с интеллигентным только намучаешься, одни разговоры,— отпарировал Георге.

— Зато поварихой у тебя будет Митриевна,— сказал я, пуская в ход последний козырь.

Тут уж Георге ничего не смог возразить.

— В общем, основные кадры я тебе подготовил, а остальных сам доберешь,— торопился я окончить не очень-то приятный разговор.— Формируйся, выезжай в лагерь — и с богом. А я дней через десять приеду в отряд посмотреть, как дела.

К вечеру, нагруженный оборудованием, продуктами и материалами, экспедиционный фургон выехал в Корчедар во главе с сумрачным Георге и с кое-как сформированным коллективом. А я с неутомимым Гармашем поехал в очередной объезд отрядов.

Я не раз задумывался о том, как идут дела в Корчедаре, но прошло немало времени, прежде чем мне удалось туда попасть. В Корчедарский лагерь мы приехали глубокой ночью: наш шофер Гармаш, профессор-остеолог Вениамин Иезекильевич и я. За годы работы в Корчедаре накопилось очень много костей животных из различных раскопов, и я пригласил своего старого друга, чтобы он их определил. Гармаш осторожно провел, с потушенными фарами, чтобы не разбудить когонибудь, машину по хорошо знакомому мостику прямо в лагерь. Мы с Вениамином Иезекильевичем пробрались к палатке Георге, где, как я знал, есть пара свободных коек, а Гармаш улегся в машине. Как ни старались мы укладываться тихо, Георге все же проснулся и, поздоровавшись, перевернулся на другой бок.

— Уж раз ты проснулся,— проворчал я,— подожди немного засыпать. Расскажи, как дела.

— Завтра...— отозвался шепотом Георге.— Теперь Турчанинов дежурит, дайте мне выспаться, я вам говорю, что должен выспаться, и вам советую.

— Черт возьми, да какая разница, кто дежурит! — разозлился я.— Ну крикнет: «Подъем!» — вот и все.

— Не будет он кричать,— мрачно сказал Георге.— Говорю вам — лучше спите и мне не мешайте.

Устрашенный, я сам проснулся еще до подъема, без четверти пять, оделся и с интересом стал ждать, что будет дальше. Ровно без пяти пять в палатку бесшумно вошел Турчанинов и, молча раскланявшись, подошел к кровати Георге.

— Не откажите в любезности полюбоваться вместе со мной солнечным восходом,— медовым голосом произнес он, сбросив с Георге одеяло и изо всех сил дернув его за ногу.

Георге вскочил, как подброшенный пружиной, и, обвязав голову полотенцем, помчался к источнику. Турчанинов походкой индейца, вышедшего на тропу войны, направился к следующей палатке. Мы с Вениамином Иезекильевичем умылись и сели за стол перед палаткой Георге. Профессор стал бриться, а я, найдя полевой дневник Георге, принялся с интересом его читать. Вдруг раздался дикий вопль Митриевны:

— Заавтриик!

Вениамин Иезекильевич вздрогнул и порезал щеку бритвой. Прижгя порез квасцами, он несколько секунд сидел неподвижно, видимо приходя в себя, а потом продолжал бритье как ни в чем не бывало. Человек он отменно деликатный и воспитанный, поэтому о пережитом шоке можно было судить только по сильно затянувшейся процедуре бритья.

Когда мы наконец пришли к узкому длинному столу под брезентовым навесом, все уже давно были на раскопах. Только огненная шевелюра Гармаша покачивалась над столом. Он доедал огромную миску каши с жареным перцем, видимо раздобытую у Митриевны на льготных основаниях. Вениамин Иезекильевич, под нос которому стремительная, несмотря на дородность, Митриевна тут же сунула алюминиевую миску с дымящейся кашей, приступил к трапезе. Сохраняя полное достоинство, он ел кашу как самое изысканное блюдо. В это время с раскопа вернулся Георге.

— Ну как, добрались уже до дна водоема? — спросил я.

— Какой водоем? Я вам говорю, что это донжон!

— Башня? — переспросил я.— А как же слой ила?

— Он имел в толщину всего сантиметров пятьдесят. Это просто поздние образования в западине. А под ним пошел суглинок, остатки каменной кладки, наверное, нижняя часть донжона или его фундамент! Там же найдены наконечники копий, стрел, представляете себе!

— Пойдемте посмотрим на месте,— предложил я Вениамину Иезекильевичу.

— С величайшим удовольствием,— отозвался он, и мы все трое отправились на городище.

По дороге Георге держался несколько впереди и шагал как-то особенно аккуратно по прямой.

— Скажите, пожалуйста,— обратился ко мне вполголоса Вениамин Иезекильевич,— почему он так странно идет?

— Не знаю. Вы его самого спросите.

Вениамин Иезекильевич откашлялся и в своей обычной безупречно вежливой манере обратился к Георге:

— Не сочтите за труд, Георгий Ксенофонтович, сказать, чем объясняется удивительная регулярность и направленность вашей походки?

Георге только этого и надо было. Он буквально застыл на ходу, как бы боясь сбиться, и торжественно объявил:

— Мне нужно еще раз проверить расстояние от ручья до вала городища. Я иду точным мерным шагом римского легионера. Его длина была 0,679 метра, или, округляя, 68 сантиметров. Но я не округляю.

Посмотрев на голенастые тренированные ноги Георге, торчащие из выцветших шорт, Вениамин Иезекильевич со вздохом перевел взгляд на свои длинные и тощие профессорские ноги и с уважением сказал:

— Вот как? Даже не округляете?..

Но тут разговор оборвался, так как мы стали карабкаться на гребень вала, который в этом месте был особенно высок и крут, достигая 6-метровой высоты. В нижней части плато городища, на месте западины, виднелся темный четкий прямоугольник раскопа. В нем копошились рабочие, среди которых выделялся ярким платком, повязанным вокруг головы, Турчанинов. Он стоял в живописной позе, опираясь о лопату, и беседовал с каким-то молодым человеком в городском костюме. Зина, сидевшая на краю раскопа, поздоровалась с нами и оторвалась было от полевого дневника, чтобы подойти к нам, но Георге движением руки остановил ее.

— Это последний раскоп на городище,— сказал он, обращаясь к Вениамину Иезекильевичу.— И он закончится через несколько дней. Нам осталось снять последние тридцать—сорок сантиметров слоя с остатками фундамента, и мы дойдем до материка.

Осмотрев дно раскопа с многочисленными остатками камней кладки, я подумал: «Это удивительно, но, кажется, Георге прав»,— и сказал вынырнувшему неизвестно откуда Барабанову:

— Как, Саня, по-твоему, может это быть остатками фундамента донжона? Прав Георге?

— Суровая мысль,— пробурчал Барабанов, выразив этим одобрение на знакомом уже мне жаргоне молодых архитекторов.

Вениамин Иезекильевич вопросительно посмотрел на меня.

— Это наш старший архитектор Барабанов. Он разделяет точку зрения Георге. Возможно, они оба правы.

— Если это не остатки водоема,— задумчиво сказал Вениамин Иезекильевич,— то где же они? Люди не могли жить на городище без воды, особенно во время осады.

— Я измерил: до ручья ровно восемьдесят один шаг, то есть 54,999 метра, а тут, направо, должны были быть ворота,— сказал Георге.

Саня стал уверять Вениамина Иезекильевича, что следы водоема могли не сохраниться. Я тоже высказал несколько доводов в пользу этой гипотезы, но поймал себя на мысли, что убеждаем мы, собственно, не Вениамина Иезекильевича, а самих себя...

Уже после первых трех лет раскопок на городище Корчедар, начиная очередной сезон, мы каждый раз уверены были в том, что он будет последним. Но жизнь неуклонно разбивала наши глубокомысленные научные предположения. Обычно это происходило к концу сезона. Как живое существо, не желающее расстаться с нами, Корчедар молча и терпеливо выслушивал наши рассуждения о том, что уже все открыто, что нам здесь, по существу, уже нечего делать. Потом, когда мы, убежденные в собственной правоте, снимали палатки и упаковывали вьючные ящики, он вдруг выдавал что-нибудь до того неожиданное и интересное, что приходилось снова разбивать лагерь, метаться по разным учреждениям в поисках дополнительных средств на раскопки, работать в холод и в дождь. Он был поистине неистощим в своих выдумках. Никогда невозможно было предугадать, какое коленце он выкинет к концу сезона... Но на этот раз так не будет!

Нежась под лучами жаркого солнца, городище имело вполне мирный и даже какой-то домашний вид. Просто огромный бублик, метров 100 в диаметре, лежащий на склоне холма. Да и всей площади для неожиданностей оставалось всего-навсего 20 на 20 — около 400 м^2. Стараясь преодолеть ставшее уже суеверием представление о Корчедаре, я бодро предложил Вениамину Иезекильевичу: останемся в этом лагере до конца раскопок. Это еще дней 5—7, не больше.

— С истинным удовольствием. Я вообще люблю острые ощущения.

— А я вам говорю...— несколько озадаченный, начал Георге, но тут к нам подошел человек, беседовавший с Турчаниновым.

— Разрешите представиться, я корреспондент молодежной газеты. Прибыл для собирания материала о вашей экспедиции,— сказал он.

— Ну, и каковы же ваши впечатления? — осведомился я.

— О! Превосходный материал: все эти железки и черепки, но самое главное — люди! Вот, подумать только, простой рабочий,— сказал он, указывая рукой на Турчанинова,— бесхитростный, откровенный парень. А какая эрудиция, какая глубина мысли, пусть и выраженная наивно.

— Вы находите? — сказал я, и мы с Георге переглянулись.

— А ваш архитектор, товарищ Барабанов, это же просто герой!

— Секи пафос! — сумрачно посоветовал корреспонденту Барабанов и, махнув рукой, спустился в раскоп.

Корреспондент недоумевающе пожал плечами.

— Мы поговорим с вами попозже в лагере,— легкомысленно сказал я ему, недооценив ситуации, и подошел к Зине.

Она встала. Рабочие продолжали копать. Турчанинов выделялся своей преувеличенной старательностью.

— Ну, как, скоро сворачиваемся?

— Не знаю,— неопределенно ответила Зина.

— Да уж тут скоро не уедешь,— подал голос Турчанинов.— Одной канцелярии как в больнице. За две минуты вырвут зуб, а эпикриз на двадцать страниц.

Зина покраснела.

— Вы на работе,— сказал я Турчанинову.— Замечания ваши будете делать в лагере.

Потом я сказал Зине, чтобы она передала Вениамину Иезекильевичу остеологический материал из раскопа и подготовилась, так как в семь часов вечера будет обсуждение ее дневника.

Получив свои любимые кости, Вениамин Иезекильевич с помощью двух рабочих перетащил их в лагерь, вынул блокнот, ручку, штангель, рулетку и засел за работу. Мы с Георге осмотрели раскопки вала и рва, где все шло как и предполагалось. Ров шириною более 20 метров и глубиною до 4 метров был прорезан траншеей до самого дна. В основе вала лежала конструкция из толстых дубовых бревен и плотная, как камень, масса, получившаяся в результате армирования слоя жидкой глины дубовыми ветвями. Кроме того, на вершине вала находились остатки городен — бревенчатых срубов, заполненных землей и камнями. Очевидно, на городнях было установлено еще и заборало — крытая галерея, под защитой которой стояли часовые. От дна рва и до заборола, таким образом, возвышалась крутая стена до 15 метров высотой. Все вместе это было очень сильное укрепление, кольцом опоясывающее городище.

По дороге в лагерь я спросил у Георге:

— Ну, как Зина ведет раскоп? Ведь это первый в ее жизни?

— Хорошо.

— И с рабочими справляется?

— Да. Вот только Турчанинов этот... Придраться не к чему, а только есть в нем какая-то неточность...

Когда я пришел в лагерь, то уже не застал местного корреспондента. Он очень спешил и, воспользовавшись попутной машиной, уехал в районный центр.

К семи часам вечера все население лагеря собралось в столовую для обсуждения дневника. Зина к этому времени развесила уже все чертежи на фанерных щитах и сидела за столом. Она заметно волновалась. Не меньше волновался и я, хотя это, наверное, не так бросалось в глаза. Эта девушка в прошлом году была впервые направлена на практику в экспедицию по окончании первого курса истфака одного из северных

институтов. Она поразила нас своей удивительной необразованностью, наивностью, в сочетании с ненасытной жаждой знания и природным умом. Много раз бывало так, что я впадал в отчаяние от ее дремучего невежества, но всегда мне возвращали надежду Зинино трудолюбие и наблюдательность. Она очень много успела узнать и понять за первый сезон работы в экспедиции. Как-то незаметно борьба за «бессмертную душу» Зины стала кровным делом всех археологов экспедиции.

И вот на второй год она, вопреки всем установившимся правилам, была назначена начальником раскопа, да еще и нелегкого.

Упрямо наклонив голову, медленно и четко выговаривая каждое слово, Зина читала дневник, время от времени показывая нужный рисунок или чертеж. Она ни разу не оторвала глаз от дневника, пока не кончила. В дневнике попадались иногда мелкие ошибки и неточности, но их не хотелось замечать. Это была работа профессионального археолога, поэтому у нас она не вызывала никаких лирических или покровительственных чувств, а только желание обсудить кое-что и поспорить. Неожиданным был основной вывод: в раскопе открыты не остатки донжона, а какого-то другого сооружения.

Георге, автор гипотезы о донжоне, потребовал повторить доказательства.

Зина, волнуясь, сказала:

— Камней слишком мало для фундамента башни, хотя они и лежали по кругу. Сегодня сняли последний слой — под камнями чистая глина.

— Как с точки зрения архитектуры, Саня? — спросил я.

— Похоже на правду...

— Камни могли выбрать позже крестьяне окрестных сел для хозяйственных надобностей! — горячо вступился Георге.— Что ты на это скажешь?

Зина задумалась и медлила с ответом.

Георге подошел к щиту с чертежами, внимательно посмотрел на него и вдруг сказал:

— Нет, не могли разобрать камни позже...

— Почему? — с радостным удивлением спросила Зина.

— А вот смотри: над слоем камней слой серого суглинка, а над ним слой ила с молдавской керамикой от четырнадцатого до семнадцатого века — в это время здесь и был водоем. Оба слоя без всяких следов перекопов и ям. Значит, начиная с четырнадцатого века никто не выбирал отсюда камня. Никто не мог этого сделать и до четырнадцатого века. Городище было покинуто в начале двенадцатого века под напором кочевников, и до четырнадцатого века ни здесь, ни в окрестностях никто не жил.

— А что же это тогда такое? — заинтересованно спросил Турчанинов.— И что нам делать дальше?

— Что это такое, мы еще не знаем,— ответил я.— Безусловно остатки какого-то общественного сооружения. А дальше надо продолжать раскопки.

И раскопки продолжались. Под слоем камней показались толстые дубовые бревна. Грунт стал опять глинистым и твердым, как камень. День шел за днем, а Корчедар упорно цеплялся за свою последнюю тайну.

Как-то меня пригласил к обеду давний приятель — председатель колхоза Иван Михайлович. Придя к нему, я не без некоторого удивления увидел благообразного старика Попеску, отставного священника. Попеску был человеком довольно образованным и занятным и уже несколько десятилетий весь свой досуг посвящал поискам водяных источников. В Молдавии, как и во всякой южной стране, питьевая вода — особенно важная проблема. По старинному обычаю многие люди, в семье которых произошло какое-нибудь событие, в память о нем, находили источник, заключали его, в том месте, где он вытекает из земли, в обрезок железной трубы, делали небольшой бассейн из камней и цемента, сбоку нишу, в которую ставили кружку, рядом вкапывали скамейку и большой крест, который покрывали резьбой, подчас очень талантливой и интересной. Этот трогательный обычай был вместе с тем и глубоко рационален. Когда едешь по степи, крест виден издалека. Увидишь крест — значит, там вода. Подъезжай, напейся, напои лошадей, залей воды в радиатор. И вот пришло же в голову каким-то умникам, под видом борьбы с религиозными пережитками, сломать все кресты. Ни за что ни про что обидели народ, да и труднее стало находить в дороге

воду. Так уничтожили и многие старинные красочные и своеобразные произведения народного молдавского искусства. Не один десяток источников в районе Корчедара носит имя их открывателя и называется «изворул луй (источник) Попеску». Я не мог понять, зачем пригласил среди бела дня вечно занятый Иван Михайлович Попеску и меня.

Загадка разрешилась после первого же бокала вина.

— Вода нужна,— сдвинув выгоревшие добела брови, сказал Иван Михайлович.— В той долине, где городище, должна быть большая животноводческая ферма. Все там есть для этого, одного мало — воды. Ручеек, ползущий по дну лощины, да источник у подножия городища.

— А производили ли вы поиски вокруг, достопочтенный Иван Михайлович? — спросил Попеску.

— Искали,— махнул рукой председатель.— Сколько трудодней на шуфры потратили... Нигде нет воды. Может, вы поможете?

— А чем же наша экспедиция может быть вам полезна? — поинтересовался я.

— Скажите, людям, которые жили на древнем городище и вокруг него, могло хватать воды из ручья и источника?

— Нет,— подумав, сказал я.— Даже если ручей и был намного полноводнее тысячу лет назад, все равно не могло. На поселении жило несколько тысяч человек. Той воды, что есть сейчас, даже для питья и умывания не хватило бы. А ведь здесь жили сотни ремесленников: металлурги, гончары, литейщики. Им для производства нужно было очень много воды. Должна быть здесь вода. Ищите еще.

— Ищущий да обрящет,— сказал Попеску и поднял вверх толстый указательный палец.

Иван Михайлович развел руками.

— Да где же искать? Уж сколько искали. Специалистов из района вызывали.

— Помнится мне,— задумчиво сказал Попеску,— лет сорок назад, когда нашел я источник у подножия читацуи, городища по-вашему, и источник этот оформил, первое время в бассейне сильный отстой был — частицы голубой водоносной глины. Она бывает там, где издавна много воды.

— Водоносный слой? — спросил Иван Михайлович.— Как же это может быть? Ведь за источником крутой склон.

— Да и мне было удивительно,— сказал Попеску.— Искал я тогда и на городище, и выше него, да ничего не нашел.

— А вы ничего не обнаружили на городище? — спросил меня Иван Михайлович.

— Нет. Во впадине в нижней части городища была вода в четырнадцатом—семнадцатом веках, да только, видимо, стоячая — из весенних вод. А потом когда впадина заполнилась илом и этой воде негде было собираться. Ведь на городище с двенадцатого века никто не жил, некому было и чистить впадину.

— Ну ладно,— вздохнул Иван Михайлович,— подумайте, может, чего и надумаете, а теперь,— улыбаясь, продолжал он,— хочу вас повеселить, Георгий Борисович. Изрядные шутники, видно, работают в вашей экспедиции.

И он протянул мне свежую газету. С листа на меня глядела улыбающаяся физиономия Турчанинова, за ним раскоп. Очерк занимал почти целый подвал. По стилю можно было подумать, что это описывается не работа экспедиции, а опереточный спектакль. Я, например, был изображен в каком-то развевающемся на ветру голубом плаще. В довершение всего в очерке было рассказано, как во время пожара в колхозной овчарне архитектор экспедиции тов. Барабанов вынес на своих плечах около 60 колхозных баранов. Это было самой бессовестной ложью, которую мне приходилось когда-нибудь читать.

— Да вы не расстраивайтесь,— сказал, улыбаясь, Иван Михайлович.— Если бы вы знали, что иногда про нас пишут...

По дороге в лагерь я проклинал собственное легкомыслие. Видел же я, как Турчанинов морочит голову этому доверчивому корреспонденту. Тот еще восхищался турчаниновским простодушием и наивностью. А бараны, это, конечно, страшная месть за первый трудовой подвиг, который Барабанов заставил совершить Турчанинова в день знакомства. «Надо будет немедленно выгнать его из экспедиции»,— размышлял я.

Когда я вернулся в лагерь, все грелись вокруг ко-

стра — надвигалась осень. Глубокий и сдержанный голос Турчанинова звучал в темноте:

— Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога...

Я поневоле заслушался.

Когда Турчанинов кончил, Зина тихо спросила:

— Что это, Гриша?

— Блок,— коротко ответил Турчанинов и ласково продолжал: — Ты в своем Кучеже только один блок и знаешь: механизм в форме колеса с желобком по окружности, а был еще, между прочим, и другой Блок — Александр. Как и я, родился в семье профессора и сначала учился на юридическом факультете. Правда, в дальнейшем наши пути несколько разошлись. Он стал великим русским поэтом, а я копаю землю под твоим очаровательным руководством.

Наваждение поэзии кончилось. «Нет,— подумал я мстительно,— тебя надо не просто выгнать из экспедиции, а сначала заставить над тобой смеяться».

— У-у-у-ж-и-и-ин! — раздался неожиданный вопль Митриевны.

Вениамин Иезекильевич подскочил на своем брезентовом стуле, чуть не угодив ногами в костер. Все невольно засмеялись.

— Что вы так испугались, Вениамин Иезекильевич? Это кричала Митриевна, а не снежный человек,— сказал Барабанов и искоса поглядел на Турчанинова.

Из-под капюшона брезентового плаща высунулась рыжая голова Гармаша.

— Мы тут скоро превратимся если не в снежных, то в диких людей, пойдут дожди, размоют дорогу — и все будет, как в цирке... Ни туда ни сюда...

Вениамин Иезекильевич, игнорируя этот выпад, обратился к Барабанову:

— Видите ли, мой друг, между снежным человеком и Митриевной ведь все же существенная разница. Снежный человек — выдумка досужих фантазеров, а наша Митриевна — воплощенная реальность.

— Почему же снежный человек выдумка? — вступил в разговор Турчанинов.— Это тоже реальность.

— А вы откуда знаете? — быстро спросил я.

— Да я сам член Всесоюзной комиссии по снежному человеку,— запальчиво ответил Турчанинов и тут же прикусил язык, но было уже поздно.

«Наконец-то! — с торжеством подумал я.— Прекрасный повод, да и тонус у отряда поднимется».

— Вы знаете,— сказал я, подражая ласковым интонациям Турчанинова в разговоре с Зиной,— что у нас принято каждую субботу перед вечерним костром читать лекции. А вы пока что ни о чем не рассказывали. Снежный человек — какая захватывающая тема! А ведь вы член Международного бюро...

— Всесоюзной комиссии,— жалким голосом поправил Турчанинов.— Я не буду читать этой лекции.

— Почему же — не будете? Будете. Через три дня суббота. Не теряйте времени — готовьтесь.

— Не буду я читать в такой аудитории, да еще в присутствии Вениамина Иезекильевича! — нервно воскликнул Турчанинов.

— Вы знаете, что такое дисциплина в экспедиции? — строго спросил я.— Либо вы будете читать лекцию, либо уедете.

Турчанинов сел за стол и за время ужина не произнес ни одного слова. Зина, которая была дежурной, несколько раз предлагала ему добавки, но он даже не отвечал. Перед сном я пригласил к себе в палатку Барабанова и молча протянул ему газету со статьей вдохновленного Турчаниновым корреспондента.

Читая, Барабанов все больше и больше мрачнел, а когда дошел до описания пожара в овчарне, то даже при свете «летучей мыши» было видно, как у него побагровела шея и заходили желваки на скулах.

— Вот что, Саня,— сказал я ему.— Я знаю твои босяцкие привычки. Но у нас экспедиция Академии наук, никакой физической расправы я не допущу. А вот в субботу Турчанинов будет читать лекцию о снежном человеке. Подумай, как лучше подготовить это культурное мероприятие.

— Хорошо,— сказал Барабанов, отдуваясь так, как будто он просидел несколько минут под водой.— Я подумаю!

Турчанинов понял, что он попал в переплет, и все

свободное время трудился не покладая рук. В субботу сразу же после работы на деревьях появились многочисленные плакаты и рисунки со смешными изображениями снежного человека. У него были все характерные признаки, описанные «очевидцами»: оттопыренные большие пальцы ног, мохнатая спина. Лозунги гласили, например: «У каждого из нас должен быть свой снежный человек!»

После ужина все расселись около костра, и Турчанинов начал читать свою лекцию. Нужно отдать ему должное: он проявил изрядное хитроумие. Лекция была построена как некий симбиоз поэзии и иронии. Неважно, дескать, есть ли снежный человек или нет его, важно, что у людей есть мечта о чем-то необычном, удивительном, и это возвышает и оправдывает все. Я уже начал было беспокоиться, но потом сообразил, что ему придется сказать и что-то позитивное. Иначе чем оправдать высокую комиссию, членом которой он состоит. Турчанинов хотел было кончить на милой шутке, но Георге тут же спросил его:

— Есть ли хоть какие-нибудь доказательства существования снежного человека, если есть, то говори.

Турчанинов затравленно оглядел аудиторию, махнул рукой и пустился во все тяжкие. Посыпались свидетельства очевидцев: знатного чабана, орденоносца, которого снежный человек треснул дубинкой по голове, когда он расположился в горах поужинать; секретаря райкома, которому снежный человек перебежал дорогу, когда он возвращался на «газике» домой; каких-то иностранных ученых с очень звучными, но незнакомыми фамилиями. Я жалел, что был вынужден сохранять нейтралитет, но знал, что Турчанинов находится в руках товарищей по отряду и что это опытные и надежные руки. Выступили почти все. Георге и Гармаш разбили всю логику докладчика. Неожиданно взявшая слово Митриевна, стараясь сдержать раскаты своего могучего голоса, произнесла что-то жалостливое, от чего положение Турчанинова еще ухудшилось. Но все было бы ничего, если бы не Вениамин Иезекильевич. Сохраняя обычную вежливость и корректность, он, даже не отрицая теоретической возможности существования снежного человека, ясно показал весь дилетантизм доклада.

Когда Вениамин Иезекильевич закончил, слово [illegible] просил упорно молчавший до этого Бараба[illegible]

— Это все тоскливые рассуждения. Возражаю. У меня есть реальные и наглядные доказательства существования снежного человека. — Аудитория заволновалась. — Три минуты, — пробормотал он.

На табуретку, за двумя стоявшими рядом деревьями, он поставил несколько керосиновых ламп, за ними укрепил подрамник, служивший рефлектором, а перед ними повесил навернутый на ручку от лопаты рулон бумаги. Он потянул рулон книзу, и, просвеченная лампами, показалась надпись: «Приключения снежного человека в П. Д. Э.» — то есть в нашей Прутско-Днестровской экспедиции. Затем на этом своеобразном теневом экране показался сам снежный человек. Он имел оттопыренные в стороны большие пальцы ног, волосатую спину и руки, спускавшиеся ниже колен, и в то же время это был, несомненно, Турчанинов. По мере того как разматывался рулон, показывалась безжалостно осмеянная история пребывания Турчанинова в П. Д. Э. Тут был и первый его «трудовой подвиг», и другие еще неизвестные мне страницы его биографии, как, например, добывание руками жареного мяса из кухонного котла. На этой картине Турчанинов был завернут в белое марсельское одеяло и явно смахивал на Васисуалия Лоханкина. Не успел замолкнуть общий смех, как Турчанинов молча и яростно прыгнул на Барабанова. Удар был столь неожиданным и сильным, что Барабанов рухнул, как когда-нибудь рухнет Пизанская башня. Они покатились по земле. Но потом Барабанов, видно, пришел в себя, он встал и, зажав Турчанинова в огромных ручищах, легко поднял его над головой. Я ужаснулся, думая, что он сейчас швырнет Турчанинова в огонь, и в то же время я чувствовал в этой сцене что-то эпическое. Зажатый в тиски, Турчанинов тщетно извивался, ста[illegible]ясь вырваться.

Первой опомнилась Митриевна.

Как большой шар, подкатилась она к драчунам, развернувшись, хлопнула Барабанова пониже спины и прогремела:

— У, аспид, человек такую умственную лекцию прочел, а ты...

Барабанов, не выдержав натиска, сверкнул на Митриевну стеклами очков, покорно опустил Турчанинова на землю, демонстративно сдул у него с плеча невидимую пылинку, махнул рукой и, насвистывая, пошел к себе в палатку.

— Отбой! — закричал дежурный.

Все стали расходиться. Зина подошла к Турчанинову и тихо сказала:

— Ну вот, теперь мы знаем еще одну примету снежного человека — отсутствие чувства юмора и способность приходить в необузданную ярость...

— Ты что, с ума сошла? — зло перебил ее Турчанинов.

— Нет,— мечтательно сказала Зина,— наоборот. Набираюсь ума...

На другое утро оба участника драки получили по выговору и мрачные пошли на работу...

Огромные раскопы вала и рва были закончены. Завершены были и исследования гетского и славянского могильников. Оставался один только Зинин раскоп. Непонятный и вместе с тем не слишком интересный. В нем не было почти ничего. Зина нервничала. Она чувствовала себя виноватой за задержку всего отряда, хотя это и было несправедливо. Все устали. Становилось все холоднее, все труднее работать. Резкие контрасты в температуре на протяжении суток особенно тяжело переносил Вениамин Иезекильевич. Он, однако, отклонил мое предложение уехать на базу и вместе с нами переносил все трудности работы и быта. А их хватало. Если вечер выдавался теплый, это предвещало ночью дождь, значит, на другой день придется ждать, пока высохнут раскопы, а в следующую ночь даже в спальном мешке от сырости будет ломить все кости. Если сутки выдавались ясные, то утром на палатках лежал иней. Работать начинали в ватниках. Зажигали маленькие костры возле раскопов. И все равно пальцы коченели при расчистке. Трудно было даже делать записи в полевой дневник. У чертежников застывала тушь. Постепенно теплело, и к полудню работали даже без рубашек. А потом снова начинало холодать, и к вечеру все уже опять надевали ватники. Все это было бы нестрашно, но надвигался период многодневных проливных дождей, когда хочешь

не хочешь, а сезон полевых работ заканчивается. Мы ничего не говорили, но понимали, что это время близко. Неужели опять тайна Корчедара не будет до конца раскрыта и придется в будущем году снова начинать раскопки? А потом — ведь это первый в жизни раскоп Зины. От результатов этой работы, может быть, зависит все ее будущее.

Конечно, раскоп с интересными находками — самое лучшее, на худой конец пусть даже пустой, но законченный. А сейчас и почти пустой, и незаконченный... Хуже не придумаешь... Выходя ночью покурить, часто видел я слабый оранжевый круг на брезентовом пологе Зининой палатки. Я понимал, что она мучается, думает, но посоветовать мог ей только одно — продолжать работать, искать, а это она и сама знала. Когда я вернулся в палатку, Вениамин Иезекильевич перелистывал при свете керосиновой лампы какие-то свои заметки. Через некоторое время снаружи послышался приближающийся шум: треск сухих веток и чье-то хриплое дыхание. Вениамин Иезекильевич прислушался, а затем обратился ко мне:

— Если я не ошибаюсь, к нам движется нечто, напоминающее средней величины медведя.

— Ну какие здесь медведи,— сказал я.— Ничего страшного быть не может.

В это время откинулся полог палатки и показалось круглое лицо Митриевны. Вениамин Иезекильевич быстро юркнул в спальный мешок, накрывшись с головой. Митриевна, видимо, от стремления идти бесшумно, очень устала, вперевалку она подошла к раскладушке Вениамина Иезекильевича и села прямо на его ноги, но он не подал признаков жизни. Я пододвинул ей стул:

— Здесь вам будет удобнее. Что так поздно, Митриевна? Что случилось?

Отдышавшись, Митриевна прохрипела паровозным шепотом:

— Зинка-то извелась вся...

— Сам вижу, что же тут поделаешь...

— А вот праздник устроить. Именины. Осемнадцатого, аккурат, ей девятнадцать будет лет.

— Что ж, идея хорошая... А вы как думаете, Вениамин Иезекильевич?

Из мешка послышался слабый голос:

— Весьма целесообразное и тонкое предложение.

Митриевна торжествующе подняла кверху могучую руку:

— Ну, раз такой человек сказал, так тому и быть!

В это время в палатку влез голый до пояса Барабанов и сел прямо на пол.

— Молодец, Митриевна,— сказал он.

— А как же ты услышал? — спросил я.

— Такой шепот, наверное, и на городище слышно... Хорошо хоть Зинина палатка на отшибе.

Тут полог палатки снова приоткрылся, появились заспанный Георге, Турчанинов в своих неизменных джинсах и рыжие лохмы Гармаша.

— Вот что,— сказал я,— всем, по-моему, уже ясно. Давайте только распределим обязанности. Ты, Саня, должен взять на себя оформление: плакаты, приветствия, праздничный приказ.

— Ладно, нацарапаю,— буркнул Барабанов.

— Ты, Семен Абрамович, обеспечишь продукты и вечернюю иллюминацию — повесишь третью фару на дерево.

Гармаш кивнул головой.

— У меня еще четыре фальшфейера разноцветных остались, и залп из ружей дадим — салют, как в городе-герое.

— Вы, Митриевна, обеспечиваете стол...

— Банкет, как в лучших домах Филадельфии,— добавил Турчанинов.

— А вы,— подхватил я, обращаясь к Турчанинову,— как испытанный лектор прочтете короткую лекцию о жизненном и творческом пути Зины. Название сами придумаете.

— Хорошо,— отозвался Турчанинов.— Кроме того, я организую музей подарков Зине Малышевой от трудящихся. И буду его директором и экскурсоводом.

— А я,— сказал Георге,— буду заведовать музыкальной частью.

— Ну и прекрасно. Теперь последний вопрос. Надо бы сделать и один общий подарок.

— Платье бы ей,— сказала Митриевна,— хорошее. Она ведь на стипендию не купит. А сошьет Дуся.

Дуся — это наша бывшая рабочая, которая выучилась на портниху и стала заведовать ателье в селе.

— А как же мерку снять, чтобы она не догадалась? — спросил Турчанинов.

— Это я беру на себя,— самоуверенно заявил Георге.

— Ах, вот как? — ехидно переспросил Турчанинов.

— Не в том смысле, олух, я говорю про организацию и общее руководство. У меня есть идея.

Пообещав хранить все приготовления в тайне от Зины, общество наконец разошлось по своим палаткам. На другой день после работы Вениамин Иезекильевич, до того пошептавшийся о чем-то с Георге, обратился к Зине:

— Уважаемая Зинаида Николаевна, я хочу вас попросить об одном одолжении: для противопоставления южному антропологическому типу — северного, а вы его блестящий представитель, я бы хотел получить ваши антропометрические данные.

— Большую услугу окажешь науке,— вставил Георге.— Ты будешь эталоном.

— Ой, я стесняюсь,— покраснев, сказала Зина.

— Да что ты, обмерять-то Митриевна будет,— сказал Георге и дал Митриевне заранее заготовленную бумажку с размерами, необходимыми для Дуси, а для маскировки с несколькими действительно антропометрическими показателями.

И все же сколько бы мы ни изощрялись в выдумках, жизнь приготовила Зине куда более ценный и неожиданный подарок.

В тот день утро выдалось ясное и теплое. Мы с Вениамином Иезекильевичем работали в лагере, когда вдруг со стороны городища послышался сильный шум и крики. Потом на гребне вала показалась Зина. Она побежала к лагерю, раскинув руки, и вот уже стало видно ее торжествующее, радостное лицо. Руки ее как бы прорывали тень от листьев, впуская в лагерь все новые потоки солнечных лучей.

— Вода,— кричала она,— вода!

Мы с Вениамином Иезекильевичем пошли ей навстречу.

— Какая вода, Зина? — спросил я.

— Живая,— задыхаясь от быстрого бега, ответила Зина,— настоящая живая вода.

Когда мы трое поднялись на вал, я увидел на дне раскопа, под полностью снятой коркой из глины и дерева, огромный двойной сруб из темных дубовых бревен. Внутри сруба, постепенно заполняя его, клокотала и пенилась ярко-голубая вода.

— Колодец,— закричал Георге, увидев меня,— да не простой, какой-то огромный, двухкамерный!

Внезапно из глубины колодца вынырнул по пояс какой-то мощный человек, вдохнул воздух и снова ушел под воду.

— Кто это? — спросил я с изумлением.

— Да это же Саня Барабанов! Он без очков, вот вы и не узнали. Он венцы считает, пока совсем не залило.

— А ведь заливает все быстрее! — жалобно воскликнула Зина.— Что же делать?

— Едем в колхоз за подмогой,— сказал я и оглянулся, ища глазами Гармаша. Его не было, зато внизу, у подножия вала, стояла заведенная машина.

Ивана Михайловича я застал в правлении.

— Одолжите самую мощную моторную помпу, какая у вас есть, и трактор,— попросил я.

— А что такое? — осведомился Иван Михайлович.

— Вода. Вода на городище. Та самая, которую вы искали, и много.

Через полчаса мощный «ЧТЗ», лязгая гусеницами, пошел на штурм вала, волоча за собой помпу. Но не тут-то было. Наши предки строили этот вал с запасом прочности в 1000 лет, и с запасом мощности в 200 лошадиных сил. Трактор порычал, порыскал из стороны в сторону и заглох. А вода все прибывала и прибывала. Она уже вышла за пределы сруба и затопляла раскоп.

— Вкопаем столб на валу, зацепим тросом помпу, трос за столб, а другой конец к трактору и втянем помпу,— предложил Георге.

— Иди ты со своими выдумками,— зло отозвался Гармаш.

— А ну, возьмем, ребята!

Он ухватился за один из поручней помпы и, напружинившись так, что все веснушки на лице и плечах стали объемными, сдвинул помпу с места. За второй

поручень взялся Турчанинов, сзади навалился мокрый Барабанов, а затем и все население лагеря и рабочие. Помпа медленно пошла вверх по валу, а потом вниз по склону и остановилась, прочно закрепленная камнями у края раскопа. Впускной шланг опустили в раскоп, выпускной перекинули через вал, чихнул мотор пару раз и заработал. Голубая вода сильной струей потекла через дорогу вниз к ручью. Прошло несколько минут, послышалось фырканье председательского «газика», и Иван Михайлович присоединился к нам.

— Вот это да! — воскликнул он.— Если поперек лощины поставить дамбу, тут такое озеро натечет! Выручили вы меня, товарищи археологи. А где же эта вода раньше была?

— Подождите, дайте раскопать до конца. Ну, а пока что́ можно сказать? Здесь был большой водоразборный бассейн. Чтобы он не переполнялся, излишек воды сбрасывался сквозь отверстие у подошвы вала в ров. Это создавало дополнительные трудности при штурме городища врагами. Потом, когда люди покидали городище, тут был пожар. Упавшие обугленные бревна, обожженная огнем глина образовали поверх бассейна плотную пробку. Вода нашла много мелких выходов — один из них «Изворул луй Попеску», а другой под землей впадает в ручей на дне лощины... Помпа не справлялась, едва-едва откачивала она воду, как та набиралась снова и снова. И все же раскопки можно было продолжать. Мы нашли в колодце посуду, наконечники копий, стрел, а главное — части сложного водоподъемного механизма из твердого как камень мореного дуба: огромные подшипники, вал, храповик, слеги. Это было удивительной удачей. Вот в Новгороде, там во влажной заболоченной почве дерево сохраняется веками, в Молдавии же, если оно не обуглено, то истлевает в течение нескольких лет, а здесь, внутри водоема, оно пролежало восемь столетий. Это было первое сооружение подобного рода, известное нам в X—XI веках на Руси.

На другое утро бассейн снова был полон водой. Она была все еще такой же голубой от взвешенных частиц водоносной глины. Как назло, что-то заело в помпе. Пока Гармаш и Георге чинили ее, нетерпеливый Барабанов, а вслед за ним и Турчанинов снова стали нырять

в ледяную воду, пытаясь достать что-нибудь со дна. Турчанинов вынырнул, вылез из бассейна и с торжеством показал, раскрыв кулак, потемневший серебряный перстень с резной византийской монограммой.

— Вот,— сказал он Георге,— видал! Это тебе не «воздушный донжон».

— А я тебе говорю, что ты просто осел! — взъерепенился Георге.— Вот теперь мы не сможем определить, где точно находился перстень «in situ»![1]

Зина, отложив планшет, подбежала к дрожащему от холода Турчанинову и взяла у него перстень:

— Я заметила квадрат, в котором он нырял, а уровень залегания не изменился со вчерашнего вечера.— А потом, обернувшись к Георге, насмешливо добавила: — Читала я, что у древних славян и германцев был институт лаяния, когда можно было поносить должника или оскорбителя самыми последними словами. Вот если бы ты тогда жил, ты был бы обязательно директором этого института.

— Так это же «институт» в другом смысле! — пытался отпарировать Георге.

— Спасибо за разъяснение,— снисходительно улыбнулась Зина и стала составлять паспорт на перстень.

— Только что был красивый серебряный перстень,— грустно вздохнул Турчанинов,— а теперь индивидуальная находка номер такой-то...

— Интересно все-таки, как же сюда попал византийский перстень? — задумчиво сказал Георге.

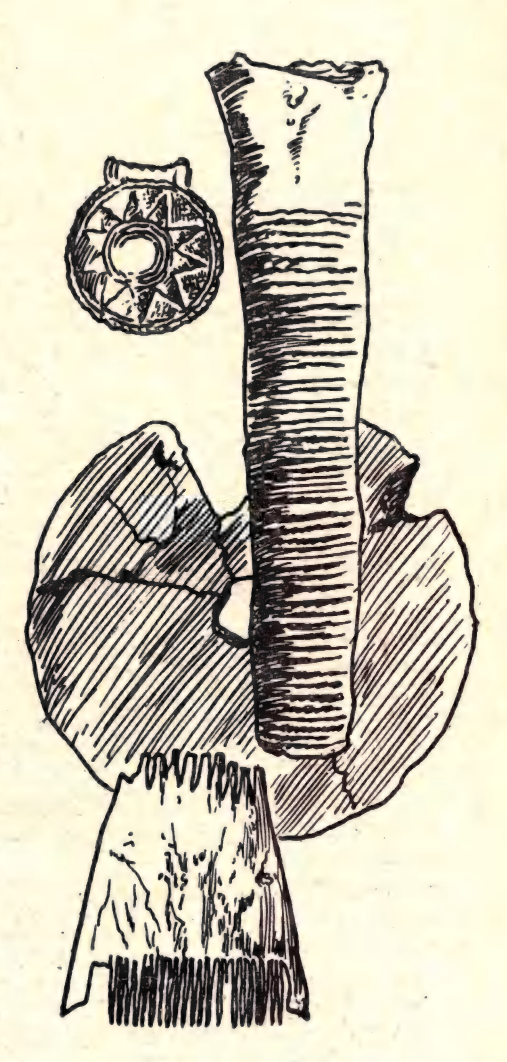
В это время затрещала налаженная Гармашем помпа.

Следующие несколько дней были посвящены раскопкам водоразборного бассейна, классификации и изучению найденных в нем керамики и других вещей. Сруб был врыт в материковую почву без каких-либо следов человеческой деятельности. И вдруг, расчищая площадь раскопа, примыкающую к валу, мы открыли под насыпью каменную вымостку. Что это? Может быть, каменная подушка для придания жесткости всей конструкции? Нет. Ее протяженность слишком мала, она ограничена несколькими метрами. Для того чтобы

---

[1] «in situ» (лат.) — на месте, непотревоженное.

это выяснить, пришлось вскрыть большой участок насыпи. Трудоемкая и неблагодарная работа. Она требовала второго дыхания — терпения. И оно пришло — это второе дыхание. Все терпеливо ждали, что еще приготовил Корчедар.



В это время меня вызвали в другой отряд экспедиции, а когда я вернулся, раскопки подходили к концу. Под вымосткой оказался забитый камнями и глиной дубовый сруб еще одного большого колодца. Внутри него нашли целый скелет косули, славянскую керамику. На первый взгляд все это казалось абсурдом, зачем нужно было рыть колодец, чтобы потом засыпать его, забутовывать, а над ним возводить насыпь вала, а после этого делать рядом новое водоразборное сооружение? Однако анализ и сопоставление керамики из обоих колодцев и учет результатов раскопок прежних лет позволили разгадать и эту последнюю загадку. Славяне поселились на этом месте еще в

VI веке, а цитадель городища была сооружена лишь на рубеже IX—X веков. В первый период существования поселения и использовался этот засыпанный потом колодец. Строителям городища выгодно было его засыпать, так как он находился на самой стрелке мыса. Здесь достаточно было лишь немного усилить крутизну склона и сделать небольшую насыпь, чтобы общая высота эскарпа достигла пяти с лишним метров. А после сооружения вала был сделан новый, более совершенный колодец — целый водоразборный роскошный бассейн.

Раскопки закончились, наступило время упаковки и заколачивания ящиков. За день до дня рождения Зины все было готово к отъезду. Мы сидели у костра и слушали молдавские песни, которые пел Георге вместе с рабочими.

— Зина,— сказал я ей тихо,— завтра по случаю твоего дня рождения все в лагере будет делаться по твоему распоряжению. До вечера — ты хозяйка. Идет?

Зина улыбнулась, кивнула и, скрывая смущение, пошла за хворостом для костра. В это время ко мне подсел Турчанинов:

— Можно задать один вопрос?

— Вы ведь не в армии, Турчанинов, и отлично это знаете, чего же вы притворяетесь?

— Так вот,— как-то напряженно заговорил он,— я ведь точно знаю, вы хотели выгнать меня из экспедиции. Почему вы этого не сделали?

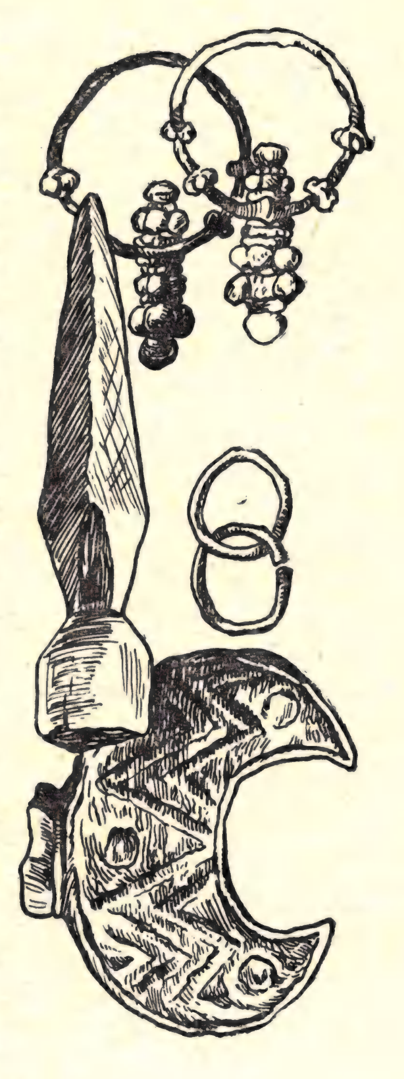
— Как вам сказать... Поверхностному наблюдателю люди, работающие в экспедиции, настоящие экспедиционники, могут показаться односторонними, даже примитивными. Это, конечно, не так. Непрерывное, круглосуточное общение и на раскопках, и в лагере, добровольно принятая необходимость подчинить все свои действия интересам экспедиции, если понимать их в широком смысле,— все это требует предельной простоты и точности отношений. Во всяком случае, их внешних проявлений, какими бы путями человек ни приходил к простоте и точности. Тот, кто этого не поймет и этому не следует, должен уйти из экспедиции сам или с посторонней помощью. Вы, в конце концов, это поняли, потому и остались. Хотя, конечно, за ваши ху-

лиганские штучки, например за выходку с корреспондентом, вам надо было бы намылить шею!

— Спасибо! — медленно ответил Турчанинов. — Спасибо. А теперь я хочу вам кое-что сказать. Я ведь чувствовал, что все относятся ко мне по-особому. Неплохо, но по-особому. И от этого я несколько раз порывался уехать. Знаете, что меня удерживало? Материальность, очевидность открытия нового, сопутствующая вашей работе. А потом, помните стихотворение «Память»?.. — о том, как в кружении жизни проносится мелькающее отражение потерянного навсегда, но кончается стихотворение такой строфой: «Когда же, наконец, восставши ото сна, я буду снова я — простой индеец, задремавший в священный вечер у ручья...»

— Знаю это стихотворение.

— Так вот, — продолжал он, — о людях, которые до старости, до тех пор пока хватит сил, месяцами жили бы в лесу, в палатках, сидели бы у костров, пристально всматривались и вслушивались в природу, судили бы, как не о совсем нормальных субъектах с сильно затянувшимся инфантилизмом. А для вас и для людей неко-





торых других специальностей это входит в круг профессиональных обязанностей.

— Думаю, что есть и еще одна причина...

— Вы это серьезно говорите? — спросил Турчанинов.

— Степень серьезности соответствует мере нашего взаимопонимания...

На другой день Зина поднялась с рассветом, но как ни рано она проснулась, мы встали еще раньше. Когда она вышла из палатки, весь лагерь был уже украшен. На большом столе с надписью «Музей подарков» стояли первые экспонаты. Между деревьями висели бумажные ленты с шутливыми приветствиями и поздравлениями. Над обеденным столом был прибит фанерный щит с огромным, метр на метр, фотопортретом Зины. Перед завтраком Георге прочел праздничный приказ, а потом, когда все вдоволь напоздравлялись, дежурный Саня Барабанов осведомился:

— Зина, вечером будут серенады, вручение подарков и вся программа, а что теперь делать? Ты хозяйка...

— Пойдемте на городище, — сказала Зина.

Вот уже несколько дней как не работала помпа, Зи-

нин раскоп был залит голубоватой водой. Она сквозь траншею, пробитую в толще вала, стекала вниз ко дну лощины. С городища видно было, как вдалеке возятся колхозные строители, перекрывая дамбой ручей. Мы спустились к самому раскопу. Вот она — живая вода, столетиями скрытая от людей, обреченная течь где-то под землей! Теперь она снова вырвалась на дневную поверхность, она играет и бежит, отражая солнце и небо, и это мы помогли ей.

А потом Зина неожиданно поднялась на гребень вала и стала читать:

Все это было, было, было —
И эта сталь, и этот свет,
И эти взрывы снежной пыли,
И этот иней на песке,
И эти сани, нет — кибитка,
И этот волчий след в леске,
И даже, даже эта пытка
Гадать, чем встретят вдалеке.
И эта радость огневая,
Что все ж растет сама собой.
И лишь фамилия другая
Была тогда и век другой...

Она прочла все стихотворение, и ее звонкий голос, подхваченный порывами ветра, был слышен далеко вокруг. Турчанинов не сразу и каким-то осипшим голосом спросил:

— Откуда ты знаешь эти стихи?

— Да у нас прошлый год работал один землекоп,— вот он и написал.

— Врешь ты все,— нахмурившись, отрезал Турчанинов.— Я знаю эти стихи. Их написал известный поэт.— И он назвал фамилию — Коржавин.

— Ну, значит, он и работал у нас землекопом,— отпарировала Зина.— Не веришь, спроси у кого хочешь из отряда или у него самого, когда будешь в Москве.

Темнело рано, и уже вскоре после обеда по распоряжению Зины мы собрались возле костра. Когда огонь разгорелся и видимый мир сдвинулся, ограниченный отсветами пламени, Зина сказала:

— Скоро мы вернемся, будем анализировать материалы, изучать, сравнивать, писать отчеты,— давайте сегодня пофантазируем... Давайте по очереди придумы-

вать, что было, когда на древнем поселении кипела жизнь, как попал сюда византийский перстень,— словом, обо всем... Вы не против, Георгий Борисович? — обратилась она ко мне.

— Совсем не против. Ведь если факты — воздух науки, то воображение — ее живая вода. Без воображения факты оставались бы мертвой и неосмысленной грудой информации.

— Ну что ж,— сказала Зина,— вот вам и начинать.

— Это было в середине десятого века,— неуверенно проговорил я.— Столица Византийской империи — Константинополь. Глубокая ночь. Темны окна императорского дворца. Только в одном из них горит свет. Третий император Македонской династии — мыслитель и историк Константин Багрянородный — принимает вызванного среди ночи во дворец молодого аристократа Стилиона. Император задумчиво говорит:

«Никогда еще со времен самого Юстиниана Великого так не восхваляли империю и императора художники, поэты, музыканты и риторы. Но я не обманываюсь. Подобно тому как кузнечики в поле стрекочут особенно яростно перед бурей, так хор льстецов поет особенно громко перед катастрофой».

Император откинулся в кресле, выйдя из круга, освещенного двумя светильниками, стоявшими на столе, и продолжал, почти невидимый:

«Империя! Прекрасная империя, венец творения рук человеческих, благословенная господом, больна смертельной тайной болезнью».

Стилион, сидевший напротив императора, сделал едва заметное движение головой, но император увидел и понял это движение.

«Да. Это именно так,— твердо проговорил он.— Империя процветает, но неодолимо зреют внешние и внутренние силы, ведущие ее к гибели. Мне было четырнадцать лет, когда, увлеченный наукой и искусством, я передал власть в государстве друнгарию — начальнику флота Роману Лекапину. Роман был энергичным и проницательным политиком. Он понял, что в империи борются насмерть две силы и от исхода этой борьбы зависит все. И он решительно встал на сторо-

ну крестьян и стратиотов[1] — земледельцев-воинов, основу византийской армии, против динатов, провинциальных крупных землевладельцев, опиравшихся на церковь и часть чиновничества. Динаты разоряют и захватывают крестьянские земли, подрывая военную мощь империи и ведя ее к распаду. Шесть лет назад, в результате заговора динатов, Роман был свергнут и сослан своими же сыновьями. Динаты торжествовали. Тогда мне пришлось оторваться от любимых занятий и взять тяжесть практической власти на себя. Я издал еще более суровые законы против произвола динатов. Я хотел восстановить справедливость. Но что получилось? Веления императора — категоричные и ясные — не выполняются. Это происходит потому, что государственный аппарат, обновленный только сверху, пассивно, но неуклонно сопротивляется новой политике. Сменить весь аппарат невозможно: многие императоры были убиты при такой попытке. И даже новая смена ничего бы не дала. Новые люди быстро стали бы на тот же путь.

Крестьяне и стратиоты разорены. В них все больше появляется рабских черт — трусость, угодливость, эгоизм. Основой военных сил теперь служат тяжеловооруженные дружины всадников — катафрактов, состоящие при динатах. Но разве на этих своевольных, равно далеких от императора и от народа войсках может покоиться безопасность и величие империи?!»

Стилион слушал молча, не двигаясь. Этот тридцатилетний патриций принадлежал к старинному знатному роду, насчитывающему с десяток поколений. Среди его предков были послы, генералы, главы провинций, магистры и другие высшие чиновники империи. Среди них был даже один «логофет дрома» — чиновник, ведавший государственной почтой и приемом послов. Сам Стилион в свои тридцать лет успел уже, состоя в свите посла, побывать в Персии, он воевал в Египте, Сицилии и Болгарии. Став «протокарабом» — капитаном корабля, принимал участие в нападении на гнездо арабских корсаров, остров Крит.

---

[1] Стратиóты — воины, получавшие за свою службу в пользование надел земли.

Образованный и циничный, изнеженный и мужественный, он одинаково равнодушно мог спать и на камнях, и на бархатном ложе, с насмешливым безразличием принимал как победу, так и поражение.

Поэтому он не дал себе труда поволноваться, когда, разбуженный посреди ночи самим начальником императорской гвардии, он был тайно приведен во дворец и выслушивал здесь то, чего не должен слышать никто.

Стилион думал со свойственным ему снисходительным цинизмом:

«Ого! Быстро же проникся ты, великий император, понятиями величия империи, божественности власти, собственного величия. А ведь еще твой дед Василий — полуармянин-полуславянин, которого ты теперь выдаешь за потомка Александра Великого, был безграмотным крестьянином, красивым животным, который благодаря силе и ловкости получил состояние от богатой старухи и поступил на императорскую службу. Обласканный Михаилом Третьим, он отплатил ему тем, что ночью приказал своим людям зарезать пьяного императора в его спальне, а сам захватил престол убитого. Впрочем, власть, полученную путем злодеяния, Василий охранял доблестями.

Ты же, мой император, внук разбойника, не сам передал власть Роману, как ты говоришь. Просто новый разбойник отшвырнул мальчика в сторону. Ты не очень-то сведущ в практической политике, но отдадим тебе справедливость: ты умеешь приближать к трону знающих и нужных людей, вроде Василия — незаконного сына Романа или полководца Варда Фока. А главное, за что тебе простит все прегрешения всевышний, — это то, что науку и искусство, прозябавшие долгое время из-за невежества властителей, ты восстановил и дал им свободу развития».

Между тем Константин продолжал:

«Империя окружена могущественными врагами. Еще Юстиниан Великий говорил, что «для победы над врагом надо его знать». Мы же знаем о многих из варваров только то, чего они хотят. Послы, которых я направляю в разные страны, вместо того чтобы находить и подкупать соглядатаев, сами оказываются подкупленными. Ты знаешь об этом».

«Государь! Вы говорите со мной так откровенно, как говорят либо с очень близкими друзьями, либо с осужденными на казнь».

Константин придвинулся, облокотился на стол. В неверном пламени светильников его высокий лоб казался особенно бледным. Улыбнувшись, он тихо и в упор спросил:

«Ну и что же? Ты боишься моей дружбы? Или казни?»

«Нет,— медленно ответил Стилион.— Я полагаю, что недостоин ни того, ни другого».

«Как знать,— все с той же легкой печальной полуулыбкой ответил император.— Может быть, тебе предстоит именно этот выбор».

Стилион, хотя ничем не выдал себя, внутренне содрогнулся. Он хорошо знал эту печальную полуулыбку, с которой император не задумываясь отправлял на гибель тысячи людей, как это было во время памятной экспедиции на Крит в прошлом году. Каменные изваяния фараонов улыбаются так же.

«Во все времена улыбка властителя таила смертельную опасность»,— подумал патриций.

«Что ты знаешь о руссах?» — внезапно спросил император.

«Почти ничего,— пожал плечами Стилион.— В прошлом году шестьсот руссов, служивших в твоей армии, высадились вместе с нами на Крите. Сражались они храбро и почти все погибли».

«Так вот, слушай. Мне было всего два года, когда русский архонт Олег едва не взял Константинополь и прибил свой щит на Золотых воротах, а еще через четыре года нам пришлось заключить унизительный договор с Русью. Девять лет назад, когда мы разорвали этот договор, новый русский архонт Игорь на множестве кораблей подошел к Босфору. Мы сожгли эти корабли греческим огнем, но варвары перебрались на сушу и провели в империи еще два месяца, грабя Вифинию».

«Об этом я кое-что знаю,— процедил Стилион.— Тогда был убит мой отец».

«Через три года,— словно не слыша слов Стилиона, продолжал император,— Игорь направился в новый по-

ход, и только ценой дорогого откупа и нового договора удалось остановить его войска в низовьях Дуная. Через год Игорь был убит своими же руссами, и теперь на Руси правит архонтесса Ольга. Она благосклонно внимает канонам нашей святой веры, но я не думаю, чтобы это могло помешать новому вторжению. Руссы — опасный противник. Они мужественны и храбры. Особенно опасны руссы тем, что о них мы мало что знаем. Сегодня ночью, еще до рассвета, ты уедешь в свое поместье. Там ты приготовишься к своей новой миссии. Знаешь ли ты славянские языки?»

«Я хорошо говорю по-болгарски, государь».

«Ты будешь моим послом в стране руссов, но послом тайным. Ты проникнешь в их страну как варвар. Ты будешь жить одной жизнью с ними, и ты изучишь все: их военную мощь, их религию, их экономику. Ты узнаешь, как они строят и любят, воюют и ненавидят. Возвращайся через год. Если ты будешь ранен, болен или попадешь в плен, пришли мне донесение и запечатай его вот этим перстнем».

Император снял с пальца тяжелый серебряный перстень с печаткой.

«Готов ли ты? Запомни! У нас нет сил для победы в открытом бою. Могущество и процветание империи должно быть важнее всего для меня и для каждого из моих подданных. Зло, преступление, смерть во имя этого процветания и могущества есть благо».

Оставаясь все так же равнодушно-бесстрастным, Стилион подумал, неожиданно для самого себя:

«Мой император, ты ошибаешься. Зло ведет только ко злу, преступление — только к преступлению, смерть — к смерти. В конце концов — к смерти убийцы. Но у меня нет выбора».

И он сказал уже вслух:

«Я готов. Но мне нужно время».

Через несколько месяцев после этого разговора в погожий летний вечер на утлой лодке пересек один из рукавов Дуная высокий человек в темном плаще, заколотом у плеча круглой железной фибулой. Расплатившись с лодочником, он выпрыгнул на берег, снял островерхую кожаную шапку, подставив русые волосы теплому ветру, и огляделся вокруг.

На горизонте виднелись невысокие холмы, а вокруг, на сколько хватал глаз,— озера, песчаные дюны и снова озера. На их берегах сушились сети, лежали черные просмоленные лодки. Между озерами там и сям были разбросаны небольшие дома под двухскатными камышовыми крышами, окруженные заборами из того же высокого дунайского камыша с заплетенным верхом. А на дюнах выделялось несколько круглых войлочных юрт. Поднялся ветер, вздымая красноватую едкую пыль. Человек пошел мимо домов, направляясь к старице Дуная. Из-под плаща его виднелся кожаный передник и висевшие на широком поясе клещи, молоток, напильник, волочило. Обутый в сыромятные постолы, он шел неспешной развалистой походкой простолюдина.

Показался берег дунайской старицы, и вслед за ним прямо из воды стала вырастать могучая желтовато-серая глыба византийской крепости. По мере приближения путника к берегу, толстые каменные стены крепости, выстроенной на острове, росли все выше и выше, подавались вперед, надвигаясь на окрестные холмы. С южной, короткой стороны были ворота. Возле них и по восьмиметровым стенам находились четырнадцать двухэтажных башен из серого необработанного камня. По галерее, расположенной на стенах, медленно двигались лучники в тяжелых доспехах, с мечами и горитами[1] у пояса, точно такие же, как на стене Феодосия в Константинополе.

При виде их голубые глаза путника блеснули, а шаг сделался мерным и тяжелым.

Вдруг высоко в небе раздались резкие трубные крики. Путник поднял голову и, увидев пролетавший треугольник диких гусей, усмехнулся. Походка его снова стала прежней. Он шел и думал: «Опаленная солнцем, сухая, бесплодная земля. Она похожа на дно высохшего моря. От него остались только огромные соленые озера. Они мертвы, эти озера. Только широкие белоснежные воротники соли лежат вокруг мертвой воды».

Ветер стих. Пыль осела. На горизонте стали видны древние невысокие выветренные скалы. Извилистые трещины пересекали голые, обнаженные склоны.

[1] Горит — футляр для лука.

Низко над землей клубились темные, густые облака, но они не принесли дождя. Душно и пыльно вокруг. Тишина. Только протяжно и тревожно стонала болотная выпь да ревели от голода тощие буйволы с облезлыми боками.

...Почему же тогда всю эту землю пересекают огромные валы и рвы? Почему виднеются на ней четкие прямоугольники римских лагерей, которые не может уничтожить время уже многие сотни лет? Почему сейчас возвышаются над ней ромейские крепости? Почему испокон веков идет битва за владычество над этой землей? Мертвы озера, но они же содержат неисчислимые запасы соли, необходимой каждому живому существу. В выветренных древних скалах, почти на поверхности, лежат золото и серебро, медь и свинец. В желтых водах семиустого Дуная водится бесчисленное множество различных рыб. Отсюда привозят в Константинополь гигантских сомов, белуг и осетров, которые еще со времен скифов лакомые блюда на любом столе. Здесь кончается великий водный путь по Дунаю из северных, западных и восточных стран... На десятки километров разлились низовья Дуная, образовав островки, густо заросшие вербой и ивой, здесь бесконечные рукава, старицы, каналы, заводи. Только тот, кто давно и хорошо знает эти места, проберется здесь. А так не проедешь на лошади, не проплывешь на лодке, не пройдешь пешком...

Неспешной своей походкой путник добрался до одной из войлочных юрт, возле которой стоял шест с перекладиной и двумя конскими хвостами на ней. Около шеста горел костер. Над огнем покачивался большой глиняный котел. В бурлящей воде то показывались, то исчезали куски синего мяса, от него шел душный, сладковатый запах. Возле костра сидели и лежали несколько воинов-печенегов. Путник поздоровался по-тюркски. Ему никто не ответил. Оглядев воинов, путник обратился к одному из них, судя по всему, начальнику. Это был невысокий маленький человек в фантастическом одеянии. Он был облачен в красный с золотыми разводами халат, обут в зеленые мягкие сапожки с загнутыми носками. На голове красовался позолоченный византийский шлем, у пояса — кривая сабля, ножны

которой были покрыты чеканным узором и гранеными сердоликами. Путник почтительно спросил:

«Где могу я увидеть командира вспомогательного войска Аюка?»

Желтое лицо печенега, к которому он обратился, побелело на скулах, редкая борода, росшая откуда-то из шеи, затряслась. Не поднимая полузакрытых, подтянутых к вискам глаз, слегка погладив рукой длинные вислые черные усы, он хрипло спросил:

«Какое дело булгарской собаке до великого воина Аюк-хана?»

Путник очень почтительно поклонился, вынул из-под плаща серебряную кованую чашу с чеканным узором из пальмет[1] и меандра[2] и, поставив ее перед Аюк-ханом, сказал:

«Прими от меня этот недостойный дар, твой родич Канчар приветствует тебя. Я кузнец и жил в Фессалониках, где Канчар командует конной стражей. Моего отца захватили арабские корсары и увезли на Крит. Чтобы выкупить его, нужно много денег. Я искусный кузнец, а я слышал, что ромеи хорошо платят ремесленникам в пограничных крепостях. Канчар просил тебя, о великий хан, чтобы ты помог мне получить здесь работу».

Аюк накрыл чашу полой кафтана и важно ответил:

«Видишь: у самого берега против крепости полукругом стоят дома? Это община булгарских кузнецов и оружейников. Иди туда, найди старосту Иванко и скажи ему, что я послал тебя, я — великий хан Аюк. Как зовут тебя, булгарская собака?»

«Дамиан, великий хан. Верный слуга твоей милости».

Добравшись до булгарской общины, Дамиан был радушно встречен соплеменниками. Византийскому гарнизону непрерывно нужны были оружие и другие изделия кузнецов. Отводя Дамиану избу, одновременно служившую и кузницей, почтенный старик — староста общины — сказал:

«Ковалем у тебя будет русский раб. Тебе придется

---

[1] Пальмéты — растительный орнамент.
[2] Меáндр — геометрический орнамент.

с ним делить и жилье. Не посетуй, у нас нет свободных рук, а раб — умный работник».

Дамиан изобразил брезгливую мину. Тогда староста сурово сказал ему:

«Не на службе ли у ромеев набрался ты спеси? И ты мог оказаться на его месте, ведь и он славянин».

Во дворе под камышовым навесом виднелись меха, наковальня, уголь. С чурбака, увидев Дамиана, поднялся рослый человек с широкими вислыми плечами, длинные волосы его, стриженные кругом, были перехвачены на лбу кожаной тесьмой. Короткими шаркающими шагами из-за ножных кандалов он подошел к Дамиану и молча поклонился ему. Когда Дамиан в ответ протянул руку, назвав свое имя, русс удивленно поднял на него глаза и негромко сказал:

«Горислав, слуга твоей милости».

«Я новый кузнец,— отозвался Дамиан по-болгарски.— Ты будешь работать со мной молотобойцем...»

Уже в этот день от старейшин общины поступил большой заказ на наконечники стрел и копий. Следующие две недели кузнец и его помощник работали с утра до вечера до полного изнеможения, перебрасываясь лишь короткими фразами, необходимыми для дела. Но все же Дамиан узнал, что Горислав происходит из русского города Корчедара, неподалеку от Днестра — Тираса. Вместе с другими своими соплеменниками-тиверцами в составе большого русского войска под командованием самого киевского князя Игоря, Горислав принимал участие в походе на Константинополь. Здесь, в низовьях Дуная, во время стычки небольшого передового отряда с византийцами он был тяжело ранен и попал в плен. Когда князь, получив откуп от Византии золотом, драгоценными тканями и заключив выгодный договор, повернул восвояси, о Гориславе, да и не только о нем, наверное, просто забыли.

Дамиан тоже рассказал, как вырос он в болгарской общине славного ромейского города Фессалоника. Как во время нападения арабских пиратов была убита его мать, а отец увезен в рабство на Крит. Он поделился с Гориславом и своей мечтой заработать деньги на выкуп отца.

Прошло немного более месяца, когда старейшина

болгарской общины кузнецов передал Дамиану приказ помощника топарха, наместника императора, явиться в крепость. Когда они шли вместе к переправе, мимо проезжал Аюк с несколькими воинами. Свесившись с седла, он стегнул Дамиана плеткой и процедил:

«Тебя надо утопить в Дунае, булгарский пес, ты глядишь как воин, а не как жалкий ремесленник!»

Не вытирая выступившей на лице крови, Дамиан вобрал голову в плечи и, опустив глаза, низко поклонился. Он пробормотал:

«Благодарю тебя, великий хан, ты оказал мне большую услугу».

Переправившись на остров, старейшина и Дамиан после долгой проверки были впущены в узкие крепостные ворота. Перед ними простиралась строго с севера на юг мощеная улица. Посредине крепости ее пересекала другая такая же улица, идущая с запада на восток. На их перекрестке находилось большое высокое каменное здание преториума — помещение для привилегированных воинов и штаба. В четырех отсеках, образованных главными улицами, находились кварталы каменных домов, где жили солдаты со своими семьями.

Навстречу болгарам то и дело попадались воины, идущие в полном вооружении в наряд, сменившиеся часовые, женщины, солдаты и другие жители крепости. Дамиан шел, смиренно склонившись, набросив на голову капюшон своего широкого темного плаща. У входа в преториум рослый воин остановил болгар и предложил им ждать вызова, сидя на мраморной скамье.

«Почему эта старинная крепость носит такое странное название — Диногетия?» — спросил Дамиан.

«Это длинная история, сынок,— ответил старейшина.— Когда-то на этом скалистом острове было поселение гетов, исконных жителей этой земли. Потом пришли римские купцы в низовья Дуная. Они назвали этот остров Дуно-гетия. За купцами явились воины. Они уничтожили или обратили в рабство жителей сотен гетских поселений, а на этом месте римляне семьсот лет назад выстроили крепость. Вместе с падением Рима пали и римские крепости на Дунае, пала и Диногетия. Но недолго оставался этот край свободным. На место римлян пришли византийцы-ромеи. Они снова

отстроили крепость. И снова потекли отсюда за море рабы и хлеб. После смерти великого императора ромеев, Юстиниана, крепость опять была разрушена и стояла покинутой почти четыреста лет. Лишь недавно нынешний император ромеев, Константин, захватил опять это место и велел восстановить крепость для борьбы с болгарами и руссами. Но недолго ей стоять. Три раза отстраивалась эта крепость, четвертому не быть!»

«Ты говоришь об этом как будто с радостью, а ведь ты служишь ромеям?»

«Всему свое время,— ответил старейшина.— Подожди, соберется с силами молодой булгарский царь, будет и другая служба. А тебе советую, если люди топарха, наместника императора в крепости, будут предлагать тебе перейти в гарнизон, не соглашайся».

Когда Дамиана ввели наконец в преториум, в низкой маленькой зале он увидел пожилого офицера с надменным выражением лица, сидящего в кресле, обитом темной кожей с золотым тиснением. Не ответив на почтительное приветствие Дамиана, офицер сказал:

«Кузнец, до нас дошли слухи, что ты ведешь себя неподобающим образом. И с русским рабом, и с воинами ты разговариваешь как с равными. И за то и за другое полагается смерть. Но я великодушен, выбирай: либо, пройдя военную науку, ты станешь солдатом гарнизона и поднимешься часовым на стену, либо превратишься в раба и до конца дней проведешь внизу, в подвалах крепости».

«А другого выхода нет?»

«Нет. Из этой крепости ты уже не выйдешь живым...»

«Ты так же высокопарен и так же близорук, как всегда, Симеон»,— усмехнулся Дамиан.

Помощник топарха уставился на Дамиана, не в силах произнести ни одного слова от изумления.

Дамиан выпрямился, надел на палец серебряный перстень и, поднеся его к лицу Симеона, спросил:

«Ты знаешь, чья это печать?»

«Посол императора,— прошептал помощник топарха, опускаясь на колени.— Но кто ты? Мне знаком твой голос...»

Не отвечая на вопрос, Дамиан сказал:

«Я выйду из этой крепости и вернусь на прежнее место в кузницу. Через некоторое время я убегу отсюда вместе с русским рабом, а ты пошлешь погоню за нами с большим опозданием и отправишь ее на север».

Дамиан тщательно спрятал перстень и, повернувшись, направился к выходу.

Когда Дамиан вернулся в домик под камышовой крышей, вид у него был мрачный, а на лице узкой полосой запеклась кровь. Он рассказал встревоженному Гориславу о том, как ударил его плетью Аюк, как помощник топарха приказал ему перейти в гарнизон крепости, дав только несколько дней на исполнение заказа.

«Я не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь из неромеев, попав в крепость, вернулся обратно»,— сказал Горислав.

«Тогда,— решительно произнес Дамиан,— мне осталось одно — бежать».

«Далеко не уйдешь в этих болотах, беглецов после поимки пытают и топят в Дунае».

«Я знаю проходы, ведущие на восток, к Данастру,— ответил Дамиан.— Старейшина рассказал мне о них, когда узнал, что случилось...»

«Я иду с тобой,— сказал Горислав.— Одному трудно. А на Данастре, в земле руссов, моя родина. Я еще пригожусь тебе там».

Через несколько дней все было готово к побегу. Кандалы Горислава надпилены так, что еле-еле держались, запасены продукты, два крепких лука и стрелы, откованы засапожные ножи. Горислав взял несколько высоких камышинок, вытащил из них сердцевину, а возле султанчиков сделал по небольшому надрезу, чтобы в случае надобности дышать, спрятавшись под водой. Дождавшись вечера, когда частый здесь густой туман плотно закрыл все вокруг, Дамиан и Горислав переплыли на левый берег Дуная и, спрятав лодку в камышах, отправились дальше пешком. Они благополучно миновали раскинувшиеся на десятки километров плавни, где болота чередовались с заросшими осокой старицами, а трясины — с открытой черной водой, и вышли, наконец, в степь. По степи пришлось проби-

раться ночами, далеко обходя дымный пламень костров у печенежских юрт. Впрочем, путникам все же удалось пополнить запасы продовольствия в одной из болгарских деревень, жавшихся к берегам больших озер с густыми зарослями ив. Степь сменилась постепенно лиственным лесом. Он обступил путников со всех сторон. Плотные кроны дубов и буков надежно скрывали не только от палящих солнечных лучей, но и от вражеского глаза. В зыбкой лесной тишине слышалось только пение птиц да журчание родников. Горислав уверенно вел Дамиана сквозь чащу. А когда внезапно послышался легкий хруст сухих ветвей, Горислав метким выстрелом из лука уложил косулю.

Неожиданно рельеф опять изменился. Местность стала холмистой. Поднимаясь на вершины, путники видели внизу в просветы между деревьями изгибающиеся черно-зеленые волны леса, многочисленные разбросанные в долинах села. Когда же они спускались вниз, их поглощал золотистый сумрак.

«Это Русь»,— сказал Горислав, жадно вдыхая острый свежий запах листвы и влажной плодородной почвы.

Здесь шли уже не таясь, и к утру 6-го дня Горислав вывел Дамиана на вершину холма, где сразу оборвался лес. Внизу на обоих склонах неширокой лощины, как на двух сложенных вместе гигантских ладонях, лежало большое поселение, целый город.

Оба путника, взволнованные, хотя и каждый по-своему, молча смотрели вниз. По дну лощины протекала речка. Сотни невысоких двускатных крыш, обложенные сверху дерном, то большими, то меньшими кругами по 3—5 в каждом, были разбросаны по всему поселению. Возле многих домов возвышались легкие наземные здания: сараи или мастерские. То там, то здесь белым жарким пламенем полыхали печи, в которые рослые люди мехами накачивали воздух; взмахивали, блестя на солнце, молоты, слышался звон металла. На одном из склонов лощины, там, где ее пересекали два небольших оврага, помещался детинец. Широкий, наполненный водой ров опоясывал его. Второе защитное кольцо составлял крутой высокий вал, поверх которого находились дубовые городни, а на них забороло. Внутри на плато виднелись расположенные по кругу жилища, блестела в

большом прямоугольном бассейне вода. В детинце было два входа. Один внизу, где через речку и ров были переброшены деревянные мостки, которые вели к узким воротам. Над ними на четырех столбах возвышалась островерхая бревенчатая башня. С двух сторон от нее находились две мощные катапульты. Второй проход, еще более узкий, виднелся с противоположной, напольной, стороны детинца.

Первым нарушил молчание Горислав. Положив руку на плечо Дамиана, он тихо сказал:

«Вот и Корчедар. Добро пожаловать, брат».

На этом я прервал свой рассказ и сказал, обращаясь к Георге:

— Путники добрались до Корчедара. Передаю их в твои надежные руки...

Георге, бросив сигарету в костер, тут же подхватил:

— Горислав отвел Дамиана к одному из гнезд жилищ. Это было его родное гнездо, состоявшее из четырех домов. Они расположились подковой вон там,— показал Георге на опушку леса.— Ровно через тысячу лет, во время первого сезона раскопок на Корчедаре, там стояла моя палатка.

Обрадованные возвращением Горислава, его родичи приняли и Дамиана как своего. Во всех четырех домах гнезда жили близкие родственники. В одном — родители Горислава и его братья и сестры, в другом — дядя с женой и двумя детьми, в третьем — еще один дядя и его семья, а в четвертом, принадлежавшем Гориславу, поселились оба путника. Дома были небольшие, площадь их не превышала двадцати — двадцати пяти квадратных метров. Дамиану они показались примитивными, даже жалкими, особенно после каменных зданий Константинополя. Это впечатление еще усилилось, когда пришлось спускаться вниз, как в подвал, на глубину полутора метров. Полом была просто утрамбованная глина, стены обшиты толстыми рублеными досками. Мебелью служили деревянные столы, лежанки, покрытые льняными простынями и грубыми шерстяными одеялами, сидели на фигурных вырезах в глине, оставленных нарочно во время копания ямы. Над ямой возвышалась двускатная кровля с каркасом из жердей, опирающихся на столбы, вкопанные прямо в пол жилища, и на на-

земные стены, сделанные из плетня, обмазанного глиной, и побеленные. В стенах, обращенных к центру круга, образованного жилищами, находилась входная дверь и маленькое оконце, затянутое бычьим пузырем. Внутри дома почти четверть его занимала большая печь, сложенная из множества известняковых камней.

Горислав объяснил Дамиану, что в зимние морозы, когда эти печки накаляются, в доме можно ходить в одном белье. Зато летом, в жаркую погоду, в домах мало кто спал, многие предпочитали ночевать в сараях, на сеновалах или просто во дворе, возле мастерских.

«А такие мастерские у нас в каждой семье есть»,— сказал Горислав.

«А это что?» — спросил Дамиан, указывая на врытый в землю большой глиняный горшок с углем.

«Лепешки делать,— ответил Горислав.— Сегодня сестра испечет, да еще если с творогом — увидишь, какие вкусные...»

«Хорошо. А вот найду ли я здесь работу кузнеца? У вас тут своих полно».

«Найдешь, наверное. Завтра спросим у посадника. А хочешь железо плавить, так и спрашивать не надо. Просто работай в нашей семье, и все».

«Я не знаком с этим ремеслом»,— искренне сказал Дамиан.

Утром они с Гориславом беспрепятственно вошли через ворота в детинец. Их не остановили часовые, и это удивило Дамиана.

«Чего ты удивляешься! — ответил Горислав.— Это же не византийская крепость, окруженная со всех сторон врагами или наемниками. Здесь всюду свои — и на посаде и в детинце. Нападут враги — все знают свое место в боевом строю: и те, кто будет оборонять детинец, и те, кто будут охранять ворота, пока люди спрячутся под защиту валов. Так что вход и должен быть свободен».

«Ну, а если этим воспользуется враг? Зашлет своих лазутчиков?»

«На две вражеские руки найдется двести рук, которые их схватят. Ведь это нужно всем»,— объяснил Горислав.

В детинце их постигла неудача. Посадника не было.

Он уехал с малой дружиной, состоящей из профессиональных воинов, на соколиную охоту, с которой, впрочем, вскоре должен был вернуться. Друзья решили подождать посадника, а пока осмотреть детинец...

— Стой, стой! — неожиданно прервала рассказ Георге Зина.— Откуда же взялся посадник? Ведь мы раскопали все городище и не нашли никаких следов дворца посадника.

— Как это — не нашли следов? Ты что, забыла серебряную шейную гривну, которую мы откопали? Это типичный знак власти. В летописи, например, сказано, что великий князь киевский Владимир Мономах вручил шейную гривну посаднику Фоме Ратиборовичу, назначая его тысяцким во Владимир Волынский. А дворец здесь вообще ни при чем. Посадник жил в такой же полуземлянке, как и остальные воины на детинце. Только побольше. Там же и была найдена гривна. Кстати, ты сама участвовала в раскопках. Это жилище номер семь. Не веришь? Подожди, пока вернется посадник и Горислав с Дамианом пойдут к нему, сходи с ними, проверь.

Зина, пристыженная, замолчала, а Георге победоносно продолжал:

— В ожидании посадника друзья зашли в мастерскую оружейника, приятеля Горислава, который набивал в это время на кожаную основу зерцало — сверкающий доспех из кованых железных пластин. В мастерской лежали готовые и еще недоработанные кольчуги, десятки каленых наконечников стрел и копий, ножи и мечи с наварным стальным лезвием. Дамиан подивился богатству и высокому качеству оружия, совершенному инструменту и мастерству оружейника.

Великан оружейник усмехнулся в рыжую бороду, вытянул из кучи боевой топор и, играя им, сказал:

«Кабы Русь не была искусна в выделке оружия, давно бы заполонили нас. Несть числа воронам: и печенеги, и торки, и византийцы,— кого только не отбивала матушка-Русь!»

Взяв у оружейника топор, Дамиан поневоле залюбовался им. Узкий, длинный, с хищно изогнутым полукруглым лезвием с одной стороны и вытянутым вперед бойком с другой.

«А что это?» — с удивлением спросил Дамиан, увидев круглое сквозное отверстие возле лезвия.

«Лезвие такого топора, как и лезвие меча, должно обнажаться только в бою,— сказал оружейник.— Вот погляди».— И он ловко надел на лезвие своими толстыми пальцами маленький железный чехольчик, закрепив его сквозь отверстие точно подогнанным штырем.

«Да-а,— с каким-то особым выражением протянул Дамиан,— такой топор годится только для боя, но для боя он хорош...»

Выйдя из мастерской оружейника, они побродили по центральной незастроенной площадке и подошли к круглой, вымощенной камнями большой выемке, на дне которой находился двухкамерный водоразборный бассейн, полный голубоватой воды.

У колодца стояло несколько женщин в льняных, вышитых на рукавах платьях и черных, в красную и желтую клетку шерстяных паневах. На головах у них были расшитые разноцветным бисером кокошники, в волосы вплетены у висков по три-четыре круглых блестящих кольца, в ушах серебряные серьги в виде грозди винограда. Одна из женщин, неся на концах коромысла полные воды деревянные ведра с железными обручами и дужками, прошла мимо Дамиана.

«Хорошая примета»,— сказал Горислав.

«Откуда у нее византийские серьги?» — спросил удивленно Дамиан.

«А я тебе говорю — эти серьги русские,— ответил Горислав.— Вначале, правда, из Византии привозили купцы, а теперь и наши научились не хуже делать. А заметил ли ты у нее ожерелье из серебряных круглых бляшек?»

«Да. На них узор, сделанный зернью и сканью».

«Так вот,— с гордостью сказал Горислав,— бляшка меньше человеческого глаза, а звездочка на ней сделана из семисот с лишним напаянных серебряных шариков. Вон видишь дом у колодца? Там наш златокузнец работает».

«Ваш? — переспросил Дамиан.— Что-то я не видел таких украшений у женщин на пасаде. Там ожерелья из граненых сердоликов, а серьги литые бронзовые».

«Это правда,— усмехнулся Горислав.— Серебро да

золото только жены дружинников носят, а у мастеровых попроще».

«А велика ли дружина у вас?»

«Восемьдесят всадников с мечами и копьями, бывалые воины».

«Не мало ли для охраны такого города?»

«Ничего, у нас каждый мужчина — воин».

Они подошли к самому колодцу, и Дамиан увидел сложный водоподъемный механизм со стопорным колесом-храповиком, системой валов и деревянных подъемников, позволяющих подавать воду из бассейна прямо на площадку перед западиной.

«В обычное время,— пояснил Горислав,— вода держится на уровне верхних венцов бассейна, а излишек по трубе стекает прямо в ров. Когда же нападает враг и в детинце скапливается много народу, и расход воды возрастает, тогда перекрывают трубу заслонкой и вода заполняет всю эту круглую, мощенную камнем выемку».

«Удивительно,— подумал Дамиан,— откуда эти варвары, не имеющие никаких традиций и опыта в гидротехнике, могли додуматься до такого сооружения?»

— Как это — не имеющие никаких традиций и опыта? — прервал Георге Барабанов.— Они еще за двести лет до этого построили тут рядом отличный колодец.

— А я тебе говорю, Дамиан не мог знать о его существовании — ведь он скрыт под насыпью вала.

— Ну что же, что скрыт. Ведь мы-то его раскопали...

— Помалкивай, архитектор Барабанов. Нет у тебя чувства историзма,— строго сказал Георге и продолжал рассказ: — В общем, пока они ждали возвращения дружины, Горислав объяснил Дамиану, что посадник княжеского рода из Киева и поставил его великий князь Руси Игорь, когда проходил в этих местах шесть лет назад, направляясь на Царьград. Тогда же была и установлена новая, единая для всех подать в пользу великого князя: по черной куне с дыма.

«Что же это за подать такая?» — удивился Дамиан.

«С дыма, то есть с дома, в котором есть печь. С хозяйства, значит. А черная куна — вот что такое: есть у нас деньги — большие слитки серебра — гривны, ходит как своя и восточная монета, и византийская, а для небольших расчетов служат нам меховые деньги — шкур-

ки. Так и называются они — «куны», или «куницы», «белки» и другие. Раз в год посылаем мы дань в Киев по счету с дыма. Князь Великий заповедал посаднику и дружине крепко стеречь этот край от незваных гостей. Ведь это ворота на Русь.

Горислав рассказал Дамиану и о том, что Корчедар главный город над двадцатью другими городами и семидесятью селами и все они связаны между собой и общей обороной, и общим хозяйством. Крестьяне снабжают города продуктами, получая взамен железные лемехи, серпы, косы и другие нужные в хозяйстве вещи и защиту при нападении врага.

Их разговор был прерван неожиданно раздавшимся ржанием коней и стуком копыт по деревянным мосткам. На площадь во главе двух десятков дружинников въехал посадник. Воины спешились, передав коней слугам, которые отвели их в открытый загон, где сняли притороченную к седлам добычу: лисиц, зайцев, куниц.

Посадник прищурил серые глаза под седыми бровями и сказал, глядя на Дамиана:

«Здравствуй, пришелец. Откуда пожаловал?»

«Князь,— ответил за Дамиана Горислав,— это булгарин. Кузнец. Вместе со мной бежал он из византийской неволи. Позволь ему побыть с нами».

«Что ж,— ответил князь,— кровь братская, да и ремесло нужное. Живи. Железо варить умеешь?»

«Нет»,— ответил Дамиан.

«Научи его,— бросил князь Гориславу и, опять обернувшись к Дамиану, спросил: — Ратному делу обучен?»

Дамиан, опустив голову, снова сказал:

«Нет. Охотиться на птицу с луком иногда доводилось...»

«Это не та охота,— прервал князь.— Должен научиться ты охотиться на матерого зверя, что о двух ногах, я сам проверю, как тебя учат».

Князь принял от сокольничего, посадил на толстую кожаную рукавицу своего любимого сокола с колпачком на глазах и направился к дому.

— Это что, к жилищу номер семь? — ехидно спросил Турчанинов.

— Да, да, именно к жилищу номер семь,— взорвался Георге.— Надоели вы мне! Прерываете все время.

Вот сам теперь и рассказывай,— заявил он Турчанинову.

— Я же не археолог, не историк, где уж мне,— с притворной скромностью ответил Турчанинов.

— Да брось, пожалуйста,— сказал Георге,— после лекции о снежном человеке ты о чем хочешь можешь рассказывать.

— Ну хорошо,— согласился Турчанинов.— Но имейте в виду — за историческую точность я не ручаюсь. Итак, князь обернулся и направился к своему дому,— начал Турчанинов.

«Видно, славный воин, ваш князь»,— сказал Дамиан.

«Да,— подтвердил Горислав,— на его счету много побед. Особенно отличился князь во время боев в Вифинии».

«Вот как,— недобро подумал Дамиан, глядя вслед уходящему посаднику.— Значит, он отличился в Вифинии, где пал в боях с руссами мой отец».

«Да, вот так — князь отличился в бою в Вифинии»,— неожиданно услышал Дамиан чей-то негромкий хриплый голос. Дамиан стремительно обернулся и увидел высокого сутулого старика в ветхом рубище, с волнистой бородой и густыми волосами, спускавшимися почти до плеч, который глядел на него в упор. Порыв ветра раздвинул седые волосы старика, и Дамиан с ужасом заметил, что уши у него отрублены. Дамиан пристально смотрел на старика, стараясь не опустить глаза. Тогда старик низко поклонился Дамиану и шаркающей походкой пошел прочь.

«Кто это?»

«Божий человек, Гостомысл,— приглушенно ответил Горислав.— Был он рабом у арабских корсаров, много лет плавал гребцом на византийских галерах, а на Руси нет у него своего дома. Ходит меж двор из одного города в другой. Когда же происходит несчастье в каком-нибудь доме, так и он там».

«Почему же,— возбужденно спросил Дамиан,— пускают его в дома? Почему не выгонят?»

«Нельзя. Ведь Гостомысл блаженный. Таких грех обижать».

Выполняя наказ посадника, Горислав стал обучать Дамиана искусству варить железо. Для этого им даже

не нужно было выходить со двора. Железную руду откуда-то с верховий Днестра сплавляли на плотах, а потом на телегах доставляли в самый Корчедар. Груда такой темно-красной руды лежала и во дворе Горислава. Положив куски этой руды на круглую каменную площадку, Горислав и Дамиан разбивали ее молотами на мелкие куски, потом долго промывали и укладывали в большую круглую печь, где она томилась несколько дней. При промывке и в печи вымывались и выгорали легкие частицы. И без того богатая железом руда еще больше обогащалась. И вот эту-то обогащенную руду вперемешку со слоями древесного угля клали в небольшую, врытую в землю толстостенную печку — домницу. С боков в печку входило пять глиняных трубок-сопел, соединенных с мехами. После того как уголь поджигали, Дамиан и Горислав по очереди непрерывно подкачивали воздух в домницу. При огромной температуре, свыше 1300°, руда плавилась, и железо стекало вниз, застывая губчатой лепешкой на дне печи, а наверху оставался раскаленный шлак.

— Вы явно делаете успехи, Григорий Адамович,— поощрительно сказал Вениамин Иезекильевич.— Я даже от археологов не слышал столь ясного объяснения сыродутного процесса. Тематика ваших лекций может быть значительно расширена.

Турчанинов в ответ обвел нас всех горделивым многообещающим взглядом и продолжал:

— Так вот, однажды, когда Горислав работал с мехами, а Дамиан сидел и ждал своей очереди, к ним неслышно подошла сестра Горислава Ольга и поставила на землю глиняный горшок, вспыхивающий на солнце золотыми искрами от примеси слюды и весь покрытый нарядным узором из волнистых и прямых линий. В горшке была просяная каша, а в миске творог и еще теплые пшеничные лепешки. Она села рядом с Дамианом и насмешливо спросила его:

«Ты охотней служишь Сварогу, чем Перуну».

«А кто это такие?» — удивился Дамиан.

«Как — кто? Видел возле домницы стоит глиняный человечек? Это и есть Сварог — бог кузнецов и плавщиков железа. А тебе, говорят, князь велел ратному делу обучаться, служить богу-громовержцу Перуну?»

«Я христианин,— ответил Дамиан,— и вашим языческим богам не поклоняюсь».

«А у нас только князь да его дружина приняли христианскую веру, а по мне и старая хороша».

«Ладно, не будем спорить,— усмехнулся Дамиан,— а кто меня обучать станет?»

«Да хотя бы я. Спроси вот у брата, как я из лука стреляю».

«Что ж, давай. С такой учительницей я готов и за прялку сесть»,— снова усмехнулся Дамиан.

Ольга вскочила, скрывая смущение, и сказала, не глядя на Дамиана:

«Не до прялки теперь. Слух идет, снова печенежская степь на Русь поднимается. Гляди, и к нам пожалуют. Каждая рука понадобится... Заболталась я тут с вами... Надо идти. У нас гость сегодня. Божий человек Гостомысл пришел».

«Зачем же вы его пускаете? — резко спросил Дамиан.— Ведь он только несчастье приносит».

«Ничего вы о нем не знаете и не понимаете»,— мягко ответила Ольга и пошла своей легкой, неслышной походкой.

А Дамиан после долгого, глубокого раздумья сказал Гориславу:

«Ходят ли купцы корчедарские к ромейским городам на морском побережье?»

«Отчего не ходить. Ходят»,— ответил Горислав.

«Вот,— сказал Дамиан, вытаскивая кожаный мешочек, в котором звякали монеты,— это то, что заработал я на ромейской службе. Знают ли ромейскую грамоту ваши купцы?»

«Те, что ходят в их города, знают — как не знать»,— подтвердил Горислав.

«Так вот, я напишу, какой товар купить. Тут его четыре рода. Пусть купят да привезут».

«Уж не украшения ли для моей сестры надумал ты покупать?»

«Нет, не украшения,— серьезно ответил Дамиан,— а составные части для зелья: нефть, смола, сера да селитра».

— Что это еще за зелье? — заинтересовалась Зина.— Приворотное, что ли?

— Это зелье по рецепту сирийца Калинника из Бальбека. Подожди, в свое время все подробности узнаешь.

Уже через полмесяца просьба Дамиана была выполнена, и он, получив привезенный купцом товар, долго возился со своим зельем. Кроме того, Дамиан сделал какой-то заказ гончару. Горислав был удивлен странными действиями друга, но ни о чем его не расспрашивал, выжидая, когда тот сам расскажет. А между тем Дамиан уже неплохо овладел навыками плавщика железа и решился, наконец, попросить Ольгу поучить его стрельбе из лука. Поднявшись по склону на вершину холма, Ольга и Дамиан отыскали в лесу довольно большую поляну, где и начали тренироваться. Дамиан оказался на редкость неспособным учеником. С пятнадцати—двадцати метров никак не мог он попасть в ствол мощного бука. Снова и снова с терпеливой настойчивостью объясняла и показывала ему Ольга, как надо стрелять. Дамиан слушал внимательно, очень старался подражать всем движениям Ольги, выполнять ее указания, но получалось у него из рук вон плохо. Больше времени уходило на то, чтобы отыскать в кустах беспорядочно падавшие стрелы, чем на саму стрельбу. Ольга устала, она присела прямо на траву и стала смотреть, как медленно плыли в небе редкие облака. Дамиан же, проявляя неизмеримо больше упорства, чем способностей, продолжал стрелять. Вдруг он услышал, как Ольга вскрикнула, и, проследив за ее взглядом, увидел, как ястреб, заставляя снижаться, преследует сизого голубя. Еще секунда, и ястреб, сложив крылья, камнем упадет на него сверху, схватит когтями. И вот ястреб начал падать, но почему-то он пролетел мимо голубя и тяжело ударился о землю. Подбежав, Ольга увидела глубоко застрявшую в груди ястреба стрелу, пущенную из лука Дамиана.

«Сам Перун натягивал тетиву твоего лука, чтобы зло не торжествовало,— с удивлением сказала Ольга.— Я еще никогда не видала такого выстрела».

Дамиан пожал плечами:

«Сам не знаю, как это получилось, да я и не целился — видно, правда, это Перун не хотел допустить зла».

Но только оба они не знали, не видели, что уже через несколько минут второй ястреб догнал над самым

городом измученного голубя и убил его. Не знали они и того, что голубь был почтовым и нес с дальней заставы, на границе со степью, письмо. «Без числа печенегов идет по Днестру вверх»,— было написано в нем. И то, что письмо попало в ястребиное гнездо, а не в детинец Корчедара, стоило многих человеческих жизней... Но все это произошло позже.

Обрадованная, пусть и случайной удачей Дамиана, Ольга снова начала заниматься с ним, но — увы! — ничего похожего на меткий выстрел в ястреба Дамиан не смог повторить. По-прежнему не мог он даже с небольшого расстояния попасть в толстый ствол бука, стрелы застревали в соседних кустах. Наконец, когда оба они изрядно измучились, Дамиан предложил прекратить занятия и просто погулять по лесу. Они поднимались с холма на холм и наконец остановились на одной из вершин, где на большой площади там и сям попадались невысокие вытянутые насыпи курганов.

«Что это?» — спросил Дамиан.

«Кладбище посадских людей. Князь и его дружина, как и ты,— христиане, они хоронят в могилах на другом кладбище и по-другому. А мы сжигаем наших умерших и пепел их зарываем в такие насыпи. Каждая большая семья имеет свой курган. Вот видишь, тот с края,— это курган нашей семьи. Там зарыт пепел моих дедов, там будет и мой пепел,— сказала Ольга, присев на ствол поваленного бурей дуба возле кургана. Помолчав, она неожиданно спросила: — Скажи, Дамиан, что ты думаешь о жизни?»

Дамиан внимательно посмотрел на нее, усмехнулся и ответил медленно, тщательно выбирая слова:

«Я уже давно воздерживаюсь от суждений, чтобы обеспечить себе невозмутимость. Тот, кто имеет мнение о том, что хорошо и что плохо, неизменно стремится к тому, что ему кажется хорошим, и почти всегда ошибается. Нужно просто следовать существующим законам и обычаям, применяясь к потребностям жизни, не оставляя и не высказывая ни о чем суждение. Вот я, например, по обычаю, почитаю бога и сына божьего Иисуса, но не могу утверждать, что они существуют. Иначе трудно было бы примириться с тем злом, которое царит в мире или можно дойти до нечестивого

утверждения, что бог не хочет или не может устранить зло».

«Вот как,— отозвалась Ольга.— Я плохо знаю вашу христианскую веру, но, кажется, то, что ты говоришь, не в ладу с ней».

«Может быть,— беспечно отозвался Дамиан,— я ведь не выбирал себе веры — меня крестили, когда я был меньше и глупее, чем вон эта косуля, которая смотрит на нас из-за кустов. Ну, а во что ты веришь, Ольга?»

«На это трудно ответить не только кому-нибудь, но и самой себе,— задумчиво ответила девушка,— хотя эта вера есть и она живет во мне.

Оглянись вокруг. Ты видишь, солнечные лучи пробиваются между листьев, вершины деревьев покачиваются в бездонной голубизне неба, земля дышит, земля теплая, живая, земля поет и разговаривает с тобой тысячами голосов. Ты слышишь, ты видишь?»

И Дамиан, как будто впервые почувствовав то, чего еще никогда не чувствовал, тихо сказал:

«Да, я слышу, я вижу».

«А скажи,— так же серьезно продолжала Ольга,— нет ли в душе твоей чувства благодарности за все, что ты слышишь и видишь?»

«Да,— медленно и как бы с трудом произнес Дамиан.— Все мое существо полно этого чувства благодарности, и это самое радостное и прекрасное чувство, которое я испытал в жизни».

«Вот это и есть единственная молитва, какая существует в мире. Другой нет,— спокойно и снова чуть грустно сказала Ольга,— так говорит Гостомысл».

«Ответь мне еще,— сказал Дамиан.— Я знаю, что, согласно вашей вере, нельзя обижать людей, лишившихся разума, что вы считаете их вещими людьми. Но скажи, почему ты так относишься к Гостомыслу? Ведь ты не просто не обижаешь его — ты так ласкова, так приветлива с ним. А он, как говорят люди, приносит несчастье, да я и сам испытал страх и какую-то тяжесть на сердце, когда он смотрел на меня и говорил со мной».

Ольга улыбнулась:

«Что же ты, славный булгарский кузнец-богатырь, испугался нищего, больного старика? Нет, Гостомысл совсем не такой, каким представляешь себе его ты и не-

которые другие люди. Он не приносит несчастье в дом. Он предотвращает несчастье. Наверно, у тебя, как и у многих людей, был такой близкий или уважаемый тобой человек, который под влиянием свалившегося на него тяжкого горя или иных причин кончил жизнь самоубийством?»

Дамиан утвердительно, по-болгарски, покачал из стороны в сторону головой.

«Вот когда ты узнал об этом, как хотелось тебе знать о намерении этого человека раньше, прежде чем произошло несчастье, чтобы своей рукой остановить его, отговорить от гибельного намерения. Но мы обычные люди, нам не дано знать и чувствовать несчастье, приближающееся к близким людям. А Гостомыслу дано, и все мы ему близки. Непостижимым, чудесным образом на огромных расстояниях, сквозь толщи стен, частокол гордыни, заслоняющий души людей, чувствует он приближающееся несчастье и спешит на помощь. Он тот самый человек, предотвращающий несчастье, сохраняющий жизнь, которым нам так мучительно, но поздно хочется быть. Смотри, уже солнце садится,— прервала она неожиданно ход своих мыслей,— пойдем домой. Пора».

Дамиан помог Ольге встать со ствола и задержал ее руку в своей...

— Подожди, подожди,— прервал Турчанинова чуждый философии Георге,— так, выходит, что этот Дамиан, он же Стилион, неравнодушен к Ольге?

— Я не знаю, как тебе удалось догадаться, но это так,— иронически улыбаясь, подтвердил Турчанинов.— Попросту говоря, Дамиан влюбился по уши...

— Ну, это уж ты, Гриша, заврался,— вмешалась Зина.— С какой это стати византийский аристократ из Константинополя полюбит сестру простого ремесленника из Корчедара?

— Много ты понимаешь,— сердито сказал Турчанинов и продолжал: — На другое утро князь с дружиной выехали в окрестные села собирать дань, а остальные корчедарцы жили своей обычной жизнью.

Дымились домницы, звенели молоты, поскрипывали круглые каменные жернова ручных мельниц, пели пилы. Неожиданно все эти мирные звуки были заглушены страшным, идущим, казалось, из-под земли, воем.

Мой репортаж из Корчедара десятого века заканчивается, я не баталист и потому передаю слово вам, Вениамин Иезекильевич,— объявил Турчанинов.

Вениамин Иезекильевич бросил на меня умоляющий взгляд и сказал:

— Мне кажется, что история подходит к концу и завершить ее надо тому, кто начинал рассказ.

Мне не оставалось ничего другого, как согласиться продолжать:

— В пойме реки показалось несметное множество всадников на маленьких мохноногих лошадях. С дикими завываниями, размахивая саблями, пуская во все стороны тучи стрел, выскакивали они из стиснутой лесом поймы на широкий простор Корчедара. Впереди всех, сопровождаемый всадником с шестом, на котором висело два конских хвоста, скакал желтолицый воин в византийском шлеме и малиновом с золотыми разводами халате.

Со всех сторон к границе Корчедара спешили русские воины, чтобы в узкой горловине остановить печенегов, но слишком внезапен был их удар — редкий заслон воинов был опрокинут и порублен саблями. Печенеги растеклись по обоим склонам лощины. Однако до победы было им еще далеко. Каждое гнездо домов, ощетинясь сулицами, стрелами, копьями, как водоворот, втягивало всадников, а таких водоворотов были сотни.

Из-за поворота лощины на огромном вороном коне вылетел князь, без шлема, с окровавленной головой, высоко подняв широкий блестящий меч. Горислав, уже занявший вместе со своими родичами и Дамианом место на стене детинца возле катапульт, с горечью заметил, что в княжеской дружине осталось не более пятидесяти—шестидесяти воинов. Остальные, видимо, пали во время внезапного нападения печенегов. Однако и этот небольшой отряд представлял грозную силу. Тем более, что, увидев князя, приободрилось и все население Корчедара. Отовсюду на соединение с ними скакали вооруженные чем попало всадники.

Если печенеги, как волны, накатились на Корчедар, то княжеская дружина подобно каменному волнорезу разбросала и рассекла эти волны, отбросив печенегов от детинца. Под прикрытием тяжелой конницы князя,

врубившейся в ряды печенегов, выстроилась возле обоих ворот в детинец местная стража, состоящая из мечников, лучников и копейщиков. В детинец потянулись женщины и дети; воины погнали коров и овец, понесли железо и припасы. На самом детинце все подготовлялось к возможной длительной осаде. Заслон перекрыл отводную трубу, вода, выйдя из колодца, начала заполнять круглый, выложенный камнем бассейн. Оружейник раздавал оружие всем, у кого его не было. Боевые порядки воинов заняли свои места на стенах, в башнях, возле обоих ворот. Женщины перевязывали первых раненых.

Между тем печенеги, почувствовав силу и стойкость княжеской дружины, усилившейся благодаря пополнению за счет всадников-ремесленников и имевшей в тылу детинец, разбились на несколько отрядов, которые с громкими криками носились по всей площади города. Одни в этих отрядах уничтожили еще сопротивлявшихся в гнездах воинов, другие с разных сторон пытались прорваться к воротам в детинец, опрокинув княжескую дружину. Стало темнеть. По склонам лощины загорелись печенежские костры, а то и просто подожженные печенегами дома ремесленников. Однако костры и горящие дома только подчеркивали и без того сгустившуюся тьму. Постепенно все замолкло, и лишь изредка со стен детинца или в детинец летели пущенные наугад стрелы.

Бой, затихший ночью, с удвоенной яростью возобновился с восходом солнца. Князь вместе с дружиной выехал за ворота детинца и бросился в атаку на печенегов, стремясь добраться до их хана — воина в малиновом с золотыми разводами халате. Защитники детинца затаив дыхание следили за князем, особенно хорошо заметным из-за повязки на голове. Вот князь, пробившись глубоко в ряды печенегов, уже подрубил мечом шест с конскими хвостами, возле самого хана, как вдруг тяжело свесился с седла, получив скользящий сабельный удар, и потерял сознание. Уцелевшие дружинники, окружив князя, пробились с ним к детинцу и едва успели захлопнуть ворота перед носом у печенегов. Однако в сражении произошел уже непоправимый перелом. Тяжелое ранение князя, захваченная печенегами инициа-

тива боя — все это подорвало дух и силы защитников города. Все яростней становились атаки печенегов, все выше по склону вала поднимались они. Один за другим гасли очаги сопротивления и на посаде. Угроза неминуемой гибели нависла над городищем.

Ольга, вместе с другими лучниками прикрывавшая Горислава и других воинов, обстреливавших печенегов из катапульт каменными ядрами, обернувшись, увидела, что Дамиан, бессильно откинувшись к бревнам забора, сидит у стены. Подбежав к нему, Ольга спросила:

«Что с тобой, ты ранен?»

Но Дамиан поднял на нее невидящие глаза и ничего не ответил. «Дамиан, Дамиан,— закричала Ольга,— что с тобой, встань, если нам суждено погибнуть, погибнем вместе в бою!» Но Дамиан ничего не ответил ей, и девушка, изумленная его молчанием и странным отсутствующим и напряженным взглядом, вернулась к бойнице.

А перед взором Дамиана было в это время лицо императора с застывшей на нем полуулыбкой, и в ушах его звучал голос императора, его слова о величии империи. Все это величие, построенное на лжи и коварстве, ничто по сравнению с тем, что просто и нужно как день, как солнце и хлеб... Что же делать? О, он хорошо знал, как защитить город, как отбить печенегов. И пока еще это не поздно сделать. Но ведь он выдаст себя, если примется за это,— простой кузнец не может иметь знания и навыки военачальника...

Эти мысли, одна лихорадочно сменявшая другую, теснились в голове Дамиана, как вдруг он услышал тихий, но твердый голос, произнесший по-гречески:

«Иди!»

Дамиан увидел перед собой Гостомысла, неизвестно как оказавшегося в детинце. Не вставая, Дамиан ответил также по-гречески:

«К другим ты приходишь, чтобы спасать их, а меня ты хочешь погубить?»

«Нет,— все так же тихо и твердо сказал Гостомысл,— я пришел, чтобы спасти тебя. Иди!»

Медленно поднялся Дамиан, вытянулся во весь рост, подобрал выпавший из рук погибшего дружинника меч-кладенец и поднял его над головой. Офицер импера-

торской гвардии Стилион, сражавшийся в Египте и Сирии, в Болгарии и на Крите, в Италии и в Греции, принял на себя оборону города. Негромким, но привыкшим повелевать голосом командира он приказал оружейнику:

«Спустись со стены, подними заслон в трубе, идущей в ров от бассейна!»

«Но нам не хватит воды — здесь сейчас очень много людей»,— растерянно пробормотал оружейник.

«Побежденным и мертвым вода не понадобится,— надменно прервал его Стилион,— а победители будут иметь сколько угодно воды в реке»,— и такая сила прозвучала в словах Стилиона, что оружейник опрометью бросился выполнять приказ.

Между тем Стилион, подозвав Горислава, властно сказал ему: «Возьми сто умелых, хорошо вооруженных воинов. Пусть захватят с собой несколько мешков. Пробейтесь к нашему дому. Там возьмете два десятка тяжелых глиняных шаров, которые я сделал, и вернетесь с ними в детинец. Когда я взмахну платком или как только меня убьют, вы станете обстреливать печенегов из катапульт не камнями, а этими шарами. Быстрее».

Горислав, на протяжении речи Стилиона не сводивший изумленного взгляда с друга, молча повернулся и пошел выполнять приказ.

Стилион же одного за другим подозвал к себе тридцать воинов, велел им взять из загона лучших коней и по одному выезжать из верхних узких напольных ворот детинца. Пока отобранные им воины, как и все в детинце, вдруг понявшие, что это вождь, которому надо повиноваться, выполняли его приказ, Стилион, поднявшись на стену, убедился, что и оружейник и Горислав делали все, что надо. Вода, стремительно бьющая из трубы, быстро переполнила ров и, растекаясь по склону, сделала скользкими все подступы к детинцу со стороны реки и главных ворот. Неподкованные кони печенегов скользили и падали, их натиск на этом самом опасном участке ослабел. Горислав вместе со своими воинами, построенными острым клином, уже пробивался обратно к детинцу с полными мешками.

Тогда Стилион, вскочив на коня, с обнаженным мечом, выехал через узкие ворота и во главе своего ма-

ленького отряда стремительно поскакал по направлению к печенежскому хану. Таким внезапным и стремительным был этот бросок, что Стилион почти беспрепятственно доскакал до самого хана и скрестил свой меч с его изогнутой саблей. Хан зарычал от ярости, кожа на скулах его желтого лица побелела, и он вскрикнул:

«А, новый князь руссов, я отправлю тебя вслед за старым»,— но едва увернулся от меча Стилиона.

Противники рубились молча, со все возрастающим ожесточением. Печенеги, прекратив бой, сплотившись в тесную массу, наблюдали за сражением, дикими воплями подбадривая своего хана. Стилион медленно отступил по направлению к детинцу. За ним двигался хан, а вслед и все печенежское войско. Стилион, на секунду оглянувшись, увидел, что печенеги находятся уже в пределах досягаемости выстрела из катапульты, и вдруг, резко рванувшись вперед, лицом к лицу, клинок к клинку, сшибся с ханом, насмешливо сказал:

«Здравствуй, великий воин Аюк-хан».

«Булгарский пес!» — прохрипел Аюк и со свистом ударил саблей.

Но Стилион, отбив мечом удар, левой рукой взмахнул платком. Первые глиняные шары, пущенные катапультами Горислава, разбились среди печенегов. Они взрывались, разбрызгивая жидкое зеленое пламя, каждая капля которого прожигала насквозь тело, на которое она попадала. И со стен детинца, и из орды печенегов донесся крик ужаса: «Греческий огонь!» Да, это был знаменитый греческий огонь, изобретение Калинника из Бальбека, тайное и страшное оружие, при помощи которого византийцы не раз побеждали могущественных врагов на суше и на море.

Услышав крики, Аюк повел красными от бешенства глазами в сторону своих воинов, а затем, с изумлением и яростью устремив взгляд на Стилиона, закричал: «Византиец, ромей!» — и это было последнее, что он успел сказать, прежде чем меч Стилиона перерубил его надвое от плеча до поясницы...

Остатки разбитого печенежского войска умчались, как гонимые бурей листья.

Стилион, спешившись, неся меч поперек на вытянутых руках, наклонив голову, вошел в детинец и, взойдя

на площадь, где лежал раненый князь, окруженный дружинниками, молча положил перед князем меч. Ему послышалось, что, когда он шел, его позвал чей-то знакомый девичий голос, но Стилион не повернул головы и не ответил.

Когда он подошел к князю, все расступились.

«Кто ты, храбрый воин? — спросил князь.— Что привело тебя в наш город?»

«Я византийский патриций и офицер Стилион,— негромко, но четко ответил Стилион.— Я был послан императором, чтобы тайно, под чужим именем, проникнуть в земли руссов и узнать их военное дело, их ремесла и экономику, чтобы все это можно было учесть в действиях против возможного врага. Я шпион императора и готов нести любое наказание».

Помедлив, князь сказал:

«А разве проявить свое мужество и опыт офицера для спасения города руссов, разве вступить в смертельный поединок с врагом руссов — это действия шпиона, разве это поручал тебе византийский император?»

Стилион молчал, но среди воинов и ремесленников, стоящих на площади, пробежал одобрительный ропот.

«Так вот,— сказал князь,— ты пришел к нам как тайный враг, но в решительный момент ты вел себя как верный друг. Поэтому мой приговор таков: или уходи от нас, возвращайся в свою Византию, патриций Стилион, или оставайся с нами, наш друг и брат Дамиан».

И снова в толпе воинов и ремесленников пробежал одобрительный ропот.

А Дамиан-Стилион вынул бронзовый стиль и начертил на куске пергамента: «Не с войной, но с миром иди к руссам. Их много, и они непобедимы». Он прочел надпись вслух, сложил пергамент, обвязал его шнурком, приложил кусочек воска и, достав императорский перстень, запечатал его печаткой. Потом он спросил Гостомысла:

«Знаешь ли ты византийскую крепость Диногетию в низовьях Дуная?»

«Да,— ответил Гостомысл.— И я передам твое послание топарху крепости, а он перешлет его в Константинополь».

«Пусть будет так,— наклонил голову Дамиан.—

А я остаюсь с вами».— И он с силой швырнул в колодец императорский перстень.

И в третий раз одобрительный ропот пробежал среди воинов и ремесленников, и, приветствуя Дамиана, воины ударяли мечами по умбонам щитов, а ремесленники одним инструментом о другой. А князь сказал Дамиану:

«Подойди. Я ранен тяжело. Мои раны смертельны, и я не доживу до завтрашнего утра. Вот — надень и носи с честью.— И, сняв с шеи, он протянул Дамиану массивную серебряную гривну, перевитую сканью,— знак достоинства и власти князя и посадника.— Ты бросил византийское серебро. Прими русское, оно не хуже. А еще пошли в Киев гонца, чтобы передал великой княгине Ольге, что я умер и, умирая, сделал тебя своим преемником».

Вот так кончилась эта история,— сказал я.

— А я вам говорю, что она не может так кончиться! — вскипел Георге.— Если Дамиан стал посадником и носил гривну, то как же она могла попасть в слой городища — ведь не потерял же он гривну? Может быть, его убили или он все же ушел в Византию, и вообще что стало с Ольгой?

Но я не успел ответить на эти вопросы, так как тут раздался истошный вопль Митриевны:

— Бакнет!!!

Вениамин Иезекильевич встал и со спокойным достоинством объявил:

— Банкет, друзья! Если я не ослышался, достопочтенная Пелагея Дмитриевна приглашает нас занять места за праздничным столом.



КАК АРХЕОЛОГ СТАЛ БОГОМ

Борис Александрович, встретив меня в коридоре, пригласил зайти к нему в кабинет. Там, усевшись в кресло, он торжественно спросил:

— Как, по-вашему, кто сидит перед вами?

Несколько озадаченный необычным для него тоном и самим вопросом, я неуверенно промямлил:

— Ну, как кто? Наш уважаемый директор!

— Ничего подобного,— категорически заявил Борис Александрович.— Подымайте гораздо выше!

Окончательно сбитый с толку, я уже с некоторой опаской ответил:

— Ну, действительный член Академии наук СССР.

Куда там! Бориса Александровича, человека обычно скромного, теперь и это определение ничуть не удовлетворило.

— Еще выше! Гораздо выше! — надменно заявил он и, наклонившись ко мне, заговорщическим тоном сказал вполголоса: — Я господь бог!

— Ну вот,— ответил я расстроенный.— Сколько раз я вам говорил, что не надо столько работать. Вот, пожалуйста, печальные последствия переутомления! Мания величия. Нужно срочно обратиться к врачу.

— Ничего подобного,— продолжал настаивать Борис Александрович.— Я именно и есть господь бог и готов это письменно удостоверить!

Он взял со стола оттиск своей новой, только что вышедшей статьи и начертал: «Дорогому...» и т. д. «от господа бога (см. стр. 60—61)».

Надеясь на указанных страницах найти разъяснение странного поведения Бориса Александровича, я немедленно стал читать. Статья была правильная и вдобавок очень интересная. Один из разделов статьи, посвященной русской эпиграфике X—XIV веков, повествовал об удивительном памятнике новгородского прикладного искусства и письменности — Людогощинском кресте XIV века.

В те времена буйная и свободолюбивая новгородская вольница не особенно чтила официальную церковь, ее обряды и ее служителей, среди которых было полно пьяниц и вымогателей.

Народные движения против власти церкви часто выступали в те времена в форме различных религиозных ересей. Одно из таких народных движений, известное в истории под названием: «Ересь стригольников» (его основателем был «стригольник» — то есть парикмахер — Карп), получило широкое распространение среди ремесленников и вообще простого народа в Новгороде Великом.

По заказу стригольников — жителей Людогощей,

улицы Новгорода,— какой-то выдающийся мастер сделал огромный резной крест с надписью, в которой отрицалась церковь. В конце этой надписи идет непонятное и бессмысленное сочетание букв. Совершенно ясно, что это тайнопись. Многие ученые считали, что мастер, опасаясь, и не без основания, мести со стороны церковников, поставил свою подпись, но зашифровал ее.

Долгое время никому не удавалось прочесть его имя на этом чудом сохранившемся до наших дней деревянном кресте.

А вот Борис Александрович расшифровал.

Буквы древнерусского алфавита имели цифровое значение. Мастер применил очень остроумную систему шифровки: раскладывал надвое цифровое значение каждой буквы своего имени и фамилии и затем записывал получившиеся таким образом буквы. Чтобы расшифровать надпись, нужно было сложить числовое значение парных букв и подставить букву, выражающую сумму. Например, чтобы зашифровать букву «д», мастер делил ее цифровое значение — 4 — на два слагаемых — 2 и 2, которым соответствовали буквы «вв».

Ученый, расшифровавший надпись, проявил не меньше остроумия, чем мастер при ее зашифровке. Наверное, резчик надеялся, что найдется в конце концов человек, который расшифрует надпись, но не донесет на него попам. Что же, мастер оказался прав, хотя расшифровщик и появился только шестьсот лет спустя после того, как сделан был крест.

Так мы узнали имя этого замечательного художника и умельца— Яков Федосов.

— Здорово! — искренне сказал я, оторвавшись от статьи.— От души поздравляю вас с успехом, но при чем же тут все-таки господь бог?

— За разъяснениями обратитесь к вашему другу, Михаилу Григорьевичу,— улыбаясь, ответил Борис Александрович.

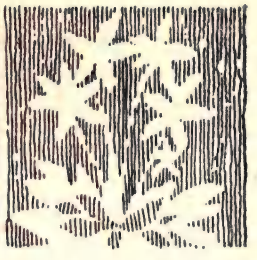
Тут я вспомнил, что Михаил Григорьевич недавно опубликовал отличную популярную книгу

ГМАМАС • РРАКС • Т • ВВМАРРМА

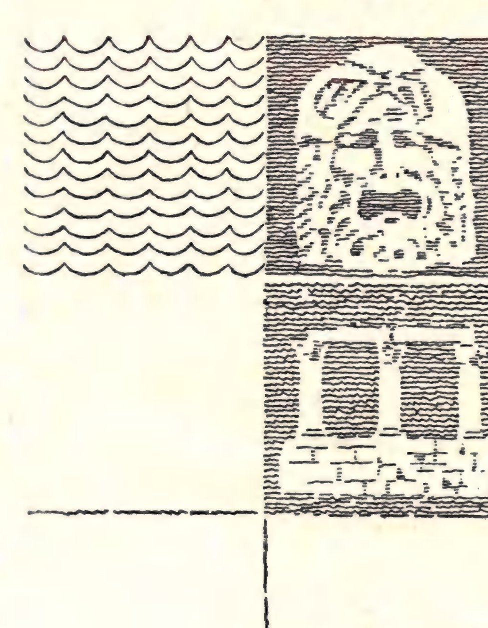
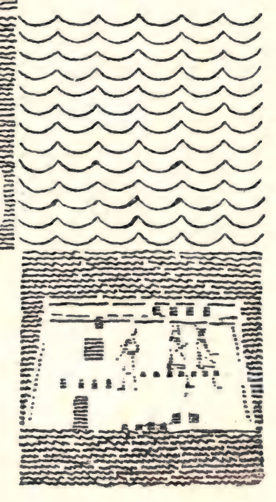
«Судьбы вещей», один из рассказов которой посвящен Людогощинскому кресту.

Дома, раскрыв книгу, я прочел относительно тайнописи на кресте следующее: «Вероятно, резчик и поставил свою подпись, но сделал это так, чтобы разобрать ее мог разве только один господь бог».

Так и получилось, что археолог стал богом. А скорее всего, мастер Яков рассчитывал все же не на бога, а на человека. И не ошибся.

ПАРАЛЛЕЛИ И МЕРИДИАНЫ



ЦАРА РОМЫНЯСКА

(Земля румынская)

Работа в Румынии стала логическим продолжением многолетних археологических раскопок в Молдавии. В судьбах населения этих стран с глубокой древности было много общего, обе они тесно связаны на протяжении своей многовековой истории со славянами. Однако до установления народной власти археологические исследования в Румынии были очень тенденциозными.

Буржуазные археологи раскапывали на территории этой страны главным образом поселения эпохи римской оккупации II—III веков нашей эры. Средневековые памятники, в которых ярко прослеживаются многообразные связи между нашими народами, попросту почти не изучались. Перестраивая работу на новый лад, румынские археологи, естественно, не раз обращались за помощью и советом к нам — их советским коллегам. Так началась и все более крепла наша дружба. Не раз в числе сотрудников экспедиции работал я на территории Румынии. Изучал музейные фонды в Бухаресте, в Клуже и Яссах, Галаце и Констанце и в других румынских городах. Проходил с разведкой в горах Трансильвании, среди озер и плавней Добруджи, в долинах Мунтении, по холмам Молдовы. Принимал участие в советско-румынских археологических семинарах. Их состоялось уже четыре: первый — в Алчедарском лагере нашей экспедиции, второй — в Кишиневе, третий и четвертый — в Бухаресте. Не раз работали и у нас в Молдавии румынские археологи. Каждый год крепнет наша дружба, в совместной работе мы учимся друг у друга, вместе решаем общие научные проблемы, все лучше узнаем друг друга и наши страны. За годы совместной работы много было сделано и много пережито.

Мои записные книжки полны не только археологическими заметками, но и описанием различных встреч, случаев, впечатлений. Превратить их в связный и законченный рассказ или в книгу рассказов о Румынии оказалось гораздо труднее, чем написать и опубликовать несколько научных статей о румынской и молдавской археологии. Но я все же обязательно постараюсь написать такую книгу. А пока мне хочется рассказать о двух историях, связанных с Румынией.

Об одной из них я узнал во время своего первого посещения Румынии, вторая началась недавно и еще не закончилась.

Людей, которые принимали участие в этих историях, разделяют столетия, жизненные интересы и многое другое. Но объединяет их, как мне кажется, самое главное — верность своему долгу, мужество и бескорыстие.

ЗАМКА

На северо-востоке Румынии, в Буковине, находится город Сучава, сейчас — центр небольшой области, некогда — древняя столица всей Молдавии.

Бродя по окрестностям Сучавы, я обратил внимание на каменную крепость, которая стоит на вершине высокого холма к западу от города.

Крепость привлекла мое внимание необычными для местной архитектуры, но чем-то знакомыми пропорциями, восточным обликом многогранных башен и видневшегося в центре собора.

Вершина холма возле крепости была изрыта глубокими траншеями, изборождена валами и эскарпами. Все говорило о том, что здесь работали опытные военные инженеры, происходили когда-то напряженные военные события. Сейчас эти сооружения имели вполне мирный вид. Траншеи и валы поросли густой сочной травой, среди которой пестрели головки мальв. На дне глубокого рва паслась рыжая коза.

Крепостные стены, построенные в виде правильного замкнутого четырехугольника, были очень древними. Подножия их обомшели, а кое-где в неглубоких выбоинах выросла трава и даже целые деревца. Однако, несмотря на древность, стены эти показались мне удивительно прочными и добротными.

С плато открывался широкий вид на зеленые спокойные холмы, которые тянулись один за другим до самого горизонта. Вокруг не было ни души.

Над воротами, сделанными в двух противоположных стенах крепости, возвышались мощные четырехугольные башни. Одна из них метров двадцать высоты, другая — поменьше. Большую башню из темно-красного кирпича, как богатырский пояс, стягивала посередине широкая полоса из трех серых каменных лент, переплетенных между собой.

Порталы крепостных ворот обрамлены желтоватыми резными каменными плитками. На плитках изображены гроздья винограда, розетки, цветы. Ни одна плитка по рисунку не похожа на другую.

Этот орнаментальный прием очень характерен для армянского искусства.

Я обошел крепость и вошел внутрь. Собор, стоящий в центре крепости, выстроен в строгих традициях классической армянской архитектуры. Он увенчан стройным восьмигранником купола, такой же восьмигранник возвышается и над большой башней.

Вокруг собора — каменные надгробья с клинообразными армянскими надписями. В одном из боковых приделов — большая надгробная плита. Здесь погребен армянин Агобша Вартанян — строитель собора.

Надвратные башни, собор и крепость, такие обычные где-нибудь на склонах Арарата, в окрестностях Севана или Гарни, производят здесь, среди зеленых холмов Молдовы, странное и загадочное впечатление.

С трудом разыскал я сторожа. Это был тощий старик со сбитой набок бородкой. Он размахивал руками и говорил такой непонятной скороговоркой, что даже раздосадовал меня. Его маловразумительный рассказ отнюдь не удовлетворил, а только подогрел мое любопытство. Оказалось, что крепость-монастырь построена еще в XVII веке какими-то армянами, которые здесь и жили. Большая башня называется параклис. Вся же крепость издревле носит странное, славянское название — Замка.

Вот и все, что сообщил мне сторож, или, вернее, все, что я мог понять из его сбивчивых объяснений, да еще на чужом для меня языке.

— Светлые были люди! — сказал под конец сторож.

— Это почему же? — спросил я.— Богу, что ли, усердно молились?

— Они по-своему молились,— загадочно ответил сторож.— Их молитву не услышал бог, но люди помнят эту молитву.

Заинтригованный всем виденным и услышанным рассказом, я стал расспрашивать старожилов Сучавы, познакомился со старинными документами и книгами. Официальная историография почти ничего мне не дала. Но так захватили меня поиски, что вместо двух-трех часов, как предполагалось, я пробыл в Сучаве и в окрестных деревнях четыре с лишним дня.

Вернувшись наконец к Замке, я по-новому увидел монастырь, и необычайная жизнь его строителей и обитателей прошла передо мной.

В XVII веке многие армяне, потеряв жен и детей, перерезанных турками в сожженных деревнях, разбитые в неравных боях с янычарами султана, вынуждены были бежать за пределы родины.

Часть беженцев нашла приют за тысячи километров от родной земли, под защитой Молдавского государства, где и раньше селились их соплеменники.

Бездомные, одинокие странники, они сошлись здесь и построили этот монастырь по образу и подобию тех, которые строили на своей далекой родине.

Среди беженцев было много талантливых людей — зодчих, художников, камнерезов. В их творчестве ярко видны и любовь к родному искусству, и скорбь о погибших, и смелая, гордая мысль.

Узкая, крутая лестница с выбитыми ступенями, сделанная в толще стены, ведет в надвратную церковь. Яркий солнечный луч, пробившись сквозь круглую бойницу, осветил тончайшие спи-



рали резьбы, которыми покрыты стены. Алтарная абсида, обрамленная широкими плетеными каменными поясами, украшена фресками. Нежные, мягкие тона и полутона — коричневатые, кремовые,— которыми написаны фрески, создают настроение тихой, задумчивой печали.

Мы привыкли видеть в центре церковной фресковой живописи грозный лик пантократора — вседержителя, «властелина мира», гневные, величественные лица апостолов, торжество и пышность могущества «небесных сил», всепроникающие глаза, которые вопрошают о грехах и призывают к покаянию.

Здесь, в центре,— сцена успения богородицы. На небольшом возвышении лежит женщина с утомленным, добрым лицом. В скорбном молчании склонились вокруг умершей длиннобородые старики армяне, молодые статные воины. Вокруг центральной фрески — различные сцены из жизни богородицы.

Вряд ли это случайно. Неизвестный художник, когда писал эти фрески, видел, наверное, перед собой одну из жертв кровавой резни на своей истерзанной родине.

Бежавшие сюда, за тысячи верст, армяне хорошо знали цену жизни и свободы, они знали, что и за эти тихие зеленые холмы Молдовы нужно уметь сражаться, что и сюда может прийти беда.

Замка — не только монастырь. Это и первоклассная крепость. Высоки и широки каменные монастырские стены. Каждый кирпич и камень в них отбит по ниточке и укреплен на прочном растворе. По обе стороны стен поставлены мощные контрфорсы — каменные подпоры. В надвратных башнях по углам и прямо у алтарей — широкие, прямые и скошенные бойницы. Хорошо продуманная система этих бойниц, расположенных под разными углами и во всех направлениях, давала возможность открыть фланкирующий и прямой кинжальный огонь по любой точке на подступах к крепости.

Узкие каменные кельи, в которых жили и оплакивали погибших на родине обитатели монастыря, расположены как боевые ячейки вдоль наружных стен башен. Островерхий вход в кельи настолько низок, что

пройти через него можно, лишь сильно согнувшись. Внутри только каменные лежанки. Окон нет. Вместо них в каждой келье — узкая амбразура в стене и косая бойница в полу, чтобы поливать расплавленной смолой и забрасывать камнями противника.

За тысячи верст ушли от войны беженцы к этим мирным зеленым холмам. Здесь они строили, пахали, разводили скот. Сначала делали все это словно во сне, повинуясь лишь инстинкту самосохранения. Работали, чтобы не думать, доводили себя до изнеможения, чтобы не чувствовать. Они слушали пение хора, а слышали стоны распятых и сжигаемых заживо; они глядели на работающих в поле крестьян, а видели тела и лица своих близких, изрезанные кривыми ятаганами; они зажигали свечи, и в мерцающем огне виделось им чадное пламя пожаров.

Но вот однажды ранним весенним утром монах-землероб вышел в поле. Солнце только всходило. Поле было вспахано и засеяно. Оно еще чернело комками земли. Еле виднелась в нем почти призрачная зелень всходов. Землероб склонился к борозде. Маленький росток пшеницы, казалось, чудом пробил землю. Только-только проклюнулся и стоял неподвижно, свесив два острых листика, словно обессилев от неимоверных трудов. Между листками блестела мутная капля, как пот на лице работника. В тонком, нежном, еще белесом ростке угадывалась могучая плодоносящая сила, которая вскоре яркой и сочной зеленью неотвратимо покроет все поле, заставит тянуться вверх окрепшие стебли, набухать и тяжелеть зерна в колосьях.

Глаза землероба были уже много лет сухими, как высохшие озера. Он припал к теплой, не остывшей за ночь земле и поцеловал ее.

Высоко в небе пел жаворонок. Тихо гудели пчелы.

Вдруг на неоседланных конях проскакала ватага ребятишек из соседней деревни, гоня табун лошадей на водопой к реке. Среди них — знакомый беженцу Влэдуца, сирота, деревенский подпасок.

Влэдуца еще совсем маленький, но крепко держит он веревочные поводья, смело блестят его черные глаза, изо всех сил стукает он лошадь босыми пятками, стараясь вырваться и скакать впереди всех, острые ло-

патки так и ходят под тонкой, гладкой, уже загорелой кожей.

«Надо будет сделать ему бурку,— размышляет беженец и усмехается сам себе.— Нехорошо джигиту без бурки! Черной шерсти полно на сукновальне. А серебряную тесьму на ворот и застежки выпрошу у отца эконома».

Он встал и пошел к крепости.

Время, тихая, щедрая природа, доброта мирных людей, окружающих изгнанников, начали брать свое. Души, испепеленные огнем, залитые кровью, стали возвращаться к жизни.

Не забыть погибших. Не вытравить из сердца печали. Не заглушить беспокойства и тоски по родной земле, которую пришлось покинуть навеки.

И все же... Жизнь возвращалась, а вместе с ней возвращались надежды и счастье...

Но война, громыхая и сметая все на своем пути, пришла и сюда, в эти тихие, мирные края.

Огромное войско польского короля Яна Собесского вторглось в Молдавию.

Древняя столица Сучава была беззащитной. Еще за десять лет до этого под давлением турок были разрушены ее укрепления.

Лишь Замка стояла на пути к Сучаве. Но этой маленькой крепости интервенты не придавали никакого значения. Они только собирались разместить в ней войсковые интендантские склады...

Утром монах-землероб, собираясь на работу, взглянул в амбразуру.

По полю двигались войска. Полированные железом и медью сверкали на солнце доспехи наемных австрийских ландскнехтов; гонведы в расшитых золотом мундирах горячили коней, высоко вздымались бунчуки с конскими хвостами; как на параде, держали строй голубоглазые рослые уланы под хоругвями с изображениями ченстоховской божьей матери. Орлы грозно взмахивали крыльями на золоченых шлемах всадников и на тяжелых бархатных знаменах.

Впрочем, самим обитателям монастыря, возможно, ничего особенно не угрожало. Христианнейшему католическому королю не пристало убивать единоверцев-

христиан, смиренных служителей бога, хотя бы и иной церкви. Их, вероятнее всего, просто выселили бы куда-нибудь поблизости на время военных действий.

Притаившись в укромном уголке, они могли бы переждать конца войны, а затем вернуться к себе в монастырь или построить новый.

Но королевские кони топтали зеленые нивы, в воздухе потянуло гарью с полей, языки пламени поднялись над окрестными деревнями. И впервые за время существования Замки под сводами его загремел набат.

Беженцы не струсили, не изменили, не отплатили неблагодарностью за гостеприимство своей новой родине.

Когда надменный король повелительно постучал железной перчаткой в ворота крепости, над параклисом поднялось боевое знамя молдавской короны с изображением головы зубра со звездой между рогами. Тщетно трубили в серебряные трубы королевские герольды, вызывая на переговоры обитателей крепости.

Загадочный гарнизон молчал. Монахи-воины знали свой долг и свою судьбу. Вытянув длинноствольные боевые мушкеты, закатав рукава черных ряс, припали они к бойницам.

Когда вражеские солдаты-жолнеры попробовали выбить крепостные ворота тараном, на них обрушился шквал огня.

Взбешенный неожиданным сопротивлением, Ян Собесский приказал немедля взять монастырь и перебить гарнизон.

Но крепки монастырские стены, отважны, опытны и непреклонны их защитники.

Королю долго пришлось простоять здесь, прежде чем последний из монахов-воинов пал мертвым около амбразуры в своей келье. Это дало населению Сучавы главное — время. Пока длилась осада Замки и гремел неравный бой, старики, женщины и дети ушли из города и скрылись в потаенных местах в глухом лесу, а все способные носить оружие устремились под знамена молдавского господаря. К его ставке уже стягивалось ополчение, господарские дружины, рыцарские отряды, боярские полки — стягури.

После долгих кровопролитных боев, которые раз-

вернулись по всей Молдавии, Собесский вынужден был перейти к обороне, отступил к Замке и начал спешно укреплять его.

Он насыпал высокие валы и выкопал глубокие рвы, а через некоторое время так и ушел восвояси...

У воинов-армян из Замки не было здесь ни жен, ни детей, ни родственников. Их некому было даже оплакать по древним обычаям предков. Но память о них живет в народе.

С тех далеких времен, вот уже несколько столетий, по традиции, на праздник весны — Мэрцишор собираются у Замки крестьяне из окрестных деревень. Молодые люди поют, танцуют, дарят друг другу серебряные безделушки на цветных ленточках и иногда задумчиво слушают рассказ какого-нибудь старика о делах минувших, о людях Замки, о верности и мужестве, которым жить и жить вовек, пока живы будут на земле люди.

ПЕРВЫЙ ПАПИРУС

Я спокойно работал в своем кабинете, как вдруг раздался длительный прерывистый звонок: «Вас вызывает Бухарест!» — и я услышал взволнованный голос:

— Говорит секретарь директора Института археологии Румынской академии академика Кондураки. У телефона сам академик и профессор Вулпе. Они просят передать: несколько часов назад профессор и его сотрудники, ведя раскопки руин древнегреческой колонии недалеко от Констанцы, обнаружили круглый каменный склеп. Они расчистили вход и проникли внутрь склепа. Там лежал скелет человека с золотым лавровым венком на черепе и папирусом в правой руке. Папирус испещрен письменами. Судя по амфорам, которые находились в склепе, папирус и весь этот комплекс датируются четвертым-третьим веками до нашей эры. Когда один из ученых дотронулся до отслоившегося кусочка папируса, он мгновенно превратился в прах. Археологи быстро покинули склеп, вход тщательно закрыли досками, камнями, завалили землей. Профессор немедленно прибыл в Бухарест. Вы пони-

маете, как важно, как необходимо сохранить этот папирус! Но у нас нет египтологов, нет специалистов по консервации папирусов. Помогите!

— Но ведь я тоже не египтолог,— ошеломленно ответил я,— и не специалист по консервации!

— Да, да, знаем,— ответил секретарь,— но вы наш старый товарищ по работе, а в вашей стране не может не быть специалистов по любому вопросу. Главное — время, сейчас оно так дорого!

— Хорошо, позвоните через час.

Немедленно я начал звонить во все учреждения, где могли быть люди, знакомые с консервацией папирусов. Но оказалось, что не так-то легко даже в Москве найти специалиста. Профессия, что ни говори, редкая.

Что же делать? Ведь может погибнуть открытие мирового значения!

Четвертый век до нашей эры... Время Александра Македонского... Эпоха эллинизма... Период теснейших связей западной и восточной цивилизаций.

Но как даже в это время на берега Черного моря мог попасть папирус? Ведь папирус — бумага из особого сорта тростника — в Европе не употреблялся. Какие тайны хранит свиток? Что начертано на нем? Кем был человек в золотом лавровом венке, погребенный в каменном склепе и в течение двух с лишним тысяч лет сжимавший в руке папирус? Может быть, это был знаменитый поэт, увенчанный за свои произведения лаврами, в могилу которого положили папирус с лучшим из его творений? Может быть, прославленный ученый? Что бы там ни было — это первое открытие такого рода. Невозможно даже оценить его значение. И все под угрозой гибели! Ведь в склеп, многие сотни лет герметически закрытый, проник свежий воздух, отчего весь папирус может рассыпаться, и мы никогда не узнаем скрытой в нем тайны.

Нужно спешить! А до конца рабочего дня осталось несколько часов, и я никак не могу найти специалиста по консервации. В Институте археологии Академии наук СССР мне дали телефон научного сотрудника-египтолога, который может быть знаком с консервацией. Но по телефону никто не отвечает. А время все идет и идет...

Звоню секретарю Отделения исторических наук академику Евгению Михайловичу Жукову. Он сразу оценил важность открытия. Он называет фамилию крупного мастера реставрации и консервации — Михаила Александровича Александровского, главного реставратора Музея изобразительных искусств имени Пушкина. По представлению Евгения Михайловича Президиум Академии наук СССР принял решение немедленно направить Александровского в Бухарест. Надо срочно найти его.

Но вот несчастье! Михаил Александрович работает в музее через день. Сегодня его там нет, а живет он сейчас где-то на даче, и адрес никак не могут найти.

И снова звонок из Бухареста.

— Товарищ Кондураки,— отвечаю я,— делаем все возможное. Позвоните, пожалуйста, еще через час.

Лихорадочно перелистываю записную книжку и... прихожу в отчаяние. Разгар полевого археологического сезона, все специалисты по реставрации и консервации находятся в поле, в экспедициях. Звоню наугад в разные учреждения, имеющие хоть какое-нибудь отношение к делу. И вдруг — неожиданная удача! В Центральных реставрационных мастерских мне отвечают, что у них только что был Александровский и отправился в музей имени А. С. Пушкина.

Наконец-то мы разговариваем с Александровским. Передаю историю драгоценной находки. Он очень взволнован.

— Михаил Александрович,— спрашиваю я,— готовы ли вы вылететь в Бухарест?

— Да, конечно,— убежденно отвечает он.

— Может быть, вылететь придется ночью и сразу с одного самолета пересесть на другой, который доставит вас к месту раскопок. И дорога тяжелая, и дело очень трудное. Вас это не смущает?

Михаил Александрович медленно отвечает:

— Я готов. Я давно готов. Может быть, всю жизнь я прожил для этого полета.

Значит, это именно тот человек, который нужен для такого дела.

— Михаил Александрович,— говорю я,— вы обеспечите окончательную консервацию папируса, чтобы

можно было развернуть его, закрепить и прочесть. Но что делать сейчас? Ведь пока вы окажетесь на месте, папирус может рассыпаться: в склеп проник свежий воздух!

— Вы правы,— отвечает Александровский.— Позвоню вам через двадцать минут. За это время составлю рецепт препарата для временной консервации.

Итак, реставратор найден. Но это далеко не все. Оформление выезда за границу, получение визы, паспорта — сколько на это требуется времени, а дорог каждый час, каждая минута!

И опять приходит на помощь Евгений Михайлович Жуков. Он обращается в высшие инстанции и все улаживает. Александровский может вылететь ночным самолетом.

Уф! Кажется, можно немного перевести дыхание... Не скрою, было приятно, что румынские товарищи обратились за помощью именно ко мне. Это — свидетельство настоящей творческой дружбы. А дружба эта не случайна, она уже имеет прочные традиции...

Мои размышления прерывает телефонный звонок. Тщательно выговаривая каждую букву, диктует рецепты консервирующих составов Михаил Александрович. Только успел записать их, как вновь звонок из Бухареста.

С радостью сообщаю: главный реставратор Музея имени Пушкина Михаил Александрович Александровский вылетает в Бухарест специальным самолетом. Диктую рецепт консервирующих составов, которыми должен быть покрыт папирус до прилета реставратора.

Кажется, все сделано... Наконец-то кончился этот трудный и счастливый день...

Пока Александровский находился в Румынии, я все время волновался и думал о нем, как волнуются и думают о близком человеке.

И вот мы встретились с Михаилом Александровичем после его возвращения из Бухареста. Он пожал мне руку, передал письма и книги от румынских друзей, усадил в кресло и начал рассказывать.

Руки у него красивые, с сильными тонкими пальцами, какие часто бывают у музыкантов. Говорил он неторопливо, спокойно, даже несколько меланхолически.

Выражение его худого лица, с крупными резкими чертами, почти не менялось. За этим внешним спокойствием — нет, не просто угадывался, а отчетливо проступал страстный темперамент борца и ученого, умудренного огромным опытом, долгой трудовой жизнью.

— Все было обставлено очень торжественно,— задумчиво склонив седую голову, сказал Михаил Александрович.— Собралось много ученых из Румынской Академии наук, из музеев, был и фотограф. Склеп открыли.

Меня поразила необыкновенная чистота внутри склепа. Стены его сложены из отлично пригнанных друг к другу известняковых камней. Скелет лежит в центре склепа, на спине. Судя по антропологическим данным, это мужчина высокого роста, умерший в возрасте лет пятидесяти — шестидесяти. Сохранились остатки кожаных сандалий, ткани, керамические бусины в форме ягодок.

Основная часть свернутого в трубку папируса была зажата в правой руке, но отдельные, отслоившиеся кусочки его лежали в разных местах. Свиток имел в ширину около тридцати сантиметров и состоял из нескольких витков.

Я залил в пульверизатор однопроцентный водный раствор консервирующего препарата, спустился в склеп и стал осторожно опрыскивать маленькие, отдельно лежащие кусочки папируса.

Работать пришлось в течение нескольких часов в очень неудобной позе, стоя на коленях над скелетом. Вот так! — сказал Михаил Александрович и, неожиданно соскользнув с кресла, стал на колени на паркетный пол комнаты.— У меня потом долго ноги болели, как после верховой езды,— добавил он, снова садясь в кресло и улыбаясь мягко и застенчиво.— На кусках папируса виднелись черные, написанные чернилами буквы,— продолжал он.— Можно было даже разобрать, что это греческие буквы. Впрочем, только на некоторых кусках они проступали четко, а на большинстве были едва заметны. Я опрыскивал куски папируса, но состав не впитывался, папирус не твердел. А ведь случай исключительный! Что же делать? Отложил пульверизатор, взял себя в руки, стал обдумывать.

Очевидно, в том-то и дело, что случай исключительный. В музее при консервации папирусов мы встречаемся с совершенно чистыми экземплярами, а этот мог пропитаться продуктами разложения, был покрыт пылью и прахом тысячелетий...

Решил сделать раствор более концентрированным. Вместо однопроцентного стал опрыскивать двухпроцентным. Никакого результата. Все больше и больше усиливал концентрацию, но ничего не получилось. И лишь когда я взял почти четырехпроцентный раствор, папирус, наконец, начал твердеть.

А потом я увидел на кусочке глины отпечатки черных букв с папируса. И тут мне стало не по себе. Понимаете, египтяне применяли водостойкие чернила. Но ведь это писали не египтяне. Письмена греческие. Что, если здесь пользовались неводостойкими чернилами? Ведь я опрыскивал папирус водным раствором! Ткань папируса закрепилась, но буквы могли исчезнуть!

Внимательно в сильную лупу рассмотрел я кусочек глины с буквами. Нет, это не отпечатки букв на глине. Просто папирус превратился в прах, и сохранились лишь исписанные буквами части его на кусочке глины. Чернила оказались водостойкими...

По окончании консервации папирус вынули из склепа; в Бухаресте я еще раз укрепил папирус. Удалось даже расслоить и разгладить часть свернутого в трубку свитка.

— А где же теперь папирус? — спросил я.

— Здесь,— ответил Михаил Александрович и раскрыл три лежавшие на столе белые коробочки.

Тщательно переложенные марлей, в них покоились темно-желтые и коричневые кусочки папируса и даже целая трубочка свитка. На некоторых кусочках можно было рассмотреть черные греческие буквы, на других они едва угадывались, на третьих были незаметны даже в сильную лупу.

— Румынские товарищи,— сказал Михаил Александрович,— попросили меня взять папирус в Москву, чтобы завершить консервацию и при помощи всех технических средств нашего музея прочесть и зафиксировать надпись. Вот и все. Это был самый исключительный случай в моей практике.

Я с трудом оторвал взгляд от папируса, спасенного для науки золотыми руками, знаниями и волей Михаила Александровича.

...Прошли месяцы напряженного труда. Извлеченный из склепа папирус был развернут, подвергнут тщательной реставрации и окончательной консервации.

Теперь перед учеными-палеографами и реставраторами стоит вторая важнейшая задача — восстановить полностью, насколько это окажется возможным, текст. Обыкновенное фотографирование папируса с применением самых различных мощностей и углов освещения не принесло желаемых результатов. Ничего не дали съемки и в отраженных ультрафиолетовых лучах. Слишком стертыми оказались многие буквы текста. Были использованы все современные достижения музейной техники. И вот, наконец, при многократных съемках в инфракрасных лучах начали отчетливее выступать полустертые, еле заметные буквы и следы от букв. Тайна папируса начинает раскрываться. Но много еще пройдет времени, много будет затрачено труда, прежде чем весь текст, написанный на папирусе, будет выявлен и сфотографирован. И тогда перед учеными встанет третья важнейшая задача — кропотливая работа над расшифровкой и прочтением текста более чем двухтысячелетней давности.

Пока можно высказать только некоторые предположения.

Склеп, в котором был найден папирус, расположен в некрополе у древнегреческой колонии Каллатиса. Человек, погребенный в склепе с золотым лавровым венком на голове и со свитком папируса в правой руке, был знаменитым греческим историком, известным под именем Димитриоса Каллатийского. На труды его не раз ссылались древние ученые, описывавшие побережье Черного моря. Никто не знал точно, когда и где жил Димитриос, где он умер...

А может быть, это был человек, оказавший какие-то огромные услуги жителям колонии, совершивший ради них замечательные подвиги и за это увенчанный лаврами, а на папирусе начертано описание его подвигов и заслуг...

Впереди еще долгая, тщательная работа. Но можно

быть уверенным в том, что она завершится успехом. Опытные, знающие, упорные люди занимаются этим благородным и важным делом.

...Так редчайший документ, обнаруженный в античном склепе, оказался не только драгоценной реликвией прошлого, но и не менее ценным свидетельством братской дружбы и взаимопомощи ученых социалистических стран.



ДОРОГА НА БУКОВ

Когда я в первый раз был в командировке в Румынии, мы почти все время путешествовали вместе с Еудженом Комшей. Нас познакомили в Институте археологии Румынской Академии наук в Бухаресте. До этого я никогда не встречался с Комшей, хотя я знал его по работам как серьезного и интересного ученого. Оказалось, что Комша — невысокий жилистый человек лет

тридцати пяти. У него большие небесно-голубые глаза, огромный лоб, крючковатый нос. Когда нас познакомили, Комша широко улыбнулся открытой улыбкой, но тут же спохватился, и лицо его снова стало чрезвычайно серьезным. В обществе Комши мне предстояло путешествовать по всей стране. Я собирался изучить в археологических музеях те материалы, которые в той или иной мере связаны со славянской культурой. Кроме того, мне хотелось ознакомиться с возможно большим количеством археологических памятников на месте и, если удастся, принять участие в раскопках. Но в этом последнем мне не повезло. Стояла ранняя весна, и археологи только еще собирались в экспедиции.

С Комшей мы быстро подружились. Он был нетребовательным и легким спутником, отличным разведчиком-археологом, хорошим товарищем. Правда, у этого умного и интересного человека было и одно несколько гипертрофированное качество: он хотел, чтобы в его стране я во что бы то ни стало видел даже мелочи только в самом лучшем свете.

Понятно, что это далеко не всегда получалось, так как мы не сидели в столичных театрах и ресторанах, а бродили по всей Румынии, ночевали где придется и видели разные стороны жизни. Из-за этого, особенно в первое время, у Комши было много хлопот, а иногда он прямо-таки расстраивался. Кстати, расстраивался он совершенно напрасно. Именно возможность видеть не только парадную, а обычную, будничную жизнь и привела к тому, что я особенно горячо полюбил эту страну и ее народ.

Комша вначале, видимо, считал, что со мной, как с гостем, он должен быть непременно серьезен, преисполнен достоинства. При его живом характере это удавалось ему с большим трудом.

Работать с Комшей было одно удовольствие, и он оказывал мне неоценимую помощь. Во всех музеях, которые мы посещали, Комша со сказочной быстротой делал десятки необходимых нам зарисовок, причем делал их точно и умело. Он работал удивительно увлеченно. Прищурив один глаз и то по-птичьи округлив другой, то растянув его в узкую щелочку, он рисовал плавными уверенными движениями, целиком погружа-

ясь в работу. На мгновение отрываясь, он бросал на меня быстрый веселый взгляд и спрашивал:

— Так будет красиво, а?

Когда я благодарил его, он обычно заявлял:

— Это не совсем красиво. Вот когда мы приедем в Букурешть, я все сделаю тушом, тогда будет красиво.

Слово «красиво» служило у него высшим критерием для оценки людей, вещей, событий, погоды.

Как-то я сказал ему:

— Женя, почему вы все время говорите — «красиво»? Разве дело только в этом? Знаменитый авантюрист Борис Савинков тоже говорил: «Морали нет, есть одна красота!»

— А что же, выходит, что красиво — плохо? — оскорбился Комша.

— Да нет, совсем не плохо, только это далеко не все. Вот вы, например, конечно, красивы, но все же это не главное ваше достоинство.

При этих моих словах Комша покраснел от смущения.

Дня три-четыре он старался избегать рокового слова, но многолетняя привычка взяла свое. Все началось сначала, и черт меня возьми, если он и меня не заразил этим.

С Комшей мы почти все время спорили. Одним из частых предметов спора был вопрос о происхождении румынского народа, который по-настоящему стал разрабатываться археологами только в последние годы. Поскольку я много лет работаю в Молдавии, занимаясь историей народа, находящегося с румынами в ближайшем родстве, этот вопрос меня особенно занимал.

— Женя,— начинал я в очередной раз,— когда и как, по-вашему, сформировалась древнерумынская народность?

Женя сумрачно отвечал:

— Я вам уже сказал все, что знаю, Георгий Борисович. А потом, я вообще занимаюсь каменным веком.

— Не выйдет, Женя, вы румын, да еще и археолог. Должны же вы знать, откуда вы взялись.

Комша пятерней свирепо взлохмачивал и без того лохматые волосы и старался говорить отточенными формулами:

— Местные фракийские племена, после того как территория Румынии во втором веке была захвачена императором Ульпием Траяном, перемешались с римлянами, приняли их язык и многие из их обычаев. Когда же в шестом веке славяне заняли весь Балканский полуостров, это романское население оказалось окружено со всех сторон славянами. Славянская культура, очевидно, сыграла большую роль в формировании румынской культуры и языка. В румынском языке около тридцати процентов слов имеют славянское происхождение.

— Все это я знаю,— отвечал я.— Но когда же, по-вашему, образовалась собственно румынская народность?

Комша укоризненно качал головой и, насупившись, бросал:

— Наверно, тогда же, когда образовалось большинство народов Восточной и Юго-Восточной Европы — во второй половине первого тысячелетия нашей эры.

— Это похоже на правду,— не сдавался я.— Только вот вопрос: где же в материальной культуре доказательства этому? Ведь во второй половине первого тысячелетия нашей эры известная нам материальная культура населения Румынии носит ярко выраженный славянский характер. Да, конечно, окруженный со всех сторон славянским морем, маленький островок романской народности не мог не воспринять славянскую культуру. Но все-таки должны же быть в этой культуре какие-то только романцам свойственные черты. Где же они?

На этом этапе разговор обычно заходил в тупик. Средневековые поселения на территории Румынии начали изучать сравнительно недавно, и все, что до сих пор было открыто, действительно имело ясно выраженный южнославянский характер. А ведь должны же быть в этой культуре какие-то романские черты.

Не зная, что ответить, Комша обычно сердито советовал мне поговорить с Марией. Мария, его жена, отличный археолог-медиевист[1], была хорошо знакома мне еще по Москве, где она закончила аспирантуру. Во

[1] Медиевист — специалист по истории средних веков.

время нашего путешествия она оставалась в Бухаресте, готовилась к выезду на раскопки средневекового поселения Буков.

Последние дни поездки мы с Комшей провели в дельте Дуная, где среди бесконечных стариц, затонов, озер во множестве встречались остатки римских лагерей, средневековые крепости и другие интересные памятники. Мы уже выполнили всю намеченную программу. Через два дня мне предстояло возвращаться домой. Когда работа закончилась, изрядно усталые, глубокой ночью добрались мы до небольшого городка Тулчи, рассчитывая как следует выспаться, а на другой день вечером отправиться в Бухарест, чтобы поспеть к московскому поезду. Но не тут-то было. В гостинице нас ожидала телеграмма Марии. Из телеграммы явствовало, что Мария уже больше недели ведет раскопки в Букове и там найден материал, связанный с вопросом о происхождении румынского народа. Возможности увидеть это воочию никак нельзя было пропустить, хотя времени было в обрез.

Бросив рюкзаки в холле гостиницы, мы с Комшей помчались на автобусную станцию. Там выяснилось, что ближайший автобус на Констанцу отходит через два часа — в пять утра. В Констанце у директора музея мы рассчитывали получить машину, которая доставит нас в Буков. Ложиться спать не было никакого смысла, и оставшееся время мы решили побродить по городу. По неписаному правилу археологов, мы — во всяком случае вслух — не строили никаких догадок относительно того, что ждет нас в Букове...

Стало светать. Тулча была очень хороша в это тихое светлое утро. Это город рыбаков в низовьях Дуная. В широкой полукруглой бухте на причалах десятки судов — от ослепительно белых многоэтажных пассажирских пароходов до широконосых траулеров, закопченных буксиров и парусных рыбачьих суденышек с черными просмоленными бортами и латаными, грязноватыми парусами.

Город пропах рыбой, смолой, солью, крутым рабочим потом. Почти все ресторанчики и кафе названиями напоминают о море: «Пескэруши» («Чайка»), «Альбатрос», «Пескар» («Рыбацкий»)... Рыба лежит на витри-

нах магазинов, рыбу везут на рынок в четырехугольных тележках маленькие вислоухие ослики.

Только одна кондитерская носила какое-то не рыбное название — «Миорица». Я спросил, что это значит. Комша ответил:

— Такая красивый баран.— И, подумав, добавил: — Недостаточно по размерам.

— Недоразвитый, что ли, дефективный? — не понял я.

— Да,— ответил Комша,— но если хорошо кормить, оно может и развиваться...

— А, черт побери! Так что же, это ребенок барашка? Бэец? («Бэец» — по-румынски «мальчик»).

— Да, да,— ответил Комша.— Такой красивый бэец от барана.

— Ягненок, значит?

— Ягненок — это недоразвитое барашек?

Так и не договорившись, мы поняли, что оба устали и ничего уже не соображаем.

К счастью, началась посадка в автобус.

Кондуктор (которого здесь пышно величают «шеф-кассир» или более демократично — «таксатор») — веселый малый в синем кителе с серебряными шевронами и форменной фуражке с синим околышком — уже на ходу выбрасывает несколько «зайцев» и кричит шоферу: «Гата!» — что значит: «Порядок!»

Машина набирает скорость. Дворник — усатый старик в мягкой фетровой шляпе и потертом черном сюртуке, надетом прямо на голое тело,— салютует нам метлой, и... прощай Тулча.

Автобус летит с холма на холм. Тень его, в лучах восходящего солнца, длинная и узкая, бежит по зеленым лугам, по пестрым полоскам полей. Часто громко и без всякой надобности сигналит шофер. Мимо проносятся деревеньки с разношерстными домами — то каменными, крытыми черепицей, то белеными мазанками под камышовой крышей. Стада овец с маленькими ягнятами (миорица?) и непременным осликом — персональным выездом пастуха. Сам пастух в колоритной козьей шкуре длинным мехом наружу и в фетровой шляпе с пером. Вот крытые повозки — каруцы, запряженные парой волов или черных, словно лакирован-

ных, буйволов с большими ребристыми, прижатыми к шее рогами...

В автобусе очень шумно и тесно. Дети, мужчины в городских пальто и широкополых шляпах, нарядные девушки в разноцветных плащах, крестьянки в красочных национальных костюмах, с торбами, полными всякой снеди, медлительные царане — крестьяне в расшитых кожаных жилетках и высоких остроконечных бараньих шапках, с огромными оплетенными бутылями с вином. Автобус живет хлопотливой и шумной жизнью. Кто-то пошутил — и весь автобус хохочет. И в ссору тоже мгновенно включаются все. Вот бедовый маленький старик в синем берете торчком, в широком дорожном плаще. Сквозь узкие щелки хищно блестят желтоватые глаза, нос у старика — как у Мефистофеля, усы — седые, жесткие. Старик истошно ругается из-за места с молодой миловидной женщиной в синей суконной куртке с большими медными пуговицами. Старик бешено наскакивает на женщину и, хотя у него самого вовсе нет билета, утесняет ее и пристраивается на половину ее места. Но уже через пять минут старик обнимает соседку и, сверкая золотыми зубами, что-то рассказывает, а она от души смеется. У старика имеется термос на длинном кожаном ремешке, переброшенном через плечо. Не знаю, что в термосе, но ручаюсь, что не вода. Время от времени старик отвинчивает крышку, встряхивает термос, несколько раз делает им вращательные движения, а потом прямо из горлышка потчует соседку, да и себя не забывает. Оба уже раскраснелись и, видимо, вполне довольны друг другом... Разумеется, Комша принимает самое активное участие в общественной жизни. Он уже со всеми перезнакомился, успел через весь автобус поспорить с каким-то «militaru» (военным), успел покатать на коленях нескольких ребят и теперь шутит с Маричикой — так зовут собутыльницу старика в берете. Мне до смерти завидно: из-за слабого знания языка я не могу быть в этом автобусе полноценным пассажиром. Однако при помощи Комши я пытаюсь принять в общем разговоре посильное участие. Комша все время смеется, а голова его, как нимбом, окружена торчащими во все стороны волосами...

Вдруг почему-то остановка в чистом поле. Ага, это встречный автобус. Шоферы выходят, хлопают друг друга по плечу, закуривают.

— Здорово, друг!

— Здорово! Как дела?

— Э, ты знаешь? У Ионицы вчера родилась дочка!

— И вовсе не дочка, а сын! — поправляет из окна пассажир.

Шофер оглушительно смеется над коллегой:

— Э, друг! Я вижу, ты глаза уже пропил, не можешь отличить мальчика от девочки!

Пассажиры оскорбленного водителя вступаются за своего шофера. Их противники — за другого. Страшная перепалка заканчивается общим смехом, так как выясняется, что речь идет о разных Ионицах.

— Ну, друм бун! (Счастливого пути!) Друм бун!

— Друм бун!

Все расходятся по своим местам, отчаянно машут руками, кричат на прощание, будто провожают ближайших родственников в космический полет, и автобусы наконец-то разъезжаются в разные стороны.

Наконец мы прибываем в Констанцу, древний Томис, где, находясь в изгнании, жил и творил великий Овидий. Директор музея, дружелюбный волшебник, немедленно раздобывает для нас машину — потрепанную, но сильную «варшаву»,— и через несколько минут мы выезжаем по широкому Национальному шоссе в Плоешти — столицу нефтяников Румынии, в шести километрах от которой находится Буков.

Наш шофер, носящий поэтическое имя Замфир, полный меланхоличный человек с грустными черными глазами, вел машину с иссушающей душу медлительностью. На наши просьбы ехать быстрее он только безнадежно шевелил тонкими черными усами.

Когда мы были уже километрах в пятидесяти от Плоешти, нас постигло неожиданное несчастье. Замфиру пришло в голову переключить радиоприемник с одной волны на другую. Там транслировали матч между футбольными командами «Прогрессул» (Бухарест) и «Македонец» (Греция). Тут только я понял, что значит настоящий футбол и его болельщики. От черной меланхолии Замфира не осталось и следа. Он то раз-

ражался победными криками, то в отчаянии рвал на себе волосы и падал грудью на баранку. Машина, заливисто гудя, летела от одного красного столбика на обочине к другому. Только ширина и безупречное покрытие Национального шоссе спасало нас до времени от катастрофы. Для сохранения жизни я попытался урезонить Замфира, но ничего не помогало. Замфир рычал, хохотал, завывал, прижимал руки к груди, воздевал их горе́ — словом, делал что угодно, только не держал их на руле. К тому же он иногда нервно нажимал ногой на газ, и машина делала резкий рывок вперед. К сожалению, пассажиры были немногим лучше.

— Послушай! — закричал я Замфиру.— Мы же разобьемся!

Замфир только досадливо пожал плечами — не стыдно ли по пустякам беспокоить людей, когда на стадионе такое творится!

Разозлившись, я сказал:

— Останови машину! Я сам поведу!

Замфир послушно остановил, но тут же спохватился и спросил, есть ли у меня «карнет дэ кондучере» (шоферские права). Прав у меня с собой не оказалось. Замфир, уже было обрадованный, огорчился:

— Ну вот! Придется все-таки мне вести! А у меня уже желтый талон! Дальше остается только суд!

Мы поехали. По окрестным холмам уже шагали нефтяные вышки, и я с облегчением подумал, что до Плоешти осталось немного. Мы благополучно пересекли железную дорогу и еще километров пять ехали сносно, пока Замфир снова не вошел в раж. К счастью, клуб «Прогрессул» выиграл, да еще со счетом 2 : 0, а то не знаю, как бы мы доехали до Плоешти. Последние километры после победы Замфир был счастлив. Он распевал во все горло какой-то бравурный марш, а затем, внезапно бросив руль, так крепко обеими руками пожал мою руку, будто это я забил оба гола в ворота «Македонца».

В Плоешти Замфир заявил, что на почве сильных переживаний у него разыгрался аппетит и он обязательно должен пообедать. Все наши с Комшей попытки уговорить его повременить с обедом до Букова ни к чему не привели.

В нарядном чистом ресторане меня поразило объявление. Оно было написано крупными буквами и висело на самом видном месте против входа: «Стрикт оприт а кынтэ ын локал», что в переводе на русский язык означало: «Строго воспрещается петь в помещении».

Читая меню, я посоветовался с Комшей, что бы такое заказать на обед.

— Наш национальный еда — мамалыга,— ответил он.— Хотите покушать?

Я легкомысленно заявил, что ел много мамалыги в Молдавии и хотел бы заказать что-нибудь другое.

Все же Комша из патриотизма заказал себе мамалыгу.

— Смотрите, какая красивенькая мамалыга! — восторженно говорил он.— Мамалегуца, о, мамалегуца,— ворковал Комша, засовывая в рот сухую желтую кашицу.

Попробовав, он, однако, изменился в лице и стал не переставая пить большими глотками ледяную «апэ минерале» (минеральную воду). Потом, отставив тарелку с мамалыгой в сторону, он налег на приправу — сметану, поданную на отдельном блюдце. Макая в сметану хлеб, он уписывал его за обе щеки. Великодушие недолго боролось во мне с ехидством, и я спросил Комшу елейным тоном:

— Ну, Женя, почему же вы не едите такую чудную мамалегуцу?

— Эта мамалыга некрасивый! Это не можно кушать! — печально и твердо сказал Комша.

Подошедший официант прервал его объяснения. Я захотел заказать свиной шницель и спросил на всякий случай, не слишком ли он жирный. Комша туманно перевел ответ официанта:

— Шницель очень красивый, но несколько жирный.

Последовав совету официанта, я попросил «мушки гратарь». Он объяснил, что это жаренная на решетке баранина. Отчаянный Комша все же заказал свиной шницель. Минут через пять официант принес поднос с неизменным сифоном и поставил передо мной на тарелке кусок вареной говядины с рисовой кашей, а перед Комшей точно такой же кусок вареной говядины с рисовой кашей, но еще и с зеленым горошком.

— Позвольте! — удивился я.— Это, по-вашему, жареная баранина?

— Да, да, синьор! — отрывистым тоном занятого человека подтвердил официант, видимо величавший так всех иностранцев.

— А это, по-вашему, свиной шницель?

— Да, да! — повторил официант, подтверждая свои слова энергичными кивками головы.

— Послушайте! — настаивал я.— Но ведь и то и другое говядина!

Официант грустно стал что-то говорить, и Комша переводил ему в тон:

— Неужели синьор не может понять, что сейчас на кухне имеется только один большой некрасивый кусок коровы? Часа через два подвезут продукты. Я приглашаю синьора на ужин сюда, за этот столик,— он сделал королевский жест рукой,— и я сам буду иметь честь накормить синьора мушки гратарь.

Замфир, набивший говядиной полный рот, одобрительно кивал, слушая речь официанта.

Могу подтвердить, что, когда мы зашли в этот ресторан на обратном пути из Букова, официант свято выполнил обещание: мушки гратарь было отличным!

Но вот наконец мы снова в машине. Последний рывок — и за невысокими холмами на окраине Букова я увидел знакомые прямоугольники раскопов с четкой сеткой квадратов. Где бы ни довелось мне их видеть — в Алчедаре или на острове Кипр, в Варне или Александрии, в Остии или в Малине,— я с облегчением вздыхал — итак, я на месте, прибыл по назначению.

Мария, худенькая, стройная, в рабочем комбинезоне и с пестрой косынкой на голове, вылезла из раскопа, положила шпатель. Мы обнялись.

— Ну, показывай, дорогая! — быстро пробормотал Комша, прямо-таки подпрыгивающий от нетерпения.

Мария, слегка улыбнувшись, негромко и спокойно заговорила:

— Ничего сенсационного, но материал интересный. Селище относится к девятому-десятому векам нашей эры. В это время почти вся территория Румынии входила в границы Болгарского царства. Это было не просто политическое объединение с болгарами, а тесная

связь, глубоко проникшая во все области материальной культуры. Смотрите,— и Мария стала разворачивать пакеты с черепками,— больше половины всей керамики и по форме, и по выделке имеют яркие черты славянской посуды — грушевидная форма горшков, линейный и волнистый орнамент... Но где же материальные следы деятельности местного населения? Долгое время их не могли найти...

— Так, так! — порывисто прервал Марию Комша.— Георгий Борисович прямо-таки замучил меня этими вопросами.

Мария снова улыбнулась:

— Надеюсь, больше он не будет тебя мучить.— И она снова обратилась ко мне: — Может быть, древнее романское население было совсем вытеснено с этой территории болгарами? Нет, не похоже — ведь оно до сих пор здесь преобладает. Может быть, оно было полностью ассимилировано славянами и его материальная культура совершенно растворилась в славянской? И на это не похоже. Мы отлично знаем своеобразную и выразительную древнерумынскую культуру, начиная со времен образования придунайских романских княжеств — с четырнадцатого века. Значит, она не должна была исчезнуть бесследно и в период болгарского господства. Но на всех поселениях девятого-десятого веков в Румынии материальная культура носит славянский облик. Где же культура местного населения?..

Тут уже и я не выдержал:

— Знаете что, Мария, доклад о раскопках в Букове вы будете читать на секторе феодальной археологии в Бухаресте. А теперь покажите, что там у вас!

Но Марию не так-то легко было сбить с толку.

— При первом знакомстве материальная культура Букова имеет обычный болгарский облик. Но это только при первом знакомстве. А теперь — смотрите! — И она развернула новую серию пакетов с керамикой.

Это было удивительно. Здесь были обожженные докрасна обломки горшков, сделанные в традициях римско-византийской посуды, имеющие все особенности, характерные для римской посуды,— те самые особенности, которые местная керамика приобрела после захвата территории нынешней Румынии римлянами.

Более того, рядом черт эта посуда тесно связывалась с хорошо известной посудой румынских придунайских княжеств XIV—XV веков. Недостающее звено, связывающее культуру местного населения времен римского господства с культурой этого населения эпохи расцвета феодальных княжеств на территории Румынии, было найдено!

После того как мы с Комшей пересмотрели всю эту керамику, Мария сказала:

— А теперь взгляните еще на один более ранний тип посуды. Он тоже любопытен: тут видна древняя фракийская традиция.

Даже беглого взгляда на эту керамику достаточно было, чтобы убедиться, что Мария и здесь права. После осмотра керамики Мария подвела нас к почти квадратным ямам — тщательно расчищенным остаткам древних жилищ.

— Георгий Борисович,— спросила она,— какие отопительные сооружения характерны для славянских жилищ этого времени?

— Печки, сложенные из камней. Обычно овальной, реже прямоугольной формы.

— А для фракийских жилищ?

— Насколько я знаю — открытые очаги.

— А теперь посмотрите,— уже не таким спокойным, как прежде, тоном сказала Мария.

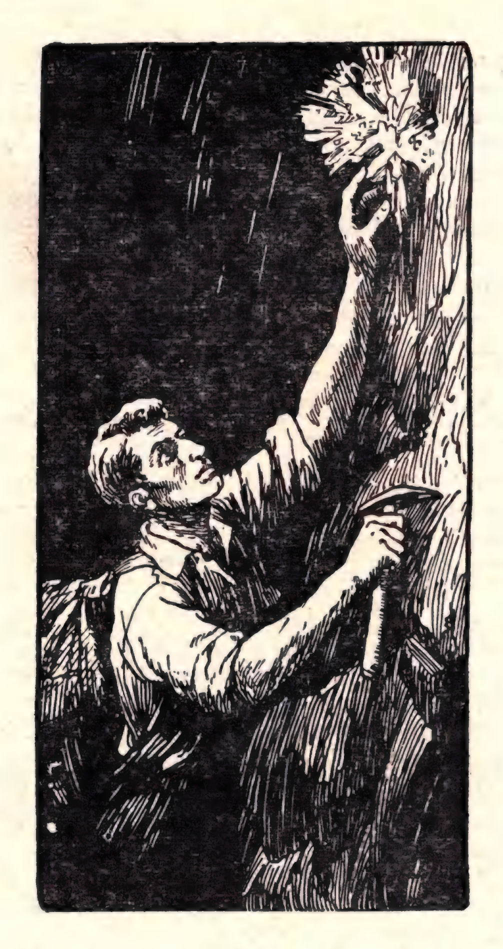
В каждом из отрытых жилищ находились в углу не печи, а именно открытые очаги. Это было здорово! Все основные элементы, из которых сформировался румынский народ, материализованные в его культуре, в деле его рук, лежали перед нами. Это были факты. Ясные, неопровержимые в своей определенности. Исконные древние черты местной фракийской культуры, могучие традиции романской культуры и, наконец, хорошо заметные славянские черты. Конечно, от этого еще далеко до решения всей сложной проблемы происхождения румынского народа, но это был вклад в решение этой проблемы, сделанный археологами. И вклад немалый. Кстати сказать, на этом примере археология уже не в первый раз опровергла идиотский миф, пропагандируемый фашистами всех мастей, о существовании так называемых «избранных народов». Человечество едино. И са-

мое формирование народов происходило в тесном общении и смешениях различных культур и племен. В этом единстве и смешении — один из главных залогов жизнеспособности человечества.

Я от души поздравил Марию с успехом, а кроме того, пригласил Марию и Женю принять участие в наших раскопках в Молдавии. Они охотно обещали приехать.

— Это будет красиво! — с пафосом сказал Женя.

Мои друзья выполнили обещание, и это действительно было красиво. Но это уже совсем другая история.



БЕЛЫЙ ЦВЕТОК КАМНЯ

В самой Синае — высокогорном румынском курорте — все очень уютно и пропорционально, как в хорошо обжитой квартире.

Там, где мы остановились, были казино, один парк, одна главная улица, один современный отель, а против него белый альпийский дом с черными многостворчатыми переплетами окон, балками перекрытий и балясинами перил.

Двускатная крыша дома высокая и круглая, как высоки и круты вершины соседних елей и сосен, для того чтобы тяжелые весенние снегопады не поломали деревьев и крыши. Со всех сторон плато Синая обступили горы. Если подняться на вершину и посмотреть на этот курортный городок сверху, то ощущение симметрии и пропорциональности еще усиливается, зато вокруг, насколько хватает глаз, громоздятся каменные, то поросшие сосной и елью, то голые скальные хребты Центральных Карпат.

Между хребтами проплывает сиреневая дымка, цепляются за ели белые облака, клубится сероватый туман. И ветер здесь тревожный, неровный, как бы с трудом прорывающийся в разных направлениях сквозь горные проходы...

Дорога шла в гору. Я отстал от своих спутников и наслаждался ощущением простора, вдыхая еще прохладный чистый весенний воздух. Вдруг меня окликнул какой-то незнакомый паренек. На плохом румынском языке он спросил:

— Вы умеете обращаться с этой штукой? — и указал на болтавшийся у него на груди фотоаппарат.

— Да,— ответил я, немного раздосадованный тем, что мне помешали.

— Тогда снимите меня с моей девушкой,— быстро и категорически сказал он. Его доверчивость и непосредственность сразу подкупили меня. Я покорно взял фотоаппарат и несколько раз снял его вместе с черноглазой и черноволосой спутницей.

Ткнув себя пальцем в грудь, паренек сказал:

— Я мадьяр, я Янош Хитор, Янош Хитор,— повторил он,— а не Адольф Хитлер,— и громко рассмеялся, видимо, довольный своей шуткой.

— Это заметно, что ты не Адольф Гитлер,— пробурчал я.— А я русский,— и назвал свое имя.

Это сообщение произвело на Яноша потрясающее впечатление. Он разразился длинной и бурной речью на венгерском языке, из которой я, конечно, ничего не понял. Ясно было только, что все слова восторженные.

— Нуштю мадьярешти,— сказал я.

Янош на секунду остановился, ошалело посмотрел на меня и продолжал в том же темпе, но уже по-румын-

ски, заменяя при этом недостающие слова бурной жестикуляцией:

— Вы русский! Как это хорошо. Это очень хорошо. Это лучше всего. Я должен вам подарить белый цветок камня. Он на вилле у моей тети. Я приехал отдохнуть к моей тете на две недели. Пойдемте к ней, я подарю вам белый цветок камня.

— Какой еще — белый цветок камня? — удивленно спросил я.— И зачем ты должен мне его дарить...

Но Янош тут же перебил меня:

— Ведь вы же русский. Я должен, должен подарить вам белый цветок камня. Идемте,— настаивал он, совершенно забыв про свою девушку.

Она стояла в стороне и чуть улыбалась, зная, наверное, характер Яноша.

«Да он какой-то чокнутый!» — с досадой подумал я.

— Я сейчас занят. Понимаешь, занят. Не могу я идти к твоей тете. Меня ждут друзья. Занят — оккупат,— раздельно произнес я.

Несколько обескураженный, Янош тут же воспрянул духом и заявил, что он будет ждать меня завтра возле кафе в 9 часов утра. Облегченно вздохнув, я направился вдогонку за своими друзьями.

На другое утро я не смог прийти к 9 часам в кафе — мы были заняты экскурсией во дворец бывшего румынского короля Карола I. Именно про этого Карола еще Бисмарк сказал, что он самый безвкусный человек на свете и наглядное доказательство этому дворец, выстроенный им в Синае. Мы вынуждены были согласиться со старым канцлером, который разбирался и в людях и в замках.

Прекрасный альпийский луг и два чистых горных водопада, суровые и строгие очертания близких гор с высокими хвойными деревьями на склонах — всему этому было чуждо эклектичное и вычурное здание дворца с его пышным убранством.

Волею случая сделавшийся румынским королем, немецкий принц не понимал и не любил природу Румынии, ее ландшафты и соответствующую им замечательную национальную архитектуру. Он искусственно пытался соединить ее с острореберным вариантом немецкой готики, искажая и то и другое.

Вернувшись, мы с женой пошли погулять по центральному и единственному синайскому парку. Весна только начиналась. Курортный сезон не наступил, и парк был пустынен и тих. Небо над ним сквозь частые кучевые облака отсвечивало еще не смелой, но какой-то особенно прозрачной голубизной. Острый пряный и свежий запах прошлогодней опавшей листвы смешивался с душным и сладким запахом лопающихся почек. В эти считанные дни весна и осень сливались в одну неповторимую гамму ароматов.

Еще не били фонганы, еще не открылись многочисленные магазины, еще пустовали виллы и санатории, только между черными безлистыми, но уже живыми деревьями время от времени попадались нам скульптуры. Мы направились к одной из них. Это был бюст какого-то свирепого мужчины с пышной шевелюрой и перекошенным ртом.

— По-видимому, это один из гайдамацких вождей — борцов против турецкого ига,— авторитетно объяснил я.

— Да... А почему же здесь написано «А. С. Пушкин»?

Я всмотрелся в полустертую временем надпись. взглянул еще раз в странное лицо и не нашелся, что ответить.

Надо сказать, что и другие скульптурные портреты великих русских писателей и композиторов, поставленные в парке, не отличались большим сходством с оригиналами.

Однако жителей Синаи, сделавших и поставивших эту скульптуры, можно упрекнуть только в недостаточной осведомленности. Руководили же ими самые добрые чувства к нам, русским. Об этом говорит многое...

На вершине одной из гор, кольцом окружающих Синаю, стоит высокий гранитный крест, а под ним каменная плита. Этот крест, видный со всех сторон, поставлен в честь русских воинов, погибших за освобождение Румынии от турок 1877—1878 гг. Лучи заходящего солнца отбрасывают его гигантскую тень на самый высокий здесь горный пик.

Если подниматься на этот пик или на другие горные вершины, то пройдешь сначала лесную зону, потом

начнутся альпийские луга, а еще выше ватный и влажный слой облаков, орлиные гнезда, а на самой вершине прямоугольные мраморные плиты, стоящие по многу рядов, как в строю. Это могилы тех русских воинов, которые на такой невозможной высоте разбили горноегерские части Гитлера, освобождая Румынию в 1944 году.

Высоко поднялся ты, русский солдат, далеко от Родины зарыты твои кости. Но лежат они не в чужой земле. И возле креста, и возле мраморных надгробий всегда живые цветы, положенные заботливыми руками...

Мы брели по аллеям весеннего парка и неожиданно наткнулись на Яноша Хитора. Он лежал на облупившейся садовой скамейке, положив голову на колени своей девушки. Янош смотрел сквозь голые еще ветви деревьев на медленно плывущие облака, и выражение лица у него было самое безмятежное.

Услышав шуршание опавших листьев под нашими ногами, он осмотрелся, вскочил и ринулся к нам.

— Я ждал вас сегодня утром около кафе,— с упреком обратился он ко мне.

Я извинился и объяснил, почему не смог выполнить обещание.

— Тогда сейчас же идем к моей тете! Я должен подарить вам белый цветок камня,— улыбаясь и в то же время настойчиво сказал Янош.

— Не могу,— ответил я,— у нас через полчаса обед. Мы обедаем все вместе, и я не могу опаздывать.

— Мы успеем! — горячо возразил Янош.

— Сколько идти до твоей тети? — уже с некоторой досадой спросил я.

— Двадцать минут.

— Ну, вот видишь, двадцать минут туда, да двадцать обратно и там минут десять — получается пятьдесят минут, а обед через полчаса.

Но Яноша не так-то легко было сбить с толку.

— Хорошо. Тогда я сам принесу белый цветок камня, пока вы будете обедать.

— Ладно, ладно,— ответил я с облегчением и отправился в отель.

Мы еще не кончили обедать, когда жена, показав в окно, сказала:

— Вон твой Янош. Он уже пришел.

Действительно, Янош прогуливался по тротуару. Я тут же вышел. Он торжественно протянул мне большой бумажный пакет, в котором было что-то тяжелое.

— Я дарю вам этот белый цветок камня,— сказал Янош.

— Спасибо,— вежливо сказал я, собираясь положить пакет в карман плаща.

— Да вы хотя бы посмотрели на него! — с некоторой обидой воскликнул Янош.

Я развернул пакет. Это было скопление монокристаллов горного хрусталя, как бы вырастающих из одного стебля и действительно очень похожих на цветок. Солнечные лучи играли на гранях десятков хрустальных пирамидок и вспыхивали на их вершинах.

Только теперь я понял, что значит странное выражение Яноша «белый цветок камня». С трудом оторвав взгляд от камня, я протянул его Яношу и сказал:

— Спасибо, дорогой. Я не могу принять от тебя такой подарок. Он слишком хорош.

И тут Янош очень разволновался.

— Я геолог,— сказал он.— Я сам нашел и вырубил его на вершине высокой горы.— И, неожиданно взмахнув рукой, он прямо как будто с отчаянием продолжал: — Да вы просто ничего не понимаете. Это было в тысяча девятьсот сорок пятом году. Я, тогда еще мальчишка, играл на поле и подорвался на одной из немецких мин. Услышав взрыв, из деревни прибежали люди. Я лежал, в животе у меня была дырка, текла кровь, мне было очень больно, но никто не подходил ко мне. Все боялись, что там есть еще мины. Только один не испугался, он вынес меня на руках и отвез к врачу, а сам уехал со своей частью. Это был русский сапер с Украины. Фамилия его Симанович. Вы знаете такого?

— Нет, не знаю.

— Жалко,— с огорчением ответил Янош.— А я все время слушаю теперь по радио украинские песни. И вы первый русский, которого я вижу с тех пор. Должен же я подарить вам белый цветок камня.

Я принял этот подарок — белый цветок камня — знак дружбы. Наша дружба продолжается. И вряд ли ей страшны какие-нибудь испытания.



ПАУЗА

Был теплый ноябрьский вечер. Мы сидели на не остывшей еще от дневного зноя каменной скамье во дворе Коринфского музея. С наступлением сумерек величественная, гордая и беспощадная красота Коринфа неожиданно стала мягкой, наивной, уютной. На небе зажглись большие яркие звезды, на море — зеленые и желто-красные сигнальные огни рыбачьих шхун, на шоссе — красные фонарики придорожных столбов. Тьма

скрыла древние руины, многочисленные выбоины на камнях. Видимые только силуэтом, снова обрели законченность три, стоявшие в одну линию, колонны, с прихотливо вьющимся контуром капителей.

Мы сидели вдвоем с Верой Ивановной — два москвича, бог знает какими судьбами занесенные в этот теплый ноябрьский вечер в Коринф,— и отдыхали, пользуясь недолгим покоем.

Впрочем, судьбы-то были у нас совсем разные. О своей судьбе Вера Ивановна — гид одной из крупных греческих туристических фирм — рассказала мне вскоре же после знакомства в один из спадов обычной для нее напряженной сосредоточенности. Может быть, это состояние было у нее от сложности путешествия по Греции с нами — группой московских археологов. Наши знания античности, естественно, выходили за пределы тех, которые бывают у обычных туристов. Соответственно и сложнее были вопросы, которые мы задавали нашему гиду. Впрочем, Вера Ивановна с честью выходила из положения, проявив недюжинные познания, а иногда высказывая тонкие мысли и наблюдения.

Когда состояние сосредоточенности покидало ее, она превращалась в типичную, хорошо знакомую, уже пожилую, но все еще красивую голубоглазую москвичку — работягу и разговорщицу с открытой душой. Это были неожиданно возникавшие и так же неожиданно кончавшиеся паузы между ритмическими действиями не по-русски вышколенного и не по-русски осмотрительного сотрудника солидной греческой фирмы.

В одну из таких пауз Вера Ивановна рассказала о себе. Она училась в Первом московском пединституте. Там познакомилась с греком Костей. Он приехал в Советский Союз на учебу. Полюбила. Они поженились. В 1938 году Косте предложили принять советское гражданство или вернуться в Грецию. Костя решил уехать в Грецию. С тех пор живут в Афинах.

Вера Ивановна никогда не расспрашивала меня о Москве, но я иногда сам начинал рассказывать. Один раз, во время такого рассказа, случайно посмотрел на ее руки. Они вздрагивали, бесцельно и вяло двигались по коленям. Я хорошо знал и понимал движения таких рук. Они были изящны не столько совершенством форм,

сколько четкостью и точной направленностью движений. Это были руки медсестер и монтажниц, художниц и пианисток — словом, руки мастериц. А сейчас движения выражали такую горькую, такую безысходную тоску, что я запнулся и ни разу больше не говорил о Москве.

Во время пребывания в Афинах я побывал в гостях у Веры Ивановны. Афины очень большой по площади город. Хотя вовсе не такой уж многолюдный. Просто большинство домов в нем — одноэтажные и двухэтажные особнячки с садиком и обязательно открытым или полуоткрытым холлом внутри дома. Обычно в таких двориках-холлах был центр всей семейной жизни. Там за вечерним чаем и фруктами я и познакомился с семьей Веры Ивановны. Ее красавица дочка с фарфоровым лицом, Дагомея, была солисткой Афинского театра балета. Ее рано полысевший сын Манолис работал управляющим одного из второразрядных отелей. Безукоризненно одетый Манолис обладал широкими плечами и осторожной улыбкой. Муж Веры Ивановны — пожилой грек в жилете из вытертой замши — ронял крошки табака из своей трубки на скатерть и вспоминал самые хлебосольные обращения на русском языке. Он преподавал в коммерческом лицее математику. Дети Веры Ивановны по-русски не говорили. Однако вечер прошел довольно легко и весело, но мне не хотелось его повторения.

На другой день было много часов езды, осмотра музеев, и голос Веры Ивановны звучал с той нарочитой бодростью и четкостью, которая вообще характерна для голосов всех гидов в любой стране. А вот теперь снова наступила пауза, и рядом со мной на скамье сидела усталая женщина, чем-то хорошо знакомая, может быть по-московски откровенным выражением своего состояния.

— Вера Ивановна,— спросил я,— у вас есть друзья?

Помедлив, она ответила:

— В том смысле, в каком понимаете вы, нет.

Может быть, мой вопрос нарушил ее отдых и это жестоко, но я не хотел упускать паузу. Мне нужно было успеть разобраться в этом как-то сразу ставшим мне не чужим человеке.

Между тем Вера Ивановна продолжала:

— Нет, вы не думайте,— с каким-то неестественным оживлением сказала она,— у меня много знакомых, вполне добропорядочных знакомых. Ведь мы с мужем прочно принадлежим к среднему классу,— добавила она с легкой иронией,— и у нас бывают встречи и вечера, и все это очень мило. Не знаю, как вам объяснить... Вот как-то вскоре после приезда в Грецию мы с мужем пошли в гости к его знакомым. Мы провели там вечер. И вдруг с какого-то момента я почувствовала в хозяевах и даже в Косте странную напряженность. Я не могла понять, в чем дело, так как внешне это ни в чем не выражалось. Я стала волноваться. Дома Костя объяснил мне, что в Афинах неважно обстоит дело с водоснабжением и поэтому считается неприличным выпивать в гостях больше одной чашки чая, а я выпила целых три. Вот так,— устало закончила Вера Ивановна.— Вам ведь это трудно понять.

— И все-таки,— настойчиво спросил я,— неужели, кроме семьи, у вас нет здесь ни одного близкого человека?

Вера Ивановна неожиданно рассмеялась:

— Близкого? — переспросила она.— Не знаю... Вот странный человек, даже единственный в своем роде, есть.

В сгустившейся темноте я не видел ее лица, но никогда еще, судя по интонациям ее голоса, не доводилось мне ощущать ее такой оживленной и естественной. Я щелкнул зажигалкой, скорее почувствовав, чем увидев белый контур сигареты. Вера Ивановна сильно затянулась и сказала:

— В нашей семье произошла да, собственно, еще и не кончилась одна очень странная история. Вы видали мою дочь Дагомею, и нужно же, чтобы именно в нее, балерину Афинского театра, влюбился рыбак с острова Крит, Никос.

Никос огромного роста и очень сильный. Уж не знаю, где он первый раз увидел Дагомею. Только на воскресных спектаклях она поневоле обратила внимание на рослого, бородатого мужчину, который сидел в первом ряду и не сводил с нее глаз. А однажды он остановил Дагомею у калитки в наш сад и сказал ей:

«Я Никос. Я рыбак и живу на острове Крит. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Тебе будет хорошо со мной. У нас будет сколько угодно рыбы, и каждую неделю я буду давать тебе мешок муки и резать барана. Иногда ты сможешь даже танцевать, когда ко мне будут приходить приятели и захотят посмотреть на твое искусство».— Вера Ивановна усмехнулась: — Представляете себе, какая перспектива для моей дочери! Разумеется, она отказалась. Но вот прошло несколько дней, и, когда однажды утром Дагомея отправилась на репетицию, Никос украл ее. Он заткнул ей рот кляпом, положил в мешок и протащил через весь город в Пирей, где у причала стоял готовый к отплытию его рыбачий баркас. Похищение произошло мгновенно, но все-таки Никоса заметили соседи и сообщили мне. Я бросилась в полицию, дала телеграмму сыну в Македонию, где он служил тогда управляющим крупным отелем. Сын вылетел немедленно и уже через два часа на полицейском катере помчался вдогонку за Никосом. Мощный моторный катер догнал парусный баркас еще в открытом море. Никос не успел доплыть до Крита. Катер подошел вплотную к баркасу, Дагомея, давно уже освобожденная из мешка, сидела на скамье, схватившись руками за борт. Никос, стоял во весь рост у руля, он попытался сделать резкий поворот, но было уже поздно. Один из полицейских зацепил баркас багром...

— Там, наверное, была порядочная свалка,— прервал я рассказ Веры Ивановны.

— Нет,— помедлив, ответила она.— Никос вообще не оказал никакого сопротивления. Ему надели наручники. По приговору афинского суда, на котором, кстати, Никос не произнес ни одного слова, он шесть месяцев отсидел в городской тюрьме.

— А что было потом? — спросил я.

— Потом,— повторила Вера Ивановна,— на второй день после выхода из тюрьмы, он снова похитил Дагомею. Только на этот раз мы были начеку. Мы уже знали характер этого бешеного. Вскоре после первого похищения сын перевелся на работу в Афины, хотя это была менее выгодная работа. Зато он был рядом. В результате Дагомею освободили еще в порту, а Никоса снова упрятали в тюрьму. Но мы знали, что он на этом

не успокоится. Пришлось поселить Дагомею на втором этаже нашего дома и заложить окно в ее комнате. До сих пор сын или полицейский провожает Дагомею, когда она идет в театр или возвращается домой. И все-таки я понимаю, что рано или поздно Никос снова попытается ее украсть.

— Да, это прямо Зевс, похищающий Европу, только Зевсу все-таки удалось добраться до Крита.

Вера Ивановна рассмеялась:

— Посмотрите на этого Зевса.

Я услышал звук открываемой сумки, затем острый луч электрического фонарика осветил довольно большую фотографию. Тонкие пальцы, державшие ее, слегка вздрагивали. С фотографии смотрел на меня в упор черноволосый и чернобородый мужчина, кожаная куртка которого была перекрещена патронными лентами. Лицо его выражало мужество, волю и даже какое-то благородство. Впечатление было настолько неожиданным и сильным, что только минуты через две я спросил:

— А что это за патронные ленты? Как у нас во время гражданской войны.

Вера Ивановна снова рассмеялась, на этот раз не весело:

— Можете себе представить, ко всему прочему у Никоса и его семьи столетняя кровная вражда с какой-то другой семьей на Крите. Вот они и пускаются время от времени в перестрелку.

— Да-а...— протянул я.— А откуда у вас эта фотография?

— Никос подарил. Да еще с трогательной надписью.

Вера Ивановна перевернула фотографию, и я увидел корявые и крепкие, как дубки, буквы. Так как в основе русской письменности лежит греческий алфавит, то с первого часа пребывания в Греции я с удовольствием читал все надписи и вывески, невольно удивляясь, почему мне не всегда понятен их смысл. Прочел я и надпись на фотографии, но понял только одно слово, причем оно привело меня в изумление.

— Я, видимо, ошибаюсь,— обратился я к Вере Ивановне,— но тут, по-моему, написано «мануйла», то есть «мамочка»?

— Нет. Вовсе не ошибаетесь. Вы себе еще не представляете, что за чудак этот Никос. Каждое воскресенье, рано утром, сдав перекупщику на пирейском рынке весь улов, он отправляется бродить по афинским кабачкам и лавочкам. А к шести вечера он приходит в наш сад и садится рядом со мной на скамейку. Он знает, что я люблю воскресными вечерами вязать на скамейке в саду. Между нами происходит обычно примерно такой разговор:

«Я так люблю Дагомею, мама».

«Негодяй, как ты смеешь называть меня мамой?»

«А как же мне еще вас называть, мама? Ведь вы же мать Дагомеи, а я ее так люблю!»

«Как же ты ее любишь, бандит, ведь из-за тебя она боится лишний раз пройтись по городу и окно в ее комнату заложено кирпичами».

«Ой, мама, неужели вы забыли, что такое любовь? Ведь вы любили, вы умели любить, мама, я это знаю!»

Так примерно отвечает мне Никос,— сказала Вера Ивановна каким-то усталым, поникшим голосом.— И вы представляете,— медленно и задумчиво, как бы сама взвешивая свои слова и удивляясь им, продолжала она,— если случается, что Никос опаздывает к шести часам, то я волнуюсь и думаю, не случилось ли что с ним.

Я вытащил сигареты и снова щелкнул зажигалкой. Некоторое время мы курили молча. Потом двери музея открылись, и в ярко освещенном прямоугольнике показались силуэты моих товарищей. Шофер автобуса распахнул дверцу и нажал стартер, а Вера Ивановна, встав со скамьи, возвестила своим обычным поставленным голосом гида:

— Нам предстоит вечерняя поездка по Пелопоннесу. Я надеюсь, что она оставит у вас приятное впечатление...

Пауза кончилась.



МИТЯ ДОЧЕВ И ЕГО БУЛКА

Какую бы сказку ни начал читать, если это настоящая сказка, сразу кажется, что ты уже знаешь ее героев. От этого интерес ничуть не уменьшается. Просто сказочный город или сказочный лес, сказочные люди или сказочные звери становятся твоими. Ты живешь вместе с ними и среди них. Ты сам один из действующих лиц. И только подстерегающие тебя на каждом шагу

неожиданности говорят о том, что ты в сказке. Такое же ощущение было у нас с первого момента приезда в Тырново.

Оно не покинуло нас и к ночи, когда, оглушенные множеством впечатлений, усталые от бесконечного хождения по городу, мы честно попытались лечь спать. И сразу же поняли, что это никуда не годная попытка — уснуть посреди сказки. Это могут позволить себе только дети. Поэтому, не сговариваясь, все четверо мы вышли в ночное безмолвие Тырнова. Погрузившись в ночь, город не очень изменился. Просто то, что раньше виделось и угадывалось, теперь стало только угадываться. Зато в редких просветах между темными провалами домов далеко внизу стали время от времени мерцать пары желтых глаз. Один глаз такой пары был ясным и плотным, а второй более расплывчатым и иногда слегка подмигивал. Город как бы показывал нам, что он, так же как и мы, не спит. Конечно, несведущий человек мог бы сказать, что один из глаз — фонарь на корме рыбачьей лодки, а второй — его отражение в Янтре, но только это было бы совершенно безответственное заявление.

Мы брели по бесконечному лабиринту узеньких улочек, чаще всего кончавшихся тупиками. Большинство домов, расположенных террасами вдоль склонов холмов, имели выступающие вторые этажи, которые почти смыкались с двух сторон улицы, создавая тенистые и таинственные переходы. Мы чувствовали, что этой ночью нас ждет что-то удивительно интересное, ни на что не похожее.

Когда мы приехали в Тырново, город спал под жаркими солнечными лучами. Три высоких холма — Трапезица, Царевец и Свята Гора стоят рядом. Между ними вольно петляет желтая Янтра. К ее зеркалу крутым амфитеатром спускается с вершины холмов город. Впрочем, увидеть его весь в правильных соотношениях вообще невозможно. У подножия любого из холмов Янтра кажется просто длинным озером, потому что оба конца ее исчезают за поворотом. А когда смотришь с самой высокой точки, например с балкона верхнего этажа гостиницы, расположенной на вершине холма Трапезица, и видишь все петли Янтры, то мост через нее,

и идущий по мосту поезд, и дома у берегов кажутся игрушечными. Единственная шоссейная дорога, ведущая в город, заканчивалась на площади перед гостиницей Балкан-турист. Сюда мы и подъехали рано утром. Эта гостиница, как авторитетно объяснила нам наша юная гидесса, выстроена в стиле болгарского возрождения и была «скромной и импозантной». Последние два эпитета она применяла ко всему, что считала сколько-нибудь стоящим внимания в Болгарии. Впрочем, внутри гостиница была вполне современная и комфортабельная.

И по книгам и по рассказам нашего гида мы знали историю Тырнова. Именно здесь в XII веке началось восстание против византийского рабства. Здесь на протяжении столетий была столица Второго Болгарского царства. Здесь коронован был царем болгар вождь народного восстания свинопас Ивайло. По этим узким улицам плененные, в цепях проходили грозные властелины, поднявшие руку на эту страну: глава латинской империи Балдуин Фландрский, Тирский деспот Федор Комнин и другие. Тырново пал последним в неравной борьбе с нашествием османских турок. И в течение 500 лет турецкого ига он оставался сердцем страны. Здесь была создана прославленная школа тырновских зодчих, живописцев, писателей. Здесь разразилось первое крупное восстание против турок. Сюда вошла в 1877 году победоносная русская армия и болгарские ополченцы, под командованием генерала Гурко, открыв этим новую страницу летописи освобождения от турецкой неволи.

Как не вязалась вся эта многовековая славная история города с его мирным и безмятежным сном в день нашего приезда! Понять этот контраст может только тот, кто знает старинную воинскую поговорку: «Без дела не вынимай меч из ножен, без крови не вкладывай назад».

А ведь городу теперь решительно ничего не угрожало. Единственными его посетителями были туристы и художники. Первые — восторженно бегали по улицам, взбираясь с холма на холм, вторые — на всех углах и в закоулках ожесточенно рисовали, стараясь уловить тревожную красоту этого исторического заповедника.

Впрочем, удивительной была здесь не только архитектура, а все, решительно все.

Молчаливый и застенчивый Рубен внезапно застыл перед невиданным зрелищем. Из окна нависшего над улицей второго этажа на флагштоке свешивалось и трепетало на ветру желтое полотнище с красным кругом в центре, от которого расходились в стороны маленькие завихрения — языки, похожие на солнечные протуберанцы. Было ли это стягом какой-то древней неведомой державы, основавшей здесь свое посольство, или просто скатертью, вывешенной на просушку, — какое имело значение? Рубен вытащил цветные мелки и стал рисовать. Мы всячески подбадривали его. Рубен не отвечал на наши неуместные замечания и продолжал рисовать. Как и подобает истинному художнику, он изменил все краски. Солнце на полотнище стало зеленым, а протуберанцы черными, но от этого сходство совсем не уменьшилось.

А потом, когда мы брели по одной из улочек, из двери одноэтажного дома вышел Ангел и пригласил нас к себе в гости. Это был уже старый, но еще очень бодрый и очень приветливый Ангел. Он назвал себя: Ангел. И даже дал нам по визитной карточке, на которой было написано: «Ангел». Но мы и так в этом не сомневались. Ангел ввел нас в большую двухсветную гостиную и усадил в тяжелые резные кресла за массивный дубовый стол. Эти огромные громоздкие вещи, пожалуй, только ангел смог бы протащить сквозь такую узенькую дверцу в дом. Ангел угостил нас золотистым вином и повел неспешный разговор. Оказалось, что сейчас он на пенсии, а до этого был адвокатом, как и подобает ангелу, помогал попавшим в беду. Мы совсем было уже привыкли к нашему старому Ангелу, когда он пригласил нас выйти в дверь, расположенную на другой стороне комнаты, чтобы осмотреть его сад. Оказалось, что только с той улицы, с которой мы вошли в дом, он был одноэтажный, выходя на другую, он превращался в трехэтажный. Третий этаж был жилым, второй — кладовой, а первый — микроскопическим, но полным цветов садиком. Все это было рационально, очень приспособлено к рельефу, очень просто. Так просто, как это бывает только в сказке.

И вот сейчас, ночью, когда мы брели по Тырнову и не было на его улицах ни стаек туристов, ни одиночек художников, мы все равно уже знали, кто поистине жил в этом городе и теперь, и 1000 лет назад, и всегда...

По темной улице уверенно и бесшумно, как кошка, двигалась подсвеченная подфарниками легковая машина. Сам не знаю почему, я вышел на середину улицы и поднял руку. Машина остановилась. Я подошел к открытому окну и сказал:

— Здорово, друг! Я приехал из Москвы. Мы сегодня последний день в Болгарии. Я желаю тебе счастья.

В ответ раздалось громкое радостное восклицание:

— Браво, браво! Много хубова! — и в неверном свете от щитка приборов блеснула белозубая улыбка и метнулся чуб темно-русых волос. Дверца машины распахнулась, и ее энергичный хозяин бросился ко мне и стал кричать:

— Я Митя, Дмитрий Дочев! Я киномеханик! Мы сейчас же едем ко мне! — Тут он обнял меня и стал решительно усаживать в машину.

— Подожди, Митя,— несколько ошарашенно сказал я.— Я ведь не один. Со мной жена и двое друзей.

— Ничего,— закричал Митя,— мы все поедем ко мне! Все вместе!

Услышав шум, мои спутники подошли ближе к машине. Состоялась короткая и бурная церемония знакомства.

— Митя приглашает нас в гости,— сказал я.

— Но ведь уже поздно,— осторожно заметила Нина.

— Нет,— сказал Митя,— тут близко, пятнадцать минут...

«Москвич» сорвался, вылетел из Тырнова и помчался по темному шоссе. Он стремительно взлетал на гребни холмов, падал вниз к озерам и, не снижая скорости, петлял между деревьями.

— Сколько километров до твоего дома? — заподозрив неладное, спросила Майя.

— Тридцать пять,— беспечно бросил Митя, еще больше увеличивая скорость.

Мы переглянулись. Большие черные глаза Нины испуганно расширились.

— Неплохо бы вернуться хотя бы к шести утра — к отходу поезда,— со свойственным ему спокойным сарказмом сказал Рубен.— А то мы рискуем увеличить собой штаты тырновских ангелов.

Я скромно промолчал...

— Вот будут рады моя майка и булка, когда увидят вас! — бодро сказал Митя.

— У тебя тоже есть Майка? — спросил я.— А вот моя Майка,— показал я на жену.

— Это твоя Майка? — почему-то удивленно и даже возмущенно сказал Митя.— Неправда!

Тут уже я возмутился:

— А я тебе говорю, что это моя жена, Майка!

— Так это же твоя булка! — закричал Митя, рванув в сторону руль на очередном повороте, и машина въехала в большое село.

Фары освещали обычные для болгарского села двухэтажные каменные дома, здание ресторана, широкие улицы. Машина неожиданно остановилась на площади перед лестницей большого современного здания.

— Ты здесь живешь? — спросила Нина.

— Нет, я здесь работаю. Это наш клуб.

— А можно его осмотреть? — спросила жена, в которой заговорило профессиональное любопытство кинорежиссера.— Какой у вас экран?

— Широкий.

— А какую картину вы крутите?

— «Развод по-итальянски».

— Хорошо бы посмотреть,— мечтательно сказала жена.— В Москве она еще не идет...

И вот мы четверо глубокой ночью сидим в большом пустом зале клуба неизвестного нам болгарского села. По мановению рук волшебника Мити, как в сказочном зеркале, показалась на экране уже совсем другая страна — далекая Италия. В этих условиях кинофильм, абстрагированный от всего случайного, от всего обыденного, воспринимался особенно остро, таинство искусства покоряло.

На секунду оторвавшись от экрана, я взглянул на жену. Лицо ее выражало то безмятежное счастливое состояние, которое бывает, и то очень редко, только у людей, бесконечно влюбленных в свое дело. До этого

мне лишь раз в жизни удалось увидеть такое выражение лица. Это было в 100 километрах южнее Неаполя, в греческой колонии Посейдонии, где чудом сохранились три храма VII—VI веков до н. э. Историк античности — один из моих приятелей — сидел на ступенях храма Посейдона и, казалось, ничего не видел вокруг, в то время как все его существо было пронизано воздухом древней Эллады...

Когда фильм кончился и Митя вышел из будки, мы встретились с ним как со старым другом после долгой разлуки.

Впрочем, мы тут же оказались в быстро мчавшейся машине, так как до Митиного села Климентово было еще несколько километров. И вот, наконец, темные контуры Митиного каменного двухэтажного дома. Электричество почему-то не горело. Гостиную освещала керосиновая лампа. Из полутьмы нам подмигивал матовый глаз кинескопа. По стенам неслышно двигались наши большие деформированные тени. Не успели мы подумать, как нехорошо врываться поздней ночью в квартиру почти незнакомого, да еще семейного человека, как открылась одна из внутренних дверей и Митя вытащил оттуда двух женщин. Одна из них, про которую Митя торжественно объявил: «Вот моя майка», была седой, сухощавой и чем-то похожей на Митю. Взгляд у нее был внимательный, ласковый и покорный. Такой взгляд бывает у рано овдовевших жен, но горячо любимых матерей и бабушек. Вторая — совсем молодая, плотная, черноглазая. Спросонок она щурилась, что придает особую прелесть и уют добрым и красивым женщинам. Она оказалась Митиной булкой, то есть женой и звали ее Марийкой.

— Добре дошли! — приветствовала она нас.

Обе женщины не были не только рассержены, но даже не удивлены этим ночным вторжением, то ли они имели такой же характер, как у Мити, то ли отличались особым гостеприимством, что, впрочем, значило одно и то же.

На столе появились вино и фрукты.

— Откуда у тебя деньги на «Москвич», на телевизор, на мотоцикл, который мы заметили во дворе? — спросил я.

— План,— просто сказал Митя.— План перевыполняю. А теперь будем смотреть Огняна и моего младшего сына.

Он схватил лампу и буквально втолкнул нас в комнату, где, разметавшись на огромной деревянной кровати, спали двое мальчишек — вылитые маленькие Мити, даже с чубиками.

Митя попытался даже разбудить их, но тут резко запротестовала Нина, в которой заговорил редактор журнала «Начальная школа». Милое, добродушное лицо ее стало решительным и твердым, и, как всегда слегка заикаясь в минуты волнения, она сказала Мите:

— Не надо будить! Какой же ты отец!

Митя смущенно отступил.

Мы вернулись в гостиную и вскоре попросили Митю отвезти нас домой, так как уже светало.

Узнав, что утром мы совсем уезжаем из Болгарии экспрессом София—Бухарест, наши хозяева было опечалились, но Митя, тут же улыбнувшись, сказал:

— В сорока километрах от нашего села на этой линии станция Бяла. Мы будем ждать вас там с Марийкой.

И вот мы снова оказались в гостинице, и едва успели собраться, как прозаический автобус отвез нас на вокзал. Начался последний путь по Болгарии. Казалось, что сказка кончилась. Но мы все-таки рассказали соседям про Митю и его булку, и поэтому весь вагон с нетерпением ждал станции Бяла. Наконец показалась платформа Бяла, на ней никого не было. Но вдруг рядом мы увидели знаменитый Митин «Москвич», около него самого Митю и Марийку... Мы радостно махали руками, готовились уже соскочить со ступенек, но поезд, не замедляя хода, прошел мимо. Все высунулись в окна, стали кричать, а Митя, неожиданно усадив Марийку, с места рванул машину и скрылся за станционным зданием. Прошло несколько минут, и на шоссе, идущем в этом месте параллельно железной дороге, мы увидели Митин «Москвич», который стремительно летел вперед. А потом шоссе и железная дорога разошлись. Прошло часа полтора. Вот и пограничная с Румынией станция Русе. Первое, что мы увидели на перроне станции, были побледневшая от сумасшедшей

езды Марийка и Митя со своей неизменной победоносной улыбкой. Оказалось, что они ждали уже больше 15 минут, как будто они прилетели сюда на ковре-самолете. По рукам пошла бутылка вина, которое все пили прямо из горлышка. Подарки. Последние дружеские слова и объятия.

Митю и его булку привели к нам те же чувства, которые движут героями сказок, и мы от всего сердца отвечаем им тем же. Сказка про болгарского волшебника — киномеханика Митю Дочева, про его любимую булку Марийку и верного «Москвича» — еще не кончена, она продолжается.



ТАМТАМ[1]

Асуан расположен в Верхнем Египте на стыке Нубийской и Ливийской пустынь. Сильные ветры, раскаленные в чревах этих пустынь, попеременно со свистом

[1] Тамта́м — в данном случае глиняный барабан усеченно-конической формы, обтянутый с широкой стороны пузырем буйвола. Широко распространен в Африке.

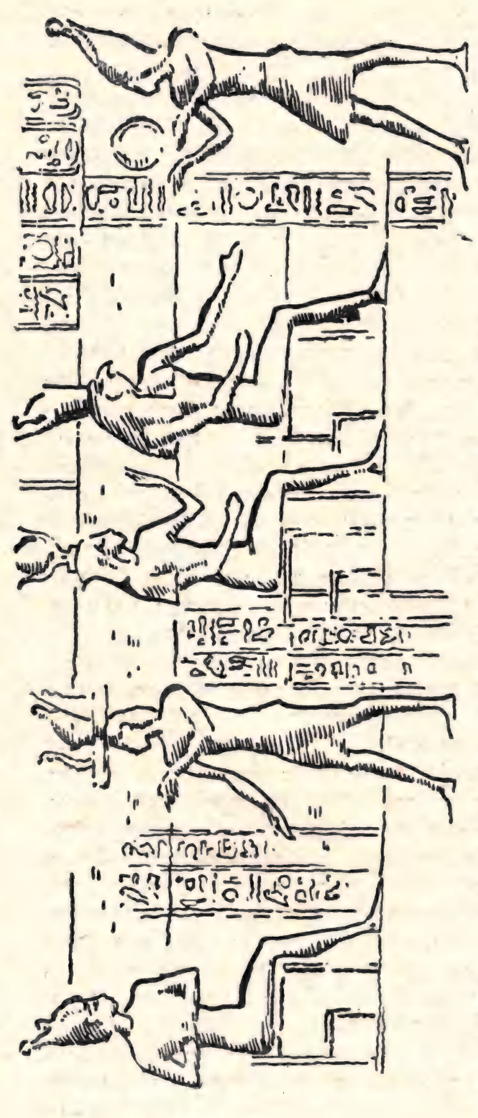
пронизывают город. Они выжигают и выметают из него почти все, что можно и нужно выжечь и вымести. Прокаленный воздух чист и сух. Когда ветер, охладившись над водами Нила, шелестя листьями пальм и платанов, врывается на набережную, его останавливают ряды старомодных, но добротных зданий. Это невысокие отели и магазины, выстроенные в разное время, от Викторианской эпохи до двадцатых годов нашего столетия. Современные дома очень редки. Если бы не пальмы, не белесое от жары небо, не бешеные ветры, Асуан можно было бы с первого взгляда спутать с каким-нибудь европейским городком. Однако этот мирный провинциальный пейзаж только преддверие того невозможного Асуана, в котором разнообразные контрасты сталкиваются так неожиданно и резко, что уже трудно понять, где экзотика, а где обыденность, где далекое прошлое, а где настоящее или будущее.

Сильный ветер наполнил высокий косой парус фелюги, и она, кренясь и поскрипывая мачтой, летит к острову Филе. Вот и остров. Молодой араб-кормчий спускает парус. А где же остров? Из воды торчат только пилоны[1] и верхние части стен храма более чем трехтысячелетней давности — это эпоха Нового Царства в истории Египта. На стенах глубокие резные изображения Гора, Озириса и других богов древнеегипетского пантеона.

Так где же все-таки остров?

Кормчий невозмутимо показывает пальцем в воду. Да, остров, на котором выстроен этот храм, затоплен. Над ним не один десяток метров воды. Остров появляется из нее только в засушливое время года. Если, встав на борт парусника, осторожно перешагнуть на пилон, то тебя охватывает странное ощущение причастности к тысячелетиям истории. Ее волны подняли тебя на самую вершину храма, каменная громада его скрыта в желтых пенящихся водах Нила. Ты оказываешься рядом с богами, на которых когда-то простые смертные должны были смотреть только снизу вверх. Впрочем, эти или подобные горделивые чувства недолго живут

[1] Пилóны — в данном случае высокие, суживающиеся кверху, покрытые резными изображениями каменные башни, соединенные стеной, в которой находится вход в древнеегипетский храм.



в тебе. Вскоре они разбиваются вдребезги, и виной тому маленькие, черные, курчавые, веселые и ловкие мальчишки. Из старых больших железных консервных банок, неизвестно как расплющив и склепав их между собой, они делают маленькие остроносые лодочки, величиной не больше чем ванночки для купания новорожденных. Употребляя вместо весел широкую палку или собственные ладошки, мальчишки бесстрашно переплывают широченный Нил во всех направлениях. С удивительной ловкостью лавируют они между пилонами храма, хохочут, задирают друг друга или, с притворным ужасом вытаращив свои большущие черные глаза, удирают от воображаемого крокодила.

Но вот парус снова поднят. После взаимных дружеских салютов отстал мальчишеский эскорт, и фелюга, набирая скорость, летит к острову Элефантин — Слоновому острову, когда-то столице черной Нубии, поко-

ренной фараонами. Осторожно взбираешься по его крутому каменистому берегу мимо действующего до сих пор античного нильского водомера — соединенного с Нилом каменного колодца, в котором шкала с делениями отмечает уровень реки. На плато острова развалины древних храмов, среди ветвистых деревьев и удивительных цветов, как, например, вот этот красный цветок, чашечка которого раскрывается только тогда, когда ты поднесешь к ней руку. Но вся эта пышная и буйная растительность ничто по сравнению с фантастическим царством растений на расположенном неподалеку Ботаническом острове.

Еще совсем недавно — лет пятьдесят тому назад — это был голый, унылый остров, на котором не росло ни одной травинки. Во время первой мировой войны здесь находился штаб командующего английскими экспедиционными войсками генерала Китченера. Он сочетал талант полководца со страстью цветовода и посадил здесь небольшой кустик. С тех пор это стало традицией. Люди, приезжавшие сюда из самых разных мест, привозили различные растения и сажали их. А потом остров стал государственным заповедником, островом-парком, в котором собраны все виды растений Африки.

Закончен отдых в тени сказочного парка, и фелюга стремительно летит туда, где еще во времена фараонов добывался знаменитый черно-красный асуанский гранит, который шел на облицовку внутренних помещений пирамид и на другие царские постройки. Как могли древние каменщики, не знавшие, что такое железные орудия и динамит, откалывать глыбы этого необычайно твердого камня? Если вглядеться в стены каменоломен, то можно прочесть ответ на этот вопрос. В разных местах видны четкие, геометрически правильные выбоины, как следы зубов гигантского животного. Каменщики фараона забивали в трещины гранита деревянные клинья, обильно поливали их водой до тех пор, пока разбухшее дерево не откалывало гранитную глыбу. Гранит употреблялся для украшения гробниц знатных египтян. Эти гробницы вырублены глубоко в скалах на другом берегу Нила. Кроме того, гранитом облицовывали внутренние помещения пирамид. Для этого многотонные глыбы непостижимым образом перевозили по

пустыне за сотни километров. Неужели есть что-нибудь, что может сравниться с величием и мужеством этого труда создателей пирамид?

Оказывается, может. И не надо далеко ходить за примерами.

Это новое русло Нила, пробитое в толще того же гранита строителями Асуанской плотины. Высота плотины почти полтораста метров, то есть больше, чем высота самой грандиозной пирамиды Египта — пирамиды Хеопса. И служит это сооружение не для увековечивания памяти мертвых, а для насущных потребностей живых.

Ветер гонит мелкую крутую волну по водохранилищу Асуанской ГЭС. Шуршит раскаленным песком между опорными колоннами, на которых возвышаются современные дома новенького поселка «Ким», построенного в пяти километрах от города, в каменистой Нубийской пустыне. Здесь живут две тысячи высококвалифицированных инженеров и рабочих — цвет советской технической мысли, люди многих национальностей. Подвиг строителей Асуанской плотины не меньше принадлежит истории, чем труд сотен тысяч рабов, создавших древние пирамиды и храмы. Это труд свободных людей.

Беспрепятственно промчавшись по поселку, где его не задержал ни один кустик, ветер постепенно затихает среди пальм и платанов респектабельных, но не богатых отелей Асуана. Возле одного из них — «Гранд-отеля» — находится нубийский базар. Если поселок «Ким» с его кондиционированным воздухом, горячей, холодной и ледяной водой, архитектурой в духе Ле Корбюзье[1] целиком обращен в будущее, если городок Асуан впитал в себя стили различных эпох, то на нубийском базаре чувствуется дыхание многовековой истории Африки.

В лабиринте прилавков, навесов, лавочек сначала трудно ориентироваться. Чего только не продают на этом базаре! В пыли, привязанные проволокой или цепочкой за туловище у задних ног, ползают около эмалированных тазов с водой маленькие крокодильчики.

---

[1] Ле Корбюзье́ — выдающийся французский архитектор (умер в 1965 году).

Утеха и мечта наиболее неосмотрительных туристов. Яркими красками сверкают ряды высоких корзин, сплетенных из пальмовых листьев, деревянных, обтянутых кожей щитов, глиняных тамтамов, узких бронзовых кофейников с длинными ручками. Вспыхивают на солнце кривые ножи с инкрустированными рукоятками, каменные и глиняные бусы, украшения в виде скарабеев, медальонов из ляпис-лазури и других камней. Разноцветные страусовые перья. Удивительные ожерелья из слоновой кости, каждая фигурка которых (слон, верблюд, охотник, жираф) маленький шедевр ремесленника. В полутемных лавочках продают таинственные пахучие мази, изделия из крокодиловой кожи, шкуры различных животных, сушеные внутренности крокодила, которым испокон веков приписывают целебные свойства.

С утра до позднего вечера над базаром слышен разноголосый и разноязычный шум. Туристы многих национальностей, жители города, русские и арабы со строительства приходят сюда за покупками или просто поглазеть.

Владелец базара — молодой нубиец-негр Сеид, с размеренными, ленивыми движениями — сидит под навесом и, полузакрыв черные влажные глаза, медленно тянет кофе. Однако ничто не может укрыться от его взгляда: ни действия приказчиков, ни всевозможные мелкие происшествия, которые то и дело случаются на базаре. Благодаря бдительности Сеида любой покупатель, пришедший сюда, обслуживается быстро и четко. Впрочем, для достижения этой цели Сеид не только ни разу не встал со своего удобного стула из эбенового дерева, но и не пошевелился.

Исполнителем его воли, его руками и глазами, его голосом служит четырнадцатилетний брат Омед. Этот невысокий черный, сам словно вырезанный из эбенового дерева, мальчик удивительно подвижен и ловок. Приплясывая, сверкая белками глаз и белозубой улыбкой, носится он по всему базару, наводя всюду мир и порядок. В каждом движении Омеда столько пластичности, в каждом взгляде столько лукавства, в каждой улыбке столько искренней доброжелательности, что им невозможно не залюбоваться. Мы знакомимся. И к мно-

гочисленным обязанностям Омеда прибавляется еще одна — объяснять заезжему русскому все, что происходит вокруг. Задача поистине трудная, потому что все наши возможности беседовать ограничиваются небольшим запасом английских слов. Однако этот чертенок не только прекрасно справляется с объяснениями, компенсируя недостаток слов выразительной мимикой и жестикуляцией, но и умудряется то и дело схватить с полки какой-нибудь из местных музыкальных инструментов — то какую-то свистульку, то тамтам, то двухструнный инструмент с длинным грифом и очень сложным названием — и поиграть на них. Играет он самозабвенно и выразительно!

Что может быть лучше поздним вечером, когда и город и базар окутаны тьмой, когда на прилавках и в глубине лавочек поблескивают разноцветными огоньками прорезные медные фонарики, а Сеид уходит домой, когда в воздухе носятся громадные летучие мыши и наступает наконец желанная прохлада, посидеть в тишине за маленьким столиком, попить сладкий крепкий кофе, покурить, поболтать с Омедом о том о сем. Я лично не искал другого отдыха. Так продолжалось не один вечер. Я старательно пытался ответить на бесчисленные вопросы Омеда о Советском Союзе, хотя, боюсь, мне далеко не всегда это удавалось. Например, Омед так и не понял, что такое снег. А ведь я специально водил его в отель к холодильнику, доставал кубики льда и подбрасывал их в воздух, изображая снегопад. Омед не оставался в долгу и посвятил меня во многие тайны нубийского базара. Так я узнал, что на базаре существует три цены: одна, самая дорогая, для туристов, другая, подешевле, для местных жителей и третья, наиболее дешевая, для настоящих людей. Туристов и местных жителей я видел достаточно, но кто же из покупателей «настоящие люди»? Омед объяснил, что они приходят ночью, потому что не любят шума и суеты. Кто же все-таки эти «настоящие люди», он не смог рассказать. Тогда я попросил его разрешить мне побыть ночью на базаре, чтобы увидеть «настоящих людей». После недолгих размышлений Омед согласился. Этим же вечером, сразу после ужина, он посадил меня на маленькую скамейку и замаскировал со всех сторон корзи-

нами, оставив только щель для обзора. Я стал ждать наступления ночи и прихода «настоящих людей».

Первыми появились четверо огромных величественных берберов. Они были одеты в белоснежные галабии — свободно ниспадающие до самой земли широкие рубахи. Выражение сурового мужества подчеркивали три глубоких шрама: один горизонтальный на лбу и два вертикальных на щеках, образующих П-образный узор. Из этой рамки смотрели со спокойной уверенностью большие темные, как графит, глаза. Новорожденным мальчикам делают у берберов эти надрезы на лице, шрамы от которых сохраняются всю жизнь. Берберы — смелые воины и охотники — известны с глубокой древности. Племенное название их, несколько видоизмененное, стало у древних греков, а затем и у всех европейских народов именем нарицательным — варвары. Вслед за берберами, двигаясь неслышно и грациозно, как пантера, подошел молодой суданец. Тонкий и стройный, с холодным блеском узких глаз, с презрительным изгибом полных губ. На нем была неширокая набедренная повязка, круглая желтая шапочка вроде тюбетейки, под которой торчала длинная деревянная булавка с резной головкой.

Берберы и суданец были не только покупателями, но и продавцами. Профессиональные охотники, они принесли свой товар: шкуры крокодилов и целый мешок живых крокодильчиков, бивни слонов, страусовые перья и тому подобное. Не торгуясь, они продали все это и закупили нужные им вещи. Они отобрали ножи, наконечники копий, патроны, яды в круглых коробочках из пальмового дерева. Не только по внешнему виду, но и по манерам, полным естественного достоинства, они отличались от тех одновременно угодливых и наглых бакшишников, которых вдоволь шляется по многим базарам, в том числе и по нубийскому.

Берберы, сделав свои дела и выпив вместе с гостеприимным Омедом по чашечке кофе, ушли, а суданец остался. Он стоял, слегка прислонившись к стене, и пристально, не мигая, как смотрят на пламя костра, глядел на Омеда, который, сняв с полки тамтам, начал медленно, а затем все скорее наигрывать какой-то ритмический, тревожный и мелодичный мотив. Зажав тамтам под

мышкой, он, ударяя обеими руками по коже, извлекал из него низкие мощные рокочущие звуки, которые невольно завораживали не только суданца, но и меня. Сам не зная почему, я вышел из-за своего прикрытия, снял с полки еще один тамтам и стал подыгрывать Омеду. Суданец, на секунду оторвав взгляд от Омеда, блеснул на меня своими узкими глазами и отвернулся. Между тем Омед все ускорял и ускорял темп ударов, я уже с трудом вторил ему. Вдруг суданец, до того совершенно неподвижный, медленно вошел в довольно широкий прямоугольник между прилавками и, слегка приседая то на одну, то на другую ногу, закружился в грациозном и воинственном танце.

Это было довольно фантастическое зрелище. Теплая и темная африканская ночь под огромными звездами и выступление небольшого самодеятельного ансамбля, в котором суданец танцевал, а нубиец и русский играли.

Откуда-то собралось несколько зевак, которые сдержанно, но явно одобрительно что-то выкрикивали.

Когда танец наконец закончился, я был страшно горд — еще бы, это было первое и единственное в моей жизни участие в каком-либо музыкальном мероприятии, да еще в такой своеобразной компании. Омед пригласил нас с суданцем к столу, на котором, помимо неизменного кофе, появилась и оплетенная бутылка с мутной пальмовой водкой. Я принес из отеля заветную баночку икры, и мы очень неплохо отметили знакомство и наш концерт.

Омед подарил мне тамтам, который с тех пор стоит в моем кабинете, напоминая о милом черном мальчишке, обо всех приятных и интересных переживаниях, связанных с нашим знакомством, о буйных и чистых ветрах Асуана.



ОСТИЯ

Когда, миновав увитую живыми розами изгородь, вступаешь на территорию Остии, первое, что тебя поражает, — это необыкновенная стерильная чистота. Не то, что, скажем, в Риме, где на улицах валяются целые газеты и журналы, выкинутые иногда прямо на ходу из окна автобуса. Здесь же нет не только никакого бумажного сора — бича всех больших городов мира, но и

вообще ни одной соринки. Первозданной чистотой сияют стены одноэтажных и многоэтажных каменных и кирпичных домов, улицы тщательно замощены большими каменными плитами. Это тем более удивительно, что последний житель этого города скончался около полутора тысяч лет тому назад.

Остия, расположенная в устье Тибра (Остия и значит — устье), при впадении его в Тиренское море на расстоянии 32 километров от Рима, была построена еще во времена Римской республики, а по преданию, еще гораздо раньше — при Энее, сначала как каструм — военное укрепленное поселение для защиты Рима от пиратов и этрусков. Постепенно разрастаясь, Остия в период империи превратилась в настоящие морские ворота, ведущие в Рим, в крупнейший центр торговли и производства, цветущий особенно во II—IV веках нашей эры город. Упадок его начался с закатом империи, в конце IV века нашей эры и, все более усиливаясь, привел в V веке к полному запустению. Постепенно на дневной поверхности остались только беспорядочные груды кирпичей и камня. Почти полностью скрытые в земле, развалины Остии на протяжении всего средневековья служили каменоломнями для жителей окрестных поселений.

Море с течением времени отступило, и Остия оказалась на расстоянии свыше двух километров от его берегов. Забылось даже имя города. Хищнические раскопки, проводимые в конце XVIII и начале XIX веков для пополнения коллекций античных статуй музеев Лондона и Ватикана, только наносили новые раны и без того искалеченному варварскими выемками камня городу.

Научные раскопки в Остии впервые проводились с 1856 по 1870 год известными итальянскими археологами Висконти. После длительного перерыва в 1913 году раскопки возобновились и продолжаются до настоящего времени. Эти раскопки, проводимые в еще невиданных масштабах и со все более совершенной техникой, позволили изучить и восстановить облик древнего города. Во главе раскопок с самого начала и до своей кончины в 1946 году стоял выдающийся ученый профессор Кальца. Дело всей его жизни продолжает в

Остии созданный им коллектив археологов, в котором ведущую роль играет ученица и жена профессора синьора Раиса Кальца. Это невысокая седая женщина с живым и приветливым взглядом. После короткой церемонии знакомства синьора Кальца отправилась с нами в фантастическое путешествие по улицам мертвого города. Наше путешествие только началось, а уже отчетливо выявились основные качества синьоры Кальца: доброжелательность, скромность, сочетание способности радостно, даже восторженно удивляться с точностью оценок. Сочетание именно этих качеств позволяет ученому сохранить до глубокой старости, до конца жизни ясность мышления, способность воспринимать и открывать новое. Как вскоре выяснилось, синьора Кальца была нашей соотечественницей, или, как она выражалась, компатриоткой. Раиса Самойловна юной студенткой, еще до революции, приехала в Италию изучать искусство, а затем полюбила своего учителя профессора Кальца и связала с ним свою судьбу.

Благодаря доброму вниманию, которое она проявила по отношению к нам — московским археологам, мы смогли по-настоящему познакомиться с Остией, трудом ее создателей первых веков нашей эры и ее воссоздателей — археологов двадцатого века. ...Как и во всех римских городах, в Остии имеются две главные улицы, одна из которых тянется с востока на запад, вторая — с юга на север. На пересечении их стоит форум. Остийский форум не замощен, так как здесь устраивались бега. В центре форума возвышается кирпичный, со всех сторон облицованный мрамором главный храм с широкой лестницей. Поднимаемся по этой лестнице и с паперти осматриваем город. Прежде всего бросается в глаза правильность, строгая геометричность его планировки и большое количество общественных зданий. Вот цирк. Овальная чаша с каменными скамьями, с травянистой ареной удивительно хорошо сохранилась. Это, конечно, не римский Колизей, вдвое превышающий по вместимости наш стадион в Лужниках. Однако и этот сравнительно небольшой цирк очень удобен. Кстати, интересно, что римский Колизей был выстроен в I веке нашей эры руками 12 тысяч пленных, захваченных в период Иудейской войны. Те

из пленных, которые не погибли от непосильной работы при строительстве, стали жертвами диких зверей во время открытия и первых представлений в этом величайшем (отсюда и название колоссальный — Колиссеум) из римских цирков. С паперти главного остийского храма хорошо видны базар, парк, бани, склады и другие общественные сооружения. Все они сделаны из туфа или кирпича, облицованного туфом. Это не просто архитектурная мода, а выполнение предписаний местной пожарной команды, так как туф — надежный огнеупорный материал. Пожарники в городе пользовались большими привилегиями и правами, осуществляя противопожарный надзор и при строительстве, и при эксплуатации различных сооружений. Так, например, по предписанию пожарников перед домами должны были стоять ведра с водой. Но все же пожары, как свидетельствует, например, Тит Ливий, бывали.

Мы на городском рынке. Заходим в его стандартные каменные магазины, окаймляющие обширную площадь. В центре этой площади гордо возвышается стройная каменная колонна. Когда подойдешь поближе, видна высеченная на колонне надпись. Мы предполагали, что прочтем какое-нибудь торжественное, может быть, даже героическое изречение. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что на колонне написано: «Нигде не болтают так много, как на базаре». Словно через 15 веков прорвался и дошел до нас веселый, насмешливый голос жителей Остии! Да, черт возьми, это поистине выдержавшее испытание временем изречение они имели право выбить на мраморной колонне! Вообще жители Остии были великими мастерами по части веселых, а иногда и довольно фривольных надписей, сделанных к тому же в самых неожиданных местах. Различные категории городских жителей — корпораций торговцев, ремесленников, маклеры, пожарные — имели свои храмы и свои бани. В пристройке к одной из самых богатых бань торговцев с плавательным бассейном, облицованным мрамором, на полукруглой каменной стене имеется фреска, изображающая семерых величайших мудрецов — Солона, Питтака Митиленского, Фалеса Милетского и других. Возле каждого написано якобы принадлежащее ему шут-

ливое изречение, звучащее особенно неожиданно и впечатляюще по контрасту с торжественной и величественной фигурой мудреца. Вообще чувство юмора, свойственное древним римлянам, проявлялось в самых различных, неожиданных выдумках. Вот, например, в храме богини войны Беллоны мраморный вотивный камень. На нем изображены следы двух пар здоровенных мужских ног, идущих в противоположных направлениях. Это солдат, вернувшийся невредимым с войны из какого-нибудь тяжелого похода, счел нужным именно так поблагодарить богиню: «Спасибо, дескать, с чем ушел, с тем и пришел, все в порядке!»

Надо сказать, что изображения в храмах очень конкретны и тесно связаны с профессиональными и социальными интересами прихожан. В святилище пожарников на мозаичном полу имеются изображения кентавра — символа быстроты, необходимой для лиц этой профессии. Соответственно профессии жителей группировались и жилые и производственные сооружения. Вот, например, в ремесленном квартале выделяются четыре больших кирпичных бассейна для окраски материи — целая красильная фабрика. Неподалеку находятся мельницы, маслобойни.

На улице Устья жили рабы. Здесь стоят стандартные кирпичные дома: две комнаты, кухня, уборная. Рабы не имели своих храмов: им приходилось пользоваться общегородским святилищем для утоления духовной жажды.

Настоящими хозяевами города были купцы и маклеры различных категорий. Им принадлежали самые богатые бани, храмы, склады, дома.

Остия вела огромную торговлю, в том числе и транзитную, связывая Рим со многими странами. Из Галлии и Германии привозили зерно, лес, рабов; из Ливии — слонов и лечебную траву; из различных областей Африки — диких животных. В свою очередь Остия вывозила для варваров вино, масло, украшения. На мозаичных полах купеческих складов и домов черным на светло-кремовом фоне с лаконичной выразительностью и точностью изображены корабли различных стран, сцены погрузки и разгрузки товаров, перегрузка с речного корабля на морской, торговля лесом, раб с меркой



для зерна, дельфины, плавание по морю. Вот помещение уникального в своем роде торгового дома, его владельцы, как явствует из сохранившейся надписи, малоазийский грек Эпогацио и иудей Эпофродицио, занимались торговлей дикими животными — львами, пантерами, тиграми, которых они поставляли для арен императорских цирков в Риме. Компаньоны занимали кирпичное трехэтажное здание с внутренним двором, окруженным колоннами. Стены и полы дома украшены мозаикой черного и розового цветов; в обрамлении свастик, ромбов, цветов — изображения пантер и львов, убивающих быков. Огромный дом имел два выхода: один — парадный с полукруглой аркой — на улицу, другой — прямо к морю. Здесь находился загон, куда прямо с кораблей сгружали опасный товар.

Относительно имен подавляющего большинства владельцев домов никаких сведений не сохранилось, и они названы археологами условно по наиболее интересным образцам фресковой живописи, мозаики, скульптур,

открытых в этом доме. Вот, например, внушительный кирпичный пятиэтажный «Дом Дианы», названный так по открытому в нем рельефу этой богини. Это многоквартирный дом с отдельным выходом для каждой квартиры. В доме красно-желтая мозаика, а также фресковая живопись на стенах: на белом фоне зеленой, красной и другими красками изображены цветы, орлы, арки, геометрический орнамент. В доме находилось и собственное святилище (квадратный алтарь с полукруглой аркой), посвященное персидскому богу солнца — Митре. Его культ был вообще довольно широко распространен в Остии, где найдено восемнадцать таких святилищ. Это не удивительно. Разноплеменное, разношерстное остийское население не было особенно ортодоксальным и строгим в вопросах веры. В поздних строениях встречаются и христианские мотивы, как, например, изображение Христа с нимбом. В городе открыт единственный христианский храм, построенный на месте древних терм (бань). Христианство поздно (видимо, не ранее V века нашей эры) проникло в Остию. Город долго сохранял античный облик и был центром языческой оппозиции христианству. Лишь в период упадка Римской империи, когда, например, в «Доме Дианы» были замурованы многие двери, а в одной из комнат устроена конюшня, христианство проложило себе широкую дорогу в умирающий город. Расцвет Остии прочно связан всеми традициями с языческой Римской империей. Именно в этот период были возведены замечательные здания, сделаны и поставлены в полукруглых арках жилищ, бань и других частных и общественных сооружений статуи античных богов, в изобилии применялись для украшения мозаика и фрески, такие, как в «Доме Дианы», в «Доме Амура и Психеи», в доме корпорации весовщиков зерна и в других домах. Отлично работавшие водопровод и канализация, сплошь замощенные улицы, усаженные тенистыми пиниями, многочисленные цветники, изобилие всевозможных товаров и продуктов — все это делало жизнь в городе удобной и приятной для всех категорий жителей, кроме, конечно, рабов.

В период расцвета население Остии достигало 60—



70 тысяч человек. Главными должностными лицами, как и в других римских городах, были два дуумвира и два эдила. Выборы их происходили в условиях ожесточенной борьбы претендентов и их сторонников.

В Остии нет вещественных следов этой борьбы, однако они хорошо сохранились в двух внезапно погибших городах — Помпее и Геркулануме. Это надписи, сделанные коричневой и другими красками прямо на стенах домов, призывающие, скажем, избрать в эдилы Валерия Флакка и всячески поносящие его конкурента...

Мы долго бродили с Раисой Самойловной по Остии и совершенно измучились от обилия впечатлений. Кроме того, солнце грело очень жарко, хотя был еще только май. Раиса Самойловна решила дать нам возможность немного передохнуть и пригласила в термополий — один из многочисленных остийских ресторанчиков. Как и другие здания, он был построен в первые века нашей эры, а в XX веке открыт и раскопан археологами. В ресторанчике, со-

стоящем из трех комнат и кухни, было очень прохладно и уютно. Стены украшены разноцветными фресками с изображениями яиц, фруктов, сыра; мраморные прилавки потемнели от впитавшегося в них свыше полутора тысяч лет тому назад горячего вина.

А рядом другой такой же уютный ресторанчик — он же лавка рыботорговца. Здесь два мраморных бассейна для живой рыбы, кухня, комнаты для посетителей. Как, должно быть, было приятно посидеть в одном из таких ресторанчиков, особенно после утомительного и опасного путешествия, скажем в Африку, за львами для столичных цирков.

Да, древние римляне понимали толк в организации общественного питания! Приятно отметить, что современные римляне в полной мере сохранили эту хорошую традицию. В Риме и других городах Италии — великое множество всех видов ресторанов, закусочных, столовых, рассчитанных на любые вкусы, аппетиты, кошельки. При этом в них, как правило, все сделано так, чтобы создать и поддержать в посетителе хорошее настроение. Чего стоят, например, одни названия кабачков, в изобилии разместившихся вдоль древней Апиевой дороги: «Камо грядеши», «Здесь никогда не умрешь» и т. п. Естественно, что в таком месте хочется посидеть подольше.

...Осмотр Остии закончился поздним вечером. Мы от всего сердца выразили Раисе Самойловне наше восхищение трудом славного коллектива археологов, работающих в этом уникальном заповеднике. Она смущенно поблагодарила нас и сказала:

— Ваша оценка мне особенно приятна. Люди самых разных профессий и национальностей, как правило, с уважением относятся к замечательным памятникам Остии и к нашему скромному труду. Но, к сожалению, бывают и исключения. Вот, например, как-то приехал к нам на своей машине секретарь посольства одной великой державы. Он некоторое время побродил по улицам Остии, со скучающим видом выслушивая объяснения гида, а затем неожиданно куда-то исчез. Работники заповедника пустились на розыски и обнаружили секретаря посольства возле его роскошного лимузина, в багажник которого он вместе с помогавшим ему шофе-

ром пытался запихнуть что-то тяжелое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это открытая при раскопках капитель колонны. Капитель пришлось вернуть, чем достопочтенный дипломат был весьма недоволен, заявив, что у нас предостаточно капителей. Случай этот попал в газеты и вряд ли кому-нибудь из читателей доставил радость.

Прощаясь с синьорой Кальца, мы от души поблагодарили ее. Несомненно, чувство благодарности испытывали и другие посетители этого замечательного заповедника. Но, пожалуй, только мы — сами археологи — могли в полной мере оценить, сколько поистине самоотверженного труда и глубоких знаний понадобилось для того, чтобы в строгом соответствии с правилами науки раскопать целый город, вернуть его из небытия и поставить в строй важнейших действующих памятников культуры.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для среднего и старшего возраста

Федоров Георгий Борисович

ДНЕВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Ответственный редактор В. С. Мальт. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор Л. В. Кржижановская. Корректоры Т. П. Лейзерович и С. П. Мосейчук.

Сдано в набор 12-XI 1965 г. Подписано к печати 11-III 1966 г. Формат 84×108 1/32. Печ. л. 12. Усл. п. л. 20,16. (Уч.-изд. л. 19,25). Тираж 100 000 экз. А 00604. ТП 1966 № 581. Цена 67 коп. на бум. № 2.

Издательство „Детская литература". Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга" № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 3219.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Если Вас интересуют археология и история, рекомендуем познакомиться с вышедшими в нашем издательстве следующими книгами:

Варшавский А.

ВСЕ, ЧТО ВЫШЕ МАТЕРИКА.

Книга о самых интересных и значительных археологических находках последних лет

Каждан А.

У ВРАТ ЦАРЬГРАДА.

О византийской культуре, о дворцах и крытых соломой хижинах, об императорах и пастухах, об искусных ткачах и первоклассных писателях, о жизни Византийской империи рассказывает эта книга

Каждан А.

В ПОИСКАХ МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ.

О фактах, извлеченных из-под земли или установленных в результате анализа древних монет, надписей, клочков пергамента; об увлекательной работе историка и о трудностях, которые приходится ему преодолевать, повествует автор

Рабинович М.

СУДЬБА ВЕЩЕЙ.

Каждая вещь пережила большие и малые события — исторические и обыденные,— связанные с жизнью народа: нашествие татар, междоусобные войны князей, пожары городов, новое их рождение и т. д. Вслед за жизнью вещей читатель будет мысленно переноситься с берегов Рейна на берега Москвы-реки, побывает в Киеве, в Боголюбове под Владимиром, в Великом Новгороде на Волхове и других местах .

Натанов Н.

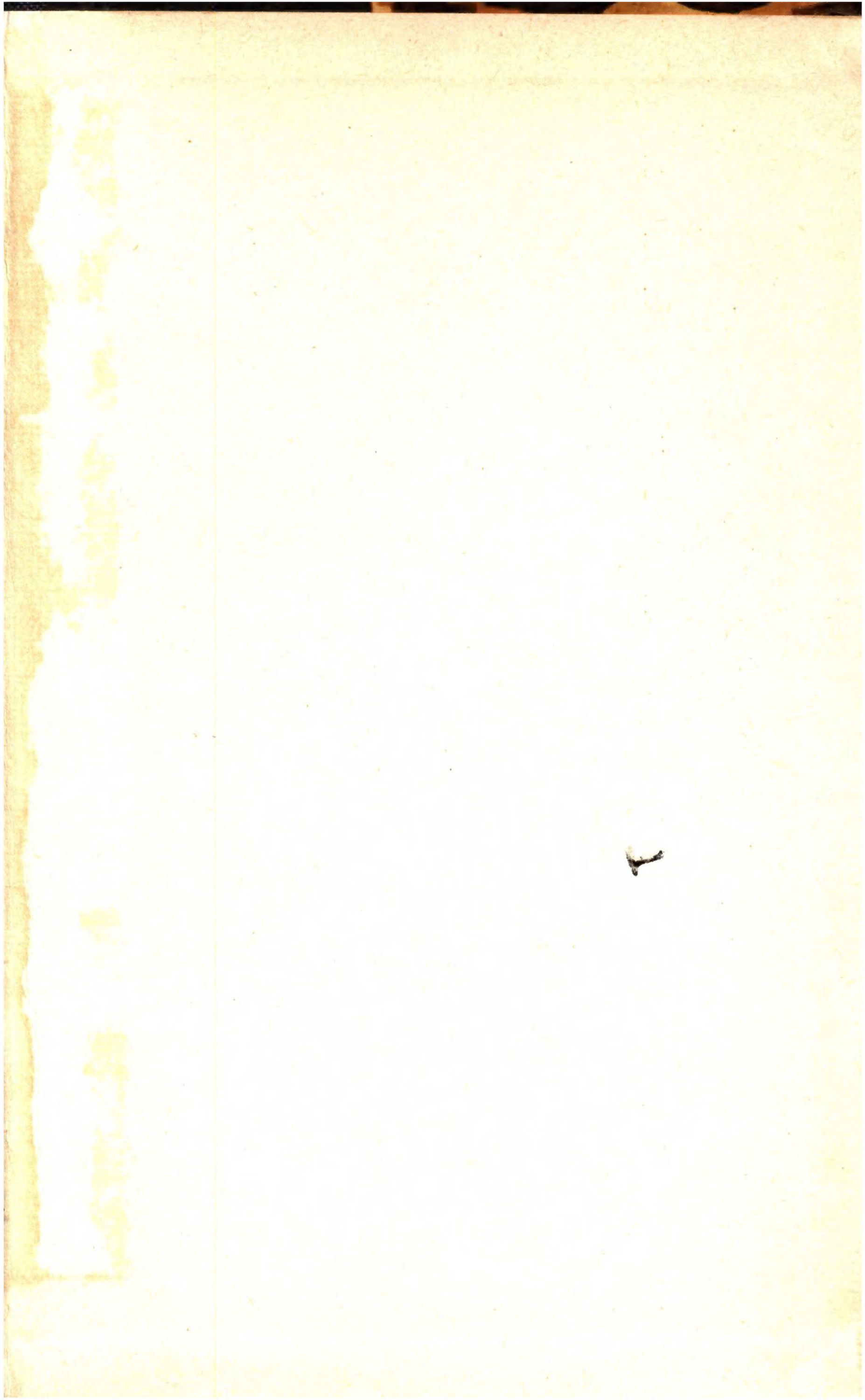
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЛЕТОПИСЕЙ.

Рассказ об удивительной судьбе древнерусских книг, о счастливых и неудачных приключениях их искателей, о расшифровке летописных тайн. Книга дает представление об одной из увлекательнейших наук, какой является современное исследование древних текстов

Мейерович М.

ШЛИМАН.

В этой книге рассказано о Генрихе Шлимане — археологе-самоучке, оставившем большой след в исторической науке. Жизнь Шлимана богата разнообразными приключениями. Задавшись целью раскрыть древнейшую историю Греции, найти вещественные остатки гомеровского эпоса, Шлиман вел раскопки Трои, Микен, на островах Итака и Крит. Находки его были поразительны.




Цена 67 коп


ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ · ДНЕВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ